180388

Октябрь
1944г.
N.N. 7-8.

ОКТЯБРЬ

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

ОРГАН СОЮЗА СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ СССР

№ 7-8 | ОГИЗ Государственное издательство художественной литературы | 1944

180388

СТЕПАН ЩИПАЧЕВ

Домик в Шушенском

1

[illegible] тула круто.
[illegible] Шушенский [illegible] звёзд.
[illegible] край [illegible] прогута,
[illegible] Сибирь [illegible]

[illegible] в скетях комнатах Истпарта,
[illegible] перебирай,
[illegible] [illegible] на картах
[illegible] Шушенский край.

[illegible] [illegible] десятилетья горл
[illegible] в октябре,
[illegible] [illegible] [illegible] на «Авроре»,
[illegible] [illegible] в горе.

[illegible] [illegible] языками,
[illegible] [illegible] небес.
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] мест.

[illegible] [illegible] тёмной,
[illegible] [illegible] [illegible] [

В сенях, где страх теперь таится,
То скрипнет вдруг, то звякнет тишина.
Где вынута пешнею половица,
Земля замерзшая видна.

На эту половицу прадед
Ступал, наряженный к венцу,
А в чёрный день она в ограде [1] —
Посыпана на гроб отцу.

Но всё — и горе — он учел в таблицах...
Потрескивает на столе свеча.
Пусть ночь темна и непогода длится,
Он всю Россию видит в этот час.

Крутые переулочки Казани,
Библиотеки старые Москвы
И Петербург — перед глазами.
В граните серая вода Невы.

Звонки условные — и он в квартире...
Под старыми часами на степе
Заржавой цепью тянут время гири,
Секунды отбивая в тишине.

Глухи за Невскою заставой ночи.
Со следу сбив назойливых шпиков,
Он снова на кружке рабочем
Глядит в глаза учеников.

Пойдут на смерть — не предадут такие.
На сердце горячо от этих глаз.
В них светится мечта твоя, Россия,
В них молодость твоя, рабочий класс.

2

Прозрачность, белизна какая!
И этой белизне под стать
Хребты Саянские сверкают.
Сегодня их и в Шушенском видать.

Снег на катке волнистый и горбатый.
В глазах рябит от белых снежных гряд.
И, пронеся хоругвями лопаты,
Ребята рядом с Лениным стоят,

Одним морозным воздухом с ним дышат,
Свои следы в его вплетая след,
Хоть, может, имя Ленина услышат
Они впервые через много лет.

Кто ж из мальчишек первым быть не хочет,
Когда, нахмуренный до бровей,
Он — с ними, сам, как маленький, хохочет
И снег с плеч валит вместе с ними.

Необозримая живая Россия,
До края и сегодня не допета.

[1] Ограда — изгородь.

Пусть это шушенские, костромские
Жизнь одинаковая у ребят.

И тут, и там она, еще слепая,
Уводит от отцовского крыльца,
Десятилетним мальчиком Чапаев
На побегушках в чайной у купца.

В Уржуме легкая летит пороша,
Видны леса — куда ни погляди.
Приютский мальчик, Катриков Сергей
Что может знать он о своем пути?

В Тбилиси,
Где седыми башни стали,
Где из расщелин их трава растет,
Двадцатилетним юношей Сталин
По переулкам глиняным идет.

Он шляпу снял. Кавказ высок и ...
Сегодня весь открыт его глазам.
Там, на Казбеке побывавший ветер
Бежит по юношеским волосам.

Когда от духоты на сходе свечи
Тусклей горят, и спорам нет конца,
В его спокойной и негромкой речи
Как клятва, имя Ленина звучит.

И на Сибирь, на тех каторжанских
Их не разлучат — встретятся они.
Чтобы стоять в тысячелетьях рядом

Но мгновенны самодержавья дни.
Сибирский зимних дней глухие.
Бутырские клопики лихие,
Чапаевцы — еще в пеленках спят.
Их, как травинок ... не Ру

Где в чашах заячьи петляют ...
Где солнце в кольцах снегово ...
В избе, уткнувшейся в ура ...
На свете мальчик первый ...

Мать рядом спит,
Ей сон тревожный снится,
Ей не найти ... светлой правды то
Что в ... глухую эту ночь ...
На ... ...

По ... ...
Сы ... спокойно смотрят
За ... ...
Когда бы знать про ...

Все так же, ...
Нас ...
Зарницей ...
Секунды ...

Неторопливо, в сроки поспевая,
На циферблате, заснеженном на вид,
Идет по кругу стрелка часовая.
И по орбите шар земной летит.

Легли седые позади дороги,
Ведя от детства, от плетней косых.
Годины войн и революций сроки
Секундами измерили часы.

И на холодном, быстром Енисее,
В еще не очень обжитом краю,
Благоговейно в домике-музее
Я у стола рабочего стою.

Тут Ленин жил,
За этот стол садился,
Стоял, быть может, тут, где я стою.
Еще я только что на свет родился,
Он уже решал судьбу мою.

Прошло лихрастое, босое детство,
И после, в день великий Октября,
Я двор — страну я получил в наследство:
Поля и реки, горы и моря.

Май — июль 1944 г.

Я честь и славу своего народа,
Как сын, под красным знаменем принял.

...Пилотку, полинявшую в походах,
Я с головы еще за дверью снял.
На половицы бережно ступая,
По домику я тихо прохожу.
Стоит в нем тишина святая.
Я ею, как бессмертием, дышу.

Но эта тишина — не для молитвы,
А для присяги. В этой тишине
Еще слышнее грохот битвы,
Здесь буря века мне еще слышней.

Мы в бой идем за Лениным великим.
Он, как и мы, в походах запылен,
На поле боя вдохновенным ликом
На нас глядит с прославленных знамен.

Стена Кремля седого рядом с нами.
Вперед простерта Сталина рука:
— Пусть осенит вас ленинское знамя...—
И эхом вторят Сталину века.

ВАНДА ВАСИЛЕВСКАЯ

Просто любовь

Мария сняла белый больничный халат. Отвернула кран — вода полилась тоненькой струйкой. Двадцатичетырехчасовое дежурство закапчивалось. За окном было еще темно, но очертания деревьев уже выступали на едва бледнеющем фоне неба. Мария дружеским взглядом приветствовала новый день. Ей подумалось, что хорошо было бы вернуться домой пешком, если бы не этот дождь. А может, все же выйти, почувствовать на лице прохладные капли, веселый ветер, послушать, как хлюпают под ногами лужи? Когда-то в детстве она любила такую погоду. Она выбегала из дому в грозу, в дождь и чувствовала необузданную радость, оттого что ветер рвет ее платье, что ее хлещут струи дождя, что вода стегает не растрепанным волосам, что ноги скачут по лужам. Разумеется, дома потом всегда ждал скандал, и мать без конца корчала перед знакомыми обиженное лицо, из-за платья, которое теперь сидит, как на корове, которая чинить не будет годиться. Вот снова ветер и дождь, и снова они зовут, манят бушевать, с криком бегать по двору, в упоении подставляя лицо под холодный бич дождя.

Мария улыбнулась. Да, это в ней осталось. Дикие инстинкты, как говорила мать. Не теперь действительно приходится чинить обувь. Одна единственная пара, сильно уже изношенная жизнью. Придется ехать трамваем, как обычно. И спать, спать, спать! Отоспаться за все двадцать четыре часа!

Дверь распахнулась.

— Идем, Мария, идем, он опять кричит, он так страшно кричит.

Мария торопливо вытерла руки, опять изнова начала. Нетерпеливо оборвала запутавшиеся завязки.

— Я опять извиняюсь, что, наверно, страшно устали вы...

— Глупости говоришь. Рая, идем.

Маленький коридор, устланный темно-красной дорожкой. Полуоткрытые двери палат. Ночник. Кто-то песни на весь коридор горланит, бежал в операционную.

— Я, я как могу по мере подлать,— пыталась объяснить Рая, беспомощно разводя руками. Но Мария не слушала. Она открыла дверь в маленькую комнату и быстро прикрыла ее за собой. Две санитарки, наклонившись над койкой, держали раненого, наперебой ему что-то объясняя. Раненый рвался у них из рук — белая мумия, обмотанная бинтами.

— Не хочу, не хочу, слышите, не хочу. Не надо мне вас, никого мне не надо! Уходите вон, стервы!

Мария тихонько подошла и положила свою руку на обмотанную бинтами голову. Из-под белых толстых слоев марли на нее мрачно взглянул темный глаз.

— Чего? — буркнул раненый, но она заметила, что он узнал ее и сразу притих, перестал метаться.

— Что ты выдумываешь! Как тебе не стыдно! Разве можно так?

Она кивнула головой санитаркам, чтобы те ушли. Они поняли и бесшумно вышли за дверью.

— Я уже сто раз говорила... Говорила тебе! Правда?

Голос повышался, звенел, в нем слышались угрожающие нотки, плохие нотки и истерический крик.

— Что это ты там такое умное говоришь?

— Не хочу! Не хочу я ваших нравоучений, ваших вздыханий, ваших операций, докторов, больниц! Не хочу! Какое вы имеете право, кто вам разрешил? Я не хочу!

Она присела на край койки, отвела руку с бинтов, окутывающих его голову.

— А чего же ты хочешь, Ушаков?

— Ничего не хочу, ничего, слышите? Я хочу умереть, я имею на это право! За что вы издеваетесь надо мной?

— Это очень просто — умереть,— сказала она тихо.— Конечно, жить труднее. Но ты должен жить, ты будешь жить.

— А я вот не хочу. Зачем вы оставили здесь, сестра, в такое время, приставили ко мне сторожей? Творили это, что ли? Я вас спрашиваю, творили?

Осторожно, с нежностью, она провела

…й по белым бинтам, ласково улыбаясь ему. …-под перевязки на все внимательно смот… …лывающий счастливый глаз.

— Вчера так сердились… Хочешь …вредить себе. Тебе нет дела до того, что мы …рчаемся из-за тебя, хотим тебе помочь. … упрямый, капризный мальчик. Поэтому … и приходится сторожить тебя.

— Ох, какое... это...

Он успокоился, замолк на минуту. Мария …ала.

— А вы скажете мне правду, не только …ву, чистую правду? — спросил он вдруг.

— Постараюсь.

…н собирался, собирался с мыслями, ны… …формулировать вопрос.

— Вы не скажете мне правды, сестра. Но …подумайте... Если бы с вами случилось … Лежите вы в госпитале, слепая.

— Ты не слепой.— сказала она сурово.

— Ну, на один глаз, все равно... Значит, … глаза, без руки, без ноги. Захочется вам …а жить, а? Захочется?

… насмешился злобно, ужасно, и темный … опалил лихорадочным огнем.

— Только правду, одну правду. Если вы …ете жить без обмана?

— Я скажу тебе правду. — ответила Ма… …ромко. — Лег как следует. Дай-ка …ю подушку. Вот так. Теперь слушай... … взяла его горячую руку. Он лежал …бно, слушая.

… Видишь ли, я не хочу тебе сказать, … …ожалела, что он …ался. Быть может, я … …ало бы умереть.

— Вы врете!

— Лежи тихо.

…ая усталость вдруг прошла. Она …увствовала себя полной сил, словно де… …тать только начинала. Нахлынула теп… …ность к Григорию.

— …ворила ли, что у меня есть муж. Муж на … Может быть, в этот момент он ранен … …ет. Я скажу тебе правду: … …ы он вернулся … — будет ли без руки, без … Мои руки… …ет. Я буду смотреть на … …ы он был, только бы он был …ой.

…ет, она говорила не искренно. Она умо… …ую, нежную, беспощадный мир, … …ый вернулся. Ах, услышать еще … …ет, увидеть его улыбку, коснуться … …ук, служить ему, быть возле него... …ывала испытывать высокую волну счастья, … …ожения, глубочайшее доверие, … …ой, охватывающий душу. Сно… …думать о том, что вот есть величайшее счастье, наверно самый человек, что он не затерялся на далеких путях войны, пришел, что они снова вместе. Какое же тут значение имело бы... Нет, нет, она бы объяснила ему, сумела бы убедить его, помочь ему, так, как он помогал ей сотни раз...

— Это правда? — строго спросил раненый, и мрачный глаз впился взглядом в ее просветленное лицо.

— Да. Это правда,— торжественно подтвердила она, словно присягая. — Это чистая правда.

Он смотрел теперь в потолок.

— А то у меня, знаете, сестра, есть девушка...

Да, конечно. Теперь она поняла, что сказала то, что нужно. Она дала ответ именно на то, что его больше всего мучило.

Раненый поднял руку и беспомощно пошевелил ею перед лицом.

— Что тебе?

— Под подушкой... Тут, под подушкой...

Она протянула руку. Зашелестела бумага. Конверт, склеенный из страницы школьной тетради. Расплывшиеся лиловые буквы адреса.

— Письмо выньте, сестра.

Небольшой, замусоленный клочок бумаги.

— Читайте, сестра, вслух.

Она разгладила на колене сгибы. Химический карандаш расплывался пятнами.

«Дорогой мой Вася! Кланяюсь тебе от всего сердца, и мама, и сестренка Фрося, и тетка, и все соседи. Я очень рада, что уже … …ел. Почему ты не пишешь, куда тебя ранило? Так я тебе хочу написать, что я все равно пойду за тебя, так ты напиши мне, куда тебя ранило, и хоть ты стал инвалидом, так ты не думай, потому что все равно, я всегда такая же, как была, так я тебе пишу, чтобы ты ничего не забирал в голову, а только напиши. У нас дома все по-старому, твои родители тоже живы-здоровы и только все ждем тебя, так ты напиши, пойдешь ли еще на фронт или уже домой, а если надо, так я за тобой приеду, потому что твоим родителям трудно, а я приеду. Я кланяюсь тебе еще раз, и жду письма, до свиданья. Твоя Оля».

Мария старательно сложила исписанный листок. В широко открытом, устремленном в потолок глазу раненого появился влажный блеск.

— Ну вот, видишь,— сказала Мария.— Я же говорила...

— Так вы думаете, сестра?..

— Какой ты, право! Ведь пишет же тебе Оля...

— Да, конечно... Но все я думаю... Может, это так, а когда я приеду...

— Нет, нет, это же ясно. Что ты, не читал письма, что ли?

— Как не читал? Читал... И вчера и сегодня... А все-таки...

— Эх, глупенький, чего бы она тогда стоила, твоя девушка? Приедешь, будете вместе работать...

— Какая уж тут работа... — горько усмехнулся он.

— Сделают тебе протезы, будешь работать. Женя поможет, дети будут — помогут.

— Дети...

— Ну, конечно. А теперь надо только лежать спокойно, чтобы все скорее зажило. Чтобы скорей домой, к Оле. Будешь лежать спокойно?

— Когда так — буду...

— Врачей будешь слушаться?

— Ладно уж...

— То-то и оно. А скандалить и сестер разными словами обзывать нечего.

Он сконфузился.

— Как бы это теперь... Может, вы, сестра, скажете им? А то как-то...

— Нет, ты сам извинись. Смотрите какой, обругать он может, а извиниться, так — сможет вы, скажет...

— Тогда я уж сам...

— Конечно, сам. Ну, так я пойду, а ты спи. И чтобы больше скандалов не было!

Тамара на лестнице Марии улыбнулась, но ничего не сказала. Она торопилась напомнить ему. В общем оставалось только передать его загорелой руке. Она сбежала с лестницы. В вестибюле она наткнулась на Воронцова.

— Вы еще здесь? — удивился он.

— Я немного замерзла.

Они вышли вместе в сгущающийся сумрак, в прохладный ветер, в запах земли. В вышине виднелось беспокойное небо, по нему между тополями, вниз, ненавистный рассвет уже не рассеял мрака. Мария спотыкалась.

— Дайте руку, темно очень, а тут ведь ухабы.

Она оперлась на его руку и вдруг почувствовала, что страшно устала. Перед ней, как голубой огонек, шел трамвай. Воронцов помог ей сесть в переполненный вагон.

— Ты очень устала?

— Почем?

— Если бы ты пригласила меня на чашку чая, прежде чем лечь спать, я бы не отказался.

Она улыбнулась.

— Так, может, лучше...

— Великолепно. Страшно неохота возвращаться домой. Брр, какое утро!

Трамвай потрескивал и скрежетал, качался на поворотах, и в такт его движениям колыхалась, качалась человеческая масса, плотно наполняющая вагон. Мария закрыла глаза. Вот они едут трамваем домой, она и Гриша. Гриша обнял ее одной рукой, чтобы защитить от толчков. Достаточно немного откинуть голову, чтобы почувствовать щекой шершавое сукно его пальто.

Старушка, которую кто-то толкнул, пробиваясь к выходу, принялась браниться. Ей грубо ответили. Вот сейчас раздастся веселый голос Гриши, рассмеется вся публика, и спор двух раздраженных людей растает в общих шутках.

Но Гриши не было. Это Воронцов охранял ее от натиска протискивающихся к выходу людей. Гриши не было. Где-то, кто знает где, раздается теперь его веселый голос. Где он может быть в это жалкое, холодное, темное утро. Быть может, идет по какой-то неведомой дороге? Быть может, полз по болоту, спит в землянке? Где Гриша?

И вдруг, как и вчера у койки раненого красноармейца, — хоть и слепой, хоть и без рук, без ног...

— Нам сходить.

Она вздрогнула. С минуту она не понимала, где находится. Ах да, трамвай, Воронцов...

Они снова побрели по грязи. На углу нас мучительно ясно напоминали очертания домов. Темные ненужные фонари торчали, как лишенные жизни мертвые деревья. В некоторых окнах горели огни, слабо пробивались сквозь щели в шторах из темной бумаги.

Все в том же. Она запиралась, подымаясь по лестнице. Воронцов поблескивал электрическим фонариком, сбитым синей бумагой. В его свете лицо Воронцова вдруг показалось чужим и помятым.

Мать неохотно подала гостю руку и, не отвечая на приветствие, отвернулась к стене.

— Мама, это только...

— Знаю, что горячего!.. Прямо не дождешься тебя. Грею, грею, замучилась и опять отогреваю, а тебя все нет и нет...

Мария со вздохом облегчения опустилась в старое, полюбленное кресло. Вытянула ноги. Руки безвольно опустились.

— Ты устала, — тихо сказал он, внимательно глядя на тени, залегшие вокруг ее глаз, возле губ.

— Страшно, — признавалась Мария. Ей не хотелось говорить. Отдыхать, отдыхать! Она была рада приходу Воронцова. В его присутствии она чувствовала себя как-то

и безопаснее. Только мать, как обычно, сочла необходимым продемонстрировать свою враждебность к гостю. Защитница гришиных прав... Да уж действительно, права Гриши нуждаются в защите!..

— Ты чего смеешься?

— Смеюсь? — удивилась она. — Ах да, правда. Знаешь, я подумала, что мама, пожалуй, играет в доме роль свекрови.

Он бился над зажигалкой. Синий огонек загорался и тотчас гас.

— Там на столике спички.

Он не мог найти. Она с трудом встала и выдвинула ящичек. Взгляд ее упал на фотографию. Это был Гриша. Гриша, как живой, с радостным блеском глаз, со смелым поворотом головы Гриша...

— Ты оперировал сегодня?

— Да, знаешь...

Она прикрыла глаза. Казалось, что она внимательно слушает. Но она не слышала ни слова. Ее охватил полусон, дремота наяву. Издали доносился голос Воронцова, но она не понимала смысла его слов. Она была далеко, далеко, около Гриши. Она рассказывала о Васе, о его глубоком отчаянии, о письме девушки, о том, как ей помог он, Гриша. Потому что это он помог ей. Он продиктовал слова, которые следовало сказать, снял с нее тяжесть утомления, отражение его улыбки на губах убедило, быть может, сильнее чем слова, Гриша...

— Не правда ли? — донеслось до нее, и она любезно [illegible].

— Конечно, конечно...

Воронцов продолжал свой рассказ. Слова журчали, как ручеек. У Гриши был другой голос. Она вдруг услышала его, как наяву, тот голос. Ясный, кипящий радостью, которая звучала в каждой его нотке даже тогда, когда он говорил о самых обыденных, безразличных вещах.

В коридоре зашлепали туфли. — Татьяна Петровна внесла на подносе чайник и две чашки.

— А вы, мама, не попьете с нами?

— Я уже пила, — ответила та [illegible] и пожала плечами. Нет, ей не нравились эти [illegible] что-то [illegible] часто появляется у [illegible]. И хотя Мария как будто не обращала на него внимания, все же... Странные визиты в восемь часов утра... Сесть вместе с ними пить чай, означало как бы санкционирование того, что ей не нравилось, что она считала неприличным. Шлепая стоптанными задниками туфель, она вышла в другую комнату и демонстративно закрыла за собой дверь.

— Сахару ну, — сказала Мария, словно об этом нужно было говорить, когда заранее было известно, что сахару нет. Все, что она получали по карточкам, Татьяна Петровна тщательно припрятывала на какой-то неведомый черный день.

— Какие у тебя светлые волосы, Мария, — неожиданно сказал Воронцов.

Она рассмеялась.

— Доктор только что изволил заметить? Какая наблюдательность! Когда я была маленькая, дети приставали ко мне, дразнили меня сивкой. Я страшно огорчалась, думала, что они всегда будут такие белые. Только позже они пожелтели немного.

Нет, он давно знал, какие у нее изумительные светлые волосы. Но сейчас, наливая чай, она наклонилась так, что сияние стоящей на столе лампы освещало рассыпавшиеся локоны над лбом, превращая их в ореол прозрачной, почти серебристой мглы. Он смотрел на это сияние, на опущенные темные ресницы, на прямую линию носа и почувствовал болезненный укол в сердце. Что-то радостное было в каждом ее движении, в каждом шаге, какая-то вечно живая сила, пробивающаяся из глубочайших источников. Даже когда она была страшно утомлена, когда он встречал ее в больничном коридоре, после двадцатичетырехчасового дежурства, когда голубоватые тени залегали под ее глазами, в этом лице была радостная молодость.

Она вносила эту неодолимую молодость в госпитальные палаты и побеждала ею и мрак, и лихорадочные видения, и отчаяние уходящей жизни, и тени надвигающейся смерти, [illegible] более квалифицированные и опытные сестры. Что же давало ей эту силу, что пробуждало в ней эту улыбку, которая едва меняла склад губ, но освещала все лицо каким-то внутренним светом?

Он не хотел отвечать на этот вопрос. Ведь он уже не в первый раз заметил ее многозначительный взгляд, бросаемый на фотографию. Ее улыбка была почти отражением другой, мужской улыбки, улыбки Григория. Муж, которого она не видела почти год, был здесь, не покидал ее ни на минуту. Она жила его улыбкой, в ней черпала свою силу.

Воронцов медленно помешивал ложечкой в стакане. Она рассмеялась.

— Не надо мешать, сахару там нет, — сказала она тем тоном, каким разъясняла что-нибудь совершенно очевидное упрямому, капризничающему раненому.

— Нет, я так, — сконфузился он. — чтобы чай скорее остыл, очень горячий, — объяснил он, но ложечку отложил.

Мария пила мелкими глотками, держа чашку в обеих руках. Ах, как хорошо было отдыхать, пить горячий чай, чувствовать, как

[illegible] маленькой железной печкой тепло разливалось по всей комнате. Если бы еще не надо было поддерживать. Так не хотелось говорить, трудно было даже шевелить губами, а с другой стороны, ведь невежливо изображать внимание лишь улыбками и кивками головы.

Она включила радио. Да, это самый верный способ. Слушать музыку. Если не нравится, можно и не слушать, но говорить больше не нужно.

Поплыла песня. Некогда, много-много лет назад, ее взрастила далекая степь, ее прошумел ветер над беспредельными лугами, прожурчала река, катящая свои воды в необъятную даль, в огромное шумное море. Мотив воплотился в песню, в человеческий голос, в звонкую, печальную кантилену. Не надо слушать слов. Плывет песня о Грише, о его веселой улыбке, о днях счастливой молодости, о яблонях, о ветвях яблони, в которых цвели звезды в июньские, июльские ночи. О песчаных тропинках в сосновом лесу. О густом малиннике, покрытом розовыми ягодами. О словах, которые шептались из губ в губы, из сердца в сердце. О солнечном, совместном пути.

Песня умолкла, и вдруг болезненно сжалось сердце. Мария осталась собой. Нет, нет. Гриша есть, он ближе, в вокруг она различает его смех, звучит его слова. Еще чувствуется крепкое пожатие его загорелой руки с белым шрамом на пальце. А вот скрипнула половица, звук грубого голоса, защелкала сломанной вешкой, рассыпалась солнечным водопадом звуков. Гриша. Гриша — понятие сердца. В нем больше пространства, нетронутого, неизведанного счастья, что вот существует Гриша. Быть может, он скитается по далеким дорогам, быть может, лежит в окопе, быть может, идет в атаку, но он существует, Гриша, ее Гриша.

— Уже поздно, я пойду,— сказал Воронцов чужим голосом. Она открыла глаза. Будто вернулась из далекого путешествия, из неведомой страны, где она шла рука об руку с Гришей.

— Поздно?— рассеянно переспросила она.

Он встал. Брови его были нахмурены, губы болезненно кривились. Она не пыталась удерживать его: хотелось остаться наедине с Гришей.

Воронцов торопливо надевал пальто. Он едва коснулся ее руки на прощание и вышел навстречу пасмурному утру, резкому ветру, пронзительным и колючим каплям дождя. Он поставил ногу, в душе обзывая себя самыми грубыми словами, сжимая в кулаки засунутые в карманы руки. Переполненный пассажирами трамвай только что [illegible] подумал, что так лучше, и [illegible] ми двинулся по мокрым улицам. [illegible] ной волной поднимался и [illegible] себя. А потом на Марию. [illegible] почти прозрачные волосы, на [illegible] кие пальцы, на ее сияющую [illegible] ку, на ее звучный голос, [illegible] ную, тихую комнату с [illegible] столике, с фотографией [illegible] том на этого мужа. На этого Гришу, [illegible] рого нет уже целый год и который все [illegible] тут — мелькает в больничных палатах, [illegible] с ней в трамвае, невидимый сидит за [illegible] при свете лампы, не покидает ее [illegible] нуту. Не настолько он глуп, чтобы [illegible] мать, что происходит. Она обращается с [illegible] как ребенок с плюшевым медвежонком, [illegible] рым мишкой. Ничем больше он для нее [illegible] был. Он знал, чувствовал, кожей чувство [illegible] непрестанное присутствие другого. Другой [illegible] отступал от нее [illegible] на минуту.

— Я пойду,— сказал он громко и [illegible] вздрогнул. Но на улице никого не было, [illegible] то не мог его услышать. Он [illegible] пул шапку на глаза и быстрей [illegible], [illegible] резая наклоненной вперед [illegible] струи дождя.

Тем временем Мария медленно [illegible] стала собирать со стола посуду. [illegible] туфли, скрипнула дверь.

— Ушел, наконец?

— Ушел, ведь уже поздно.

— Еще бы. Сидит и сидит.

— Чем это вам мешает?

— На что у него своего дома [illegible]

— Вы же знаете, мама,— у [illegible] нного нет.

— Все равно, тут ему нечего делать.

Мария рассмеялась.

— Ничего он тут не ищет.

— Я-то знаю, я-то вижу [illegible] дала,— ворчала старуха.— Оставь, я [illegible] соберу, а ты иди спать. Мало тебе [illegible] питале намучаешься, а тут еще [illegible]

— Ну какие это гости, [illegible] мама! Пришел, посидел и [illegible] Или стакана чаю жаль?

— Глупости болтаешь. [illegible]

Мария постелила себе на [illegible] лось спать, спать, спать. [illegible] стель одетой, чтобы не надо [illegible] чулки, расстегивать платье, [illegible] немедленно...

— На что это похоже, спать [illegible] времени, у тебя уж и глаза [illegible]

Татьяна Петровна поднялась [illegible] щила вилку штепселя. Мелодия [illegible] валась на половине такта. Не [illegible]

— Спи, спи, уже день [illegible]

У нее не было сил отвечать, ее охватила теплая, мягкая волна, все заколыхалось лазурной глубиной, золотой пеной, громкой мелодией, осиянной непонятным блеском. Это был сон, и хотя в нем не было Гриши, Маруся знала, что это все-таки сон о Грише, и золотая волна — это лишь его улыбка, и мелодия — это лишь его голос.

Далеко, далеко заиграли на башне куранты и пробили часы. Сквозь плотно закрытое окно доносились чистые, проникновенные звуки; в марином сне они превращались в цветы и блеск, в какие-то непонятные, неизъяснимо радостные слова. И так она опускалась на дно, где сон был мягкий и пушистый, как сажа, и в нем уже не было ни цветов, ни звуков, ни слов, а лишь дающее силу и отдохновение, глубокое, молчаливое спокойствие.

Но погружаясь в эту тишину и спокойствие, она отдавала себе отчет в том, что она спит и что, хотя в этом сне нет ни цветов, ни звуков, ни форм, каким-то непонятным образом и это тоже был сон о Грише.

*

В этот самый момент капитан Григорий Чернов очнулся от обморока. Ему показалось, что он возвращается из какой-то неизмеримой дали, где с ним что-то случилось. Но что? Он не мог вспомнить. Мир растворялся в ослепительном, гремящем блеске.

А теперь было тихо. Поразительно тихо. Ему почудилось, что эта тишина верно, и разбудила его. Но не понимал, что происходит вокруг. Прямо перед его глазами было что-то серое, он различал какие-то продольные полосы, длинные прямые выпуклости и впадины между ними — однаковые, однообразно повторяющиеся. Что это такое? Поле? Пустыня? Волосы? Нет, это серо-коричневое на поле. Ведь он над ним, наверху, каким-то непонятным образом наверху. Земля стала дыбом, словно глядит, когда летчик делает полный круг над аэродромом, перед тем как к глазам как-то приказалось, что он бежит, ра... Он хотел ответить голову, что-... но не мог шевельнуть... такое? Гора на него свали... Или его засыпало? Но весь он ... ствует на губах сырость воз... ли идет? Лицо было ... мительно стягивало. В голове ... невозможно было понять ... т до его ушей донесся дале... кий, знакомый звук.

... — узнал капитан, и весь мир ... азу стал на свое место. Серо-коричневые холмики и долинки — это были не поля, не борозды, а просто-напросто ткань чьего-то мундира, кто-то лежал над ним. Осознав это, он ясно рассмотрел ее, к нему вернулась способность оценивать размеры и расстояния. И не гора свалилась на него, а просто он лежал под телами убитых. Он заметил ремень пояса, чью-то бессильно свесившуюся руку, подошву сапога, поверженное дуло винтовки. Что-то мешало видеть, он смотрел только одним глазом. Он пытался вздохнуть глубже, но не мог. Невыносимая тяжесть лежала на груди, придавливала, душила. Что же это такое? Да вот эта страшная боль, места которой он не мог определить. Болело лицо, это наверняка. А все остальное? Все остальное словно перестало принадлежать ему, словно слилось в одно с этой грудой тел, которая возвышалась над ним.

Мысли путались, мутились. Он пытался привести их в порядок. Бой, видимо, кончился. Немцев нет. Грохот орудий доносился издали, все в одном направлении, и капитан Чернов сообразил, что части продвинулись вперед. Значит так, немцев прогнали. Он пытался вспомнить, что произошло с ним самим, но добирался только до момента атаки, а затем все исчезало в ослепительном свете... Как выяснить, что у него, собственно, болит и ранен он или нет? Рукой невозможно шевельнуть, ее придавила страшная тяжесть. Но шевельнуть бы хоть пальцем, почувствовать самого себя, найти себя в этой груде покойников...

Это не удавалось. Где они, его руки, левая, правая? Видимо, так отерпели, что ими невозможно шевельнуть. Ноги, хоть бы одним пальцем... Ведь больно же, невыносимо больно, а где — неизвестно. Существовала, жила, думала, работала только голова. Остальное перестало принадлежать ему, стало частью того, что лежало вокруг него и на нем. Он поднял глаза вверх. Сломанные брезентовые. Словно ворох старых тряпок. Кто они такие? Свои? Немцы? В глазу у него темнело, но все же он рассмотрел цвета,— да, это были свои. Ему пришло в голову, что свои перенесли трупы с поля боя и сложили в одном месте. Но как он сам здесь очутился? Он же не мертвый, это он знал твердо. Очень, уж было больно. Как он сюда попал? Значит, был здесь кто-то, собрал тела, перенес их. Когда же это случилось? Между моментом, когда сверкнул ослепительный свет, и другим моментом, когда он увидел мундир, он понимал сознания, на что смотрит, пролетело всего одно мгновение.

Мундиры посерели, поплыли вверх и вбок. Григорий почувствовал во рту

тошнотворный вкус. Он погрузился в колеблющийся серый сумрак, в густой, подвижный, пульсирующий, как что-то живое, туман.

Потом он снова всплыл. Его вызвала из серого сумрака, из необъятного пространства нарастающая боль. Было холодно. Он с усилием повернул голову и увидел, что лежит на земле. У самых его губ начиналась полоса снега, засыпанного чем-то черным, пропитанного красным. Дальше голая земля, а потом снова снег, пологий овраг, склон горы, несколько деревьев. Он пытался припомнить. Верно, горка знакомая, оттуда они спускались. Куда же все исчезли, куда они девались? Он хотел крикнуть, но из горла вырвался только беспомощный хрип. Ох, как холодно! Ледяная земля, пронизывающая сырость в воздухе.

Вдруг он услышал скрип. Нечеловеческим усилием еще немного повернул голову. Здесь есть кто-то, он поможет столкнуть эту страшную гору, которая навалилась на него, освободить руки и ноги от сковывающих их пут, снимет эту тяжесть, которая заслоняет глаз и мешает как следует видеть. Санитары, где санитары!

Его взяла злость. Когда не надо, так их полно кругом, а когда нужно, так ни одной собаки. Он снова попытался крикнуть и снова только захрипел. Какой-то знакомый звук, но откуда? Да, правда, это был галчонок, галчонок выпал из гнезда и лежал на земле, и когда он взял его в руки, пытался клюнуть его, защипел, закричал. Только в его собственном хрипе было меньше враждебности, чем в звуках, издаваемых маленьким птенцом.

Опять что-то заскрипело. В поле зрения возникло коричневое пятно. Да это лошадиная морда. Она вынырнула откуда-то снизу, за ней показалась напряженная, вытянувшаяся спина. Лошадь, видимо, тащила что-то. Потом появилась человеческая голова — это был свой.

Григорий всматривался, пытался преодолеть взглядом серый туман, который все наплывал, стирал все формы, овладевал миром. Григорий вырывался из его липких объятий, с нечеловеческими усилиями преодолевал их.

Лошадь тащила длинные низкие сани. На них лежал человек, с головой закрытый одеялом. Сани полозом показались из оврага и теперь двигались по склону, покрытому ледяной корой. Лошадь шла с трудом, копыта скользили, упряжь врезалась в тело. Боец, идущий рядом, понукал ее, подпирал плечом, подталкивал сани. Так они добрались до половины склона. И тут лошадь стала медленно, сантиметр за сантиметром сползать назад, вниз, вниз.

Боец кричал и погонял лошадь. Он удерживал ее, пытался помочь. Но он и уже скользил по гладкому склону. Они упирались, пятились, медленно, но неотвратимо в овраге не исчезали сани, потом человек, потом голова лошади.

Снова море серого тумана. И снова из него появляется лошадиная голова, за ней голова человека, затем сани. Григорий пристально следил за тем, что происходило на склоне, словно что-то и было самое важное. Вперед — лошадь осторожно ставила ногу, напрягала мускулы, сани медленно ползли. Григорий жил. Да, вот опять все то же: лошадь пятилась, соскальзывала вниз, и за все исчезало. И снова появлялась лошадь, человек, сани и на санях — опять человеческая фигура, с головой покрытым одеялом. «Везет раненого»,— подумал Григорий. В санях, должно быть, лежал такой же раненый — не заметно было никакого движения, не слышалось ни единого стона.

«Я ведь тоже ранен»,— подумал Григорий и его охватила злость. Здесь, в двадцати шагах от него находится человек, и, должно быть, он не один, вот он бьется с лошадью, борется с этими ледяными скользкими, и ему в голову не приходит оглянуться, посмотреть, увидеть, что вот тут же, в двадцати шагах, лежит человек, которому тоже надо помочь...

Хотя на самом ли деле он ранен? Потом у него не было. Главное, он мог двинуться, был занят и маленьким птенцом. И снова отдался работе.

И те же чувства, свой страшный тяжкий труд. Один раз сани тоже перевернулись на противоположную сторону, но только два раза случилось то же самое. Боец упорно тащил лошадь, лошадь карабкалась по обледенелой поверхности, в какой-то момент опять начинало скользить, лошадь опять сползала в овраг, и снова начинался свой труд, отчаянный, безнадежный. Раненый в санях не шевелился, не стонал, молчал и не знал, какая борьба идет за него. Борьба с обстоятельствами, с природой. А может быть, он уже умер, и вся эта мучительная воля не нужна.

«Ну, а если даже умер,— думал Григорий,— красноармеец этого не заметит. Он будет без конца, без конца добиваться невозможного, непосильный труд, охрипшим голосом понукать лошадь, умолять ее, заклинать, успешно объяснять ей, что она сделает два, пять, а там уж все будет в норме, без конца маленькая, понятная задача, будет напрягать все силы, добиться ее

...определенного места, а откуда сосать...
...сать время.

Григорий ...увидел далекий, тусклый ... Слышно было только ... — ни ...ментов, ни ... Бой, вероятно, ...лился на порядочное ...стояние. Сколько ...времени он ...ежит здесь? Ему показалось, что с минуты. Когда он увидел ...пальцы в ...оге, прошло ...очень много времени. Часы? Дни? Нет, это не может быть, чтобы ...ни. ведь ночь еще не наступила. Хотя, кто ...ет, возможно этот серый туман, который ...плывет, то рассеивается, это и была ночь?

Он не мог оторвать глаз от движущихся ...ров на склоне, но очертания их все более ...ывались. Конная перестала быть лошадью, человек перестал быть человеком, они ...ались на глазу, как огромные тени чего-то неведомого. А быть может, все это было лишь сон, просто лечь в снежную ...ору нагромождением? Нет, он ...ел и было ...удачно. лег. это было бы ...ь, и рот да него наполнится ...ор ...ного сна и ...ит, ...ает, не ...ает дышать. На склоне ...ного ...ет. ...ак же, ...ень ...ет ...ели, который он ...ал, ...ежь они ...нимали ...сь пози...ии. С верхней ...ойки на ...ого кто-то свалил ...ь и ...ит, ...ает. Надо проснуться, надо ...ейчас же ...оснуться. Ну да, так ведь слу...ается по сне: ...ечень ...ачать, напрягаешь...я до ...ота, а тогда ...ается в ...лотке, вырыва...ся ...лишь ...лабый, ...езобидным писком, ...ешным ...ухом... Разумеется, это сон... ...ой туман, ...ыть он ...ействует, ...ограничен, ...ключенный ...обой ...есь ...ир, ...ижный, ...балансный... Непонятным об...ом туман ...олод, хотя он ведь был вне его, ...ел с ним ...ичего общего, и все же он ...олод. Григорий ...удивился, ...ак это может ...ыть. Он вспомнил ...ерватые ...ашгупы и впа...ины, хотел еще ...осмотреть на них, но их ...же не было. Был ...росто ...оскут ...ундира. ...идеть его таким, ...аким он ...идился ему ...ачала, уже не ...удавалось.

С минуту ему ...казалось ...ущей ...ессмыслицей то, что он ...ежит здесь. Можно ведь ...ро...встать и ...ойти, не обращая ...нимания ...ту ...валившуюся на него ...яжесть. Все ...ело ...росто встать и ...ойти. ...акому ведь в голову не ...утится, никто не воз...встряхнет, не разбудит. ...ить.

...ился, словно кто-то ...его. Григорий почув...оль и увидел все с ... Нет, это не был сон. ...л, ведь утром нача... ...штурмовали деревню ...а холме — потом был взрыв, и он уже не помнит себя бегущим дальше, видимо, его взрывом его и ранило. Он лежит ...ед телами убитых. Очевидно, их ...ренесли сюда, в одно место, и его приняли за ...ого. Там, на склоне, везут раненого,— ...ли бы он мог крикнуть, красноармеец ...нял бы и помог ему. Но крикнуть он не может.

Нужно ждать. Чего, собственно? Либо кто-нибудь будет проходить мимо, либо просто начнут хоронить погибших и тогда найдут его. Только бы не потерять сознания, чтобы снова не приняли за мертвого. Весь вопрос только в том, когда сюда придут. Это может быть сегодня, завтра, послезавтра.

Холод становился все пронзительнее. Григорий невыносимо тошнило. Хоть бы знать, куда ранен. Но даже и это невозможно было установить. Кто же окажется сильнее — он или рана, холод и время?

А время тянулось невыносимо. Ведь не может быть, чтобы это продолжалось так долго, как ему кажется. Там, на склоне, человек все еще борется с гололедицей, с лошадью в отчаянной схватке за жизнь другого человека.

Снова серый туман. Меж клочьев этого тумана удивительно всплывают: лошадиная голова, охрипший человек, длинная, полусогнутая фигура на розвальнях. Вверх — и снова вниз по проклятому, заколдованному склону, который не давал преодолеть себя, не пускал, сталкивал вниз борющегося за жизнь — сталкивал в смерть.

*

— Мария, тебя директор ...ал.

— Не знаешь, в чем там дело?

— Понятия не имею. Сказал, чтобы ты пришла.

Напевая, она пригладила волосы перед висящим над умывальником зеркалом. В кабинете директора горела только одна лампа на письменном столе. Он поднял глаза на вошедшую и встал, не переставая перекладывать какие-то бумаги.

— Слушаю, Михаил Никитич.

— Да, да, сейчас...—пробормотал он смущенно и опустил голову. Мария удивилась.

— Что случилось, Михаил Никитич?

— Ничего, ничего...

Он снова поднял на нее глаза, вышел из-за письменного стола и взял ее за руки. Что-то испугало ее. Она еще ничего не понимала, но почувствовала,— внезапный холод пробежал по ее спине от самых ног, как стынет кожа на лице.

— Мария Павловна, вы всегда были умной, храброй женщиной.

Она не поняла и вопросительно посмотре-

ла на него, слыша нарастающий шум в ушах. Что это такое? Что происходит?

— Что делать, Мария Павловна... Война...

— Что случилось? — спросила она еще раз не своим, глухим голосом. Ее охватил страшный испуг, непонятный, удушающий страх. Директор обернулся к письменному столу и взял с него какую-то бумажку.

Тогда ее словно молнией озарило. Комната вдруг наполнилась ослепительным светом. Она зашаталась и быстро прислонилась к столу, чтобы не упасть.

«Гриша!» — подумала она именно то, что должна была подумать в первую же минуту, когда вошла в кабинет и увидела смущенный и неуверенный взгляд директора.

— Это вам... письмо...

Она взяла его застывшими пальцами. Это было даже не письмо. Обыкновенное извещение,— сколько она их перевидала с начала войны. Только те извещения не ей были адресованы.

Мария развернула листок. Собственно, незачем было и читать, ведь заранее было известно, что там написано. Она машинально пробежала листок глазами.

Да, конечно. Обычная формулировка. Капитан Григорий Иванович Чернов пал смертью храбрых в борьбе за свободу и независимость своей родины.

Она бессознательно смяла в пальцах листок. Директор снова взял ее за руку.

— Мария Павловна, нужно быть мужественной...

Она улыбнулась, сама не понимая, почему.

— Да, да, понимаю.

И затем:

— Можно идти?

Он кивнул головой, и Мария, не прощаясь, вышла. Длинный коридор, красная дорожка. В проходе валялся окурок. Тоже странно, на этом этаже вообще нельзя курить, а тут еще окурки бросают,— она наклонилась, подняла окурок и бросила в стоящую в углу пепельницу. Страшно красная дорожка, она лишь сейчас это заметила. Она резала глаза, раздражала. В больнице не должно быть таких ярких цветов. И какой длинный коридор,— она машинально стала считать шаги. Десять, двенадцать. А сколько ступеней в лестнице? Любопытно, что раньше ей никогда не приходило в голову сосчитать... Двенадцать, тоже двенадцать. Кто это? Ах, да, Раиса. Какое смешное имя: Ра-и-са...

— Что случилось? Зачем он вызывал тебя? — спокойно спросила Раиса, убирая в шкафчик инструменты.

— Ничего...

— Как это ничего?

Раиса обернулась и только сейчас заметила странное выражение на лице Марии.

— Что случилось, Маша?

— Ничего...

— Ну что ты говоришь! Какая-нибудь неприятность?

— Неприятность?

Губы Марии искривились в неприятной усмешке. Можно ли назвать это неприятностью?

— Да, в этом роде...

— Да что такое? Почему ты не скажешь?

Мария вдруг опустилась на стул, словно ей ноги подрезали. Детским беспомощным голосом она сказала:

— Гриша погиб...

Раиса вскрикнула, и из ее глаз сразу хлынули быстрые, легкие слезы. Она подбежала к подруге.

— Маша, Маша!

Мария отстранила ее. Глаза ее уставились на коричневый сучок в гладкой паркетине. Как роза. Как нераспустившийся розовый бутон.

— Гриша погиб,— сказала она еще раз, вслушиваясь в звук собственного голоса. Гриша погиб,—повторила она громче и удивилась тому, что говорит. Ведь это же неправда, это не может быть правдой. Это нелепая ложь, какие-то ужасные слова, которых нельзя повторять.

Красный огонек блеснул на доске пульта. Раиса вскочила.

— Я пойду!

— Это из моей палаты,— ответила Мария обычным голосом, торопливо собирая кончиком полотенца.

В дверях ее встретила санитарка.

— Что там такое?

— Сильной номер умирает. Очень тяжел.

Сильной? Ах, ведь это была уже давно. Врач предупредил, думали, еще два-три дня.

Она тихо вошла в палату. Кто это умирает? Гриша. Какая бессмыслица. Гриша не мог умереть. Она подошла к раненому, у которого веяло жаром. Он держал такие его пальцы торопливыми, взбудораженными движениями перебирал белое одеяло. Мария наклонилась над ним. Глаза были закрыты. Дыхание со свистом вырывалось... Достаточно было взглянуть... Мария отшатнулась, причастилась к иным бедам. Впрочем, это предсмертная тяжелая рана в живот... обречен еще прежде, чем...

Раненый застонал. Понял, что он узнал... Мария... за которую он любил...

...на надежду, бодрость и спокойствие. Но ...уже не было надежды, здесь не было ...сти, здесь нужно было дать только — покой.

...на поправила пузырь со льдом на голо... Мокрые волосы прилипли ко лбу. Она ...рожно отвела их, положила руку на ...агивающие, царапающие одеяло пальцы.

— Ооооох...

— Тихо, тихо, не надо...

...на взглянула на листок над койкой и ...готовила лекарство. Осторожно влила его ...ечкой в пересохший рот. Раненый успоко...лся и с минуту лежал тихо. Затем губы ...зашевелились. Он что-то говорил. Глаза ...-то требовали. Сперва она не могла по... . Раненый повторял одно слово, беспре...но, хрипло, монотонно. В нетерпении он ...ался говорить громче. Наконец в его ...опоте она различила отдельные ...и и поняла. Раненый неустанно повто...одно слово:

— Сводка.. Сводка... Сводка...

— Вы хотите узнать, какая сегодня свод...

...ки на мгновение опустились. Напряжен... выражение сошло с лица. Она отгадала. ...онившись к нему, она медленно, явственно сказала:

— Наше наступление продолжается. Се... мы снова продвинулись на двадцать ...илометров. Взяты большие ... населенных ...ктов.

...ицо раненого прояснилось. Затуманенные ...ом глаза взглянули сознательнее. Этого ...и хотел. Именно это его и мучило. Но ...ез минуту пальцы снова стали царапать ...ало, глаза помутнели. Он отходил. Погру...ся в бездну лихорадочного бреда, в тем...о, зияющую жаром пустыню. Губы снова ...шевелились, но она не могла уловить ни ...ого звука. Он что-то говорил себе или ...ещам, являвшимся ему на безторожьи ...орадки. Губы шевелились быстро, быстро. И вдруг Мария осознала, что ее губы то... шевелятся, что она, словно в лихорадке, ...ает одно слово: — Гриша.

...на свалилась ... Впрочем, ведь то бы... галлюцинация ... наваждение, чудовищный ..., ошибка.

...в кармане бол...ничного халата зашелестела бумага. Бумага — вещь реальная, но и ...ничего не зна...чила.

Раненый снова ...стал. Она очнулась. Снова ...правила лед на ...олове и спол...зающее одея... Шопот усилил... Обожженные губы все ...ыстрее ... ...ные слова, путаные ...-то выкрикивал. Вдруг ...ся на локте и хрип... лым, пронзительным голосом закричал на всю комнату.

— Вперед! За родину! За Сталина!

Он рванулся, пытаясь встать на ноги. Мария с трудом удержала его на кровати. Он отталкивал ее, вслепую колотя руками. Она отворачивалась, стараясь избежать ударов по лицу и, обхватив его руками, непрестанно повторяя:

— Ну, тише, тише, спокойно, нужно лежать спокойно, ну, тихо, тихо...

Он, наконец, ослабел и, тяжело дыша, упал на подушки. Раненый лежал неподвижно. Его лицо еще более пожелтело, нос заострился. С минуту дыхание его было так слабо, что Марии показалось — он уже умер. Но тотчас же грудь снова начала стремительно подниматься и опускаться, а тяжелое, свистящее дыхание с трудом вырывалось из легких.

— Кто это? — спросил он вдруг в полном сознании.

— Никого здесь нет, это я — сестра Мария. Мария Павловна.

Но тут же она поняла, что он не слышит и не видит ее. Он задал вопрос не ей, он не к ней обращался.

Она шаталась от усталости. Что это ...ошло, сломилось, что же это ...стало светить неугасимым светом? Ах да, нет Гриши. Нет его радостной улыбки, нет пожатия его ...льной руки, нет его присутствия, того, ...рое она всегда чувствовала, которое ...держивало ее в тяжкие часы ночных дежурств, ...в тяжкие часы в операционном зале.

Раненый снова ...шептал. Однообразным, непрерывным, быстрым шелестом за ...ающих губ и замирающего голоса. Он что-то ...ел, кому-то отвечал, кого-то спрашивал. Это не имело никакой связи с больничной ...бой, никакой связи с его смертным часом.

Он был где-то далеко, на полях боев, ...клонился над картами, с глубочайшей тревогой сердца, с напряженнейшей любовью ...ал родную землю, ее пространства и просторы. Он тревожился и беспокоился о чем-то, что-то добивался, непременно хотел что-то ...слать, совершить. Он умирал за родину здесь, на больничной койке, но все его мысли, все его заботы и тревоги были там, где грохотали орудия и гудели машины, где сплоченными рядами, стиснув зубы, с красными от бессонницы глазами, с ...масом на устах шли в атаку его товарищи. И ничто больше не ...ществовало для этого человека в его последние минуты, только одно это, одно это. Мария пыталась уловить смысл лихорадочного ...опота, ответить, помочь, но он уже не ...ал и не слышал ее.

Лишь на обветренных его губах ...ывалась ...ка. Минуты текли медленно, тянулась в беско...

нечность, останавливались и не проходили. Все перепуталось в сознании — Гриша, умирающий, Раиса, директор — когда это она была у директора? Вчера, позавчера, год назад. И вообще, была ли она у него?

Который час? Она взглянула на часы, но часы стояли. Шопот раненого все продолжался, пронизывающий, непрестанный. Губы шевелились все быстрее и быстрее, руки царапали одеяло.

Еще один листок со скорбным сообщением. Только в этом случае напишут: умер от ран. Кто получит роковой листок, кому он затемнит сияние солнца, кому перечеркнет дни черной чертой, за которой уже нет ни счастья, ни радости?

Она подошла к окну и приподняла штору. Квадраты стекол обозначились едва заметными помутневшими серыми пятнами. Мария погасила лампу. Бледный, зимний рассвет медленно просачивался в комнату. Из мрака выступил столик у койки, стакан, бутылочка с лекарством, голова раненого на подушке, желтое, восковое лицо, черные глазницы, потрескавшиеся губы, слипшаяся прядка волос на лбу.

Он еще шептал, все тише и тише. И все быстрее шевелились пальцы на одеяле.

Светало. И это наступающее утро словно поглощало последние силы умирающего, словно впитывало их в себя и за их счет крепло, разрасталось, преодолевало тени, побеждало ночь.

Когда все предметы в комнате обозначились ясно и когда последние клочья мрака попрятались по углам, растаяли, Мария увидела, что пальцы перестали шевелиться. Губы застыли в неподвижности. Раненый умер совершенно тихо, широко открытые глаза были устремлены на белизну потолка. В них застыл беспокойный вопрос, на который уже никто не мог дать ответа.

Мария вздохнула и позвонила. Приплелась заспанная санитарка.

— Умер,— сказала она ей сухо.—Я ухожу.

Она сошла вниз, с трудом переставляя одеревеневшие ноги. Никак не удавалось застегнуть воротник пальто. О ботиках она забыла.

Сзади крупными шагами спускался Воронцов. Его дежурство заканчивалось в это же время.

— Уходишь, Мария?— задал он ей бессмысленный вопрос. Ведь он же видел, что она уходит. Мария взглянула на него невидящими глазами.

— Ухожу...

Голос был глухой, изменившийся. Под глазами черные круги, щеки ввалились. Она не двигалась, словно ей трудно было нажать ручку входных дверей.

— Я провожу тебя домой.

Она запротестовала:

— Домой. Нет, нет, только не домой...

У подъезда стоял автомобиль. Она хотела обойти его, но Воронцов осторожно взял ее за локоть и подвел к дверце. Она безвольно двигалась. И лишь очутившись внутри, удивилась:

— Машина.

В сущности, это ее вовсе не интересовало. Она спросила не думая, просто. Впрочем, ей показалось совершенно естественным, что есть машина. Ведь иначе она не дошла бы до трамвая. С минуту она соображала, собственно говоря, почему. Ведь она каждый день возвращалась домой, шла к трамваю, а сегодня не может. Что произошло, что случилось,— пыталась она вспомнить.

— Это директорская. Поедем ко мне. Тебе в самом деле нельзя сейчас возвращаться домой.

— Нельзя... Нельзя... Нельзя... — повторила она. — Что нельзя? Ну да, было что-то такое невозможное, что-то такое, чего нельзя преодолеть...

— Гриша погиб,— сказала она вдруг. Воронцов взял ее руку в свои.

— Я знаю, Мария.

Он вывел ее из машины. На мгновение она удивилась, куда это они идут. Ведь это же не та лестница. А его ответа она не слышала.

Заскрежетал ключ в замке. Прихожая, комната. Она остановилась на пороге, не зная, что ей надо делать.

— Прилег, Мария. Ты должна отдохнуть. Сейчас я приготовлю чай, ты позавтракаешь.

При мысли о еде она почувствовала внезапный приступ тошноты. И снова как гвоздь, заколачиваемый в череп, назойливо заступало слово:

«Должна, должна, должна...»

Что такое она должна. Да, да что-то нужно было выполнить, какой-то беспощадный долг, от которого нельзя уклониться.

Она села на тахту, бессм[illegible] в окно. На ветру качались [illegible] деревьев. Туда и сюда, туда [illegible] и сюда...

— Почему ты не сняла п[illegible]альто? Сними, тут тепло.

Она посмотрела на него [illegible] непонимающими глазами. Он подошел, сня[illegible] пее пальто, берет.

— У тебя совершенно [illegible] покрые ноги. Как можно в такую погоду без [illegible]тиков? Несколько шагов до машины и уже [illegible]омочила.

Она продолжала, [illegible] не слыша, смотреть в окно. Он встал п[illegible] колени [illegible] туфли, стащил [illegible] чулки. [illegible] безудержным, [illegible]м движ[illegible]

ся головой к ее коленям. Она машинально положила руку на его голову. Стоя на коленях, он обнял ее.

— Мария, Мария...

Но тут же он понял, что она его не видит и не слышит. Мария мертвыми глазами смотрела в окно. Он прикусил губы и встал. Осторожно уложил ее на тахту, прикрыл пледом. Она позволила укутать себя, неподвижная и безвольная, как большая кукла.

В электрическом чайнике закипела вода. Он заварил чай и со стаканом в руках сел возле нее.

— Мей, ты должна выпить хоть немного.

Он осторожно поил ее с ложечки, как ребенка. Теплая струйка разливалась по внутренностям, согревала. Она жадно пила.

— Ты должна чего-нибудь поесть.

Она откинулась назад, почувствовала новый приступ тошноты.

— Нет, нет, нет!

— Нельзя так, Мария, ты должна поесть, уснуть, отдохнуть.

— Нет...

— Не упрямься. Нужно жить... Что случилось, того не вернешь... А жить нужно...

— Нужно? — сказала она не то вопросительно, не то удивленно.

А затем, глядя в окно, деревянным голосом:

— Гриша погиб...

— Слушай, Мария, слушай, люди гибнут, это война, это ведь война. Ты сама знаешь, что будет ты... Оставляешь жен, детей, влюбленных. Война ведь... А мы... А те, что остаются, должны жить, работать за них и за себя.

— А Гриша погиб,— повторила она тем же тоном.

— Да, Мария, это и есть цена победы... Понимаешь, цена победы... И Гриша, и другие...

— А ты жив,— сказала она вдруг громко, отчетливо и злобно усмехнулась.

Красное пламя залило его узкое лицо.

— Мария, ты же знаешь!

Да, она отлично знала. Тяжелый порок сердца. Кроме того, он ведь врач, специалист хирург и делает именно то, что лучше всего умеет, работает там, где больше всего нужен.

Неизвестно почему, пламя, залившее лицо врача, доставило ей удовольствие. И то, что у него стали дрожать руки. Вот этого ей и хотелось, задеть его чем-нибудь, больно, несправедливо, некрасиво, так, чтобы было как можно больнее...

Он сидел бледный и несчастный. Ей полумалось, что собственно ей надо бы его пожалеть, но ей доставляло удовольствие именно то, что он сидит такой несчастный, он, крупный специалист, доктор Виктор Николаевич, перед которым дрожат начинающие. Сидит, как мальчик, и его маленькие усики, словно приклеенные над верхней губой, смешно дрожат.

Вдруг ее, как обухом, ударила мысль о том, что произошло. Никакого значения не имело то, что она уже несколько раз повторяла страшные слова. Она повторяла их губами, как непонятную, лишенную содержания формулу на незнакомом языке. Она села и начала дрожать всем телом. Глубокое отчаяние расширило ее зрачки, глаза стали почти черными. Она ломала руки.

— Гриша погиб.

Воронцов бросился к ней. Она дрожала, тряслась, ловила губами воздух. Откуда-то из самой глубины ее существа подступали рыдания и ломали, рвали ее тело, пока она, наконец, не разразилась ужасающим, громким, неудержимым плачем.

Он сидел рядом осторожно обняв ее. Мария положила ему голову на плечо, как ребенок. Он держал ее в объятиях, словно желая спасти, защитить, загородить от всего дурного, от всего мира, от беспощадной судьбы. В этот момент он не ощущал ничего, кроме безграничной нежности, безграничной жалости, братской любви к обиженной, покинутой, бездомной сестренке, у которой, кроме него, не осталось никого на свете. Он шутил, как мог, ее дрожащее тело, неловко старался стереть непрерывно льющиеся слезы.

Плач перешел в рыдания, в детские всхлипывания. Он встал и подал ей порошок. Она отрицательно покачала головой, но выпила. Зубы застучали по краю стакана.

— Теперь ты будешь спать.— сказал он и, накрыв ее еще одним одеялом, положил под голову подушку. Мокрые ресницы опустились на щеки. Он сел рядом и, держа ее за руку, смотрел, как она спит, от времени до времени потрясаемая беспомощным всхлипыванием. Щеки были мокры от слез, мокры от слез были сияющие светлые волосы на висках. Вдруг ему больше всего на свете захотелось коснуться губами этих волос, но он со вздохом отвернулся.

Воронцов встал и подошел к окну. Шел дождь, мелкий, пронизывающий. Во дворе суетились люди у грузовика. Высокий, плечистый человек одним движением забросил себе за спину мешок, и Воронцов увидел, как широкая улыбка осветила его загорелое лицо. Ребенок пытался перескочить через лужу, и не допрыгнув, поднял стопами башмаками целый фонтан воды. Человек с мешком за плечами рассмеялся, и Воронцов даже издали увидел ослепительную белизну его зубов.

☆

Из книги выпал засушенный ландыш, пожелтевший, неживой цветок. Когда-то он цвел

на опушке, в тени низких кустов, пахнущих свежей зеленью. Выглядывал из полуразвернутых листьев чарующей белизной зубчатых колокольчиков. Стлал крепкий, сладкий аромат по земле, еще усеянной прошлогодними сухими листьями. Следуя за струей аромата, они дошли до этого уголка, тенистого, влажного, полного росы и вздохов земли, пробуждающейся от долгого сна. Их пальцы встретились в ландышевой чаще, в весенней красе, среди гладких, блестящих листьев, среди гибких стеблей. Их руки обнялись крепким, братским, сердечным пожатием. Пальцы сорвали белый ландыш. Так он и остался, вложенный в книгу на память о том дне, который миновал и прошел в ряду других дней, выделяясь из них белым ландышевым ароматом, блеском росы на шелке листьев. Да, был такой ландышевый день. Ее и гришин день.

Теперь в ее руках лежала тень тех часов — ненадежная память, обманчивый символ. Белый атлас пожелтел, круглый колокольчик стал сухим и плоским, в нем больше не пульсировали живые соки. Улетучился чарующий аромат, молодая зелень листа покрылась паутиной жилок, стала серо-желтоватой, прозрачной, болезненной.

— Ландышевый день...

— Ты что-то сказала, Мария.

Она подняла из Воронцова невидящие глаза. Она совсем забыла о его существовании. Забыла, что он сидит в ее комнате. А он сидел, внимательный, сочувствующий, с этим вечным невыносимым напряжением во взгляде.

— Так, ничего.

Она держала в руке увядший, сухой цветок. Взвешивала его на ладони. Легче перышка. Возможно ли, чтобы он значил когда-то для нее так много. Что когда-то он был обещанием и ароматом, расцветом и красой. Где же тот день, навсегда утерянный, невозвратно ушедший день? И зачем было срывать цветок, вмешиваться в его удел, в его неизвестную ландышевую судьбу, белую, хрупкую, ароматную.

Книга была сборником стихов. Здесь было и стихотворение о ландышах, о сухом ландышевом дожде в мокрой роще. Когда-то они вместе читали стихи, и слова звучали мелодией и были таинственны и радостны, как запах цветов. Но теперь время ландышей миновало, и вместе с ними миновало время стихов. Что знали они, легкие и полные гармонии, о человеческом несчастьи, о человеческом отчаянии, о черной судьбе. Эти стихи о цветах и о любви писались для счастливых людей. Отцветали цветы, истекала кровью любовь, любовь гнила в далеких полях под землей, уходила навеки в стоне боли, в бессильном взгляде угасающих глаз. Нет, теперь была не пора стихов — стихи обманывали покоем и гармонией, — покой и гармония не существовали. Внезапно обрушивался гром и разбивал все, и все разрывал в клочья и разносил на все четыре стороны, по всем закоулкам мира.

Конечно, если все это правда. А может, и неправда? Разве не случалось?

Кто-нибудь привозил известие, рассказывал как очевидец, а потом оказывалось, что было вовсе не так...

Только здесь «очевидцев» не было. Здесь был официальный бланк и формальное извещение. Зачем ты надеешься, глупая, зачем, зачем обманываешь самое себя, когда отлично знаешь, что все именно так, а не иначе?..

— Я хотел тебе сказать, Мария...

Она осторожно вложила сухой цветок обратно в книгу.

— Я хотел тебе сказать... Может быть, это не нужно, но... Я понимаю... Видишь ли, я хотел бы, чтобы ты никогда не забывала о том, что возле тебя есть человек, преданный тебе, который всегда, всегда сделает все, чтобы помочь тебе... Чтобы...

Она уд[illegible]ь как-то надменно и пренебрежительно.

— Оставь, пожалуйста.

Чем тут можно было помочь, как можно было изменить то, что случилось? Нет, помощи в быть не могло. Она была одна и так уж будет всегда. Что может понять доктор Воронцов, преданный друг, способный врач, милый, добрый человек? Ведь не он был молодой, влюбленной до безумия девушкой, а затем молодой, влюбленной до безумия женой. Ведь это не он строил совместную жизнь с любимым человеком, с верой, что это навсегда, на веки вечные. Это не ему светили звезды среди яблоневых ветвей и не для него цвели ландыши в мокрой от росы чаще.

— И ты не имеешь права, Мария... Не ты одна, помни, не ты одна. Сколько женщин теперь...

Она покачала головой. Что мог знать Воронцов? Сколько раз они с Григорием говорили друг другу, сколько раз счастливыми губами повторяли, что именно они, одни они. Нет, никогда не было, не могло быть [illegible]-нибудь, между парой других людей то, что было между ними. Другие женщины, другие мужчины — ну да, столько было женщин и столько мужчин, но вот их любовь была единственная и неповторимая.

— Чего ты, собственно, хочешь от меня? Что я такое делаю? Что я, хуже работаю? Нет, работаю, как работала. Живу, как жила. Так в чем, собственно, дело?

— Не лги, Мария, ты съедаешь себя, губишь, я ведь не слепой. Ты себя мучаешь, терзаешь...

— Ну и что?

— Нужно взять себя в руки.

Она рассмеялась неприятным смехом.

— А разве я не взяла себя в руки? В чем ты можешь меня упрекнуть? Что я с моста в реку бросаюсь или выхожу на площадь и вою, рву волосы, бью кулаками в стену? И зачем ты вмешиваешься в мою жизнь? Разреши мне жить, как я хочу, я, кажется, имею на это право. Почему тебя так интересует моя личность, мои дела?

Он опустил голову, переплетая и расплетая пальцы.

— Что у тебя нет более интересного дела, чем высиживать здесь? Ведь я даже не занимаю, так ведь принято говорить, не занимаю тебя разговором. Зачем это все?

— Есть одна причина, Мария, ты сама отлично знаешь, что причина есть,— сказал он глухо, не глядя на нее...

— Причина... Все это не так, доктор... Все это и не нужно, неправдиво и, наконец, наконец, скучно.

— Я надоедаю тебе. Я думал...

— Не знаю, что ты думал. [illegible] одно дело.

— Какое дело?

Она откинула голову на спинку кресла и прикрыла глаза.

— Так вот, есть одно дело, в котором ты [illegible] мог бы помочь. Так нет же, твердит все [illegible] ли, Мария, знаешь, ли, Мария...

— [illegible] так раздражаешься? Какое [illegible] Ты никогда не говорил мне.

— Не говорила,— улыбнулась она.— Да, правда, не говорила. Я должна поехать в Березовку.

— В Березовку?

— Ну да, не в Нью-Йорк же и не в Шанхай! В Березовку.

— Как это поехать?

— Обыкновенно. Как вообще ездят. Сесть в поезд и поехать.

Он помолчал минуту.

— Надолго, Мария?

— Нет, зачем же надолго. Просто я хочу поехать, посмотреть. Один раз посмотреть. Понимаешь, один раз посмотреть!

— Ты думаешь, тебе это поможет?

— Ничего я не думаю. Ах, откуда я могу знать. Вот ты говорил: всегда, если понадобится... Так вот, не смог бы ты без лишних разговоров как-нибудь устроить это. Мне пришлось бы говорить с директором... А я не хочу... Так вот, если бы ты...

Он минуту подумал.

— Это можно устроить. Мне нужно ехать инспектировать госпиталь, помнишь, в связи с этими донесениями, я говорил тебе. А это ведь следующая станция за Березовкой. Поедем...

— А это обязательно нужно — вместе с тобой? Я ведь хочу одна посмотреть. Совсем одна.

— Не волнуйся, Мария. Мы поедем вместе, ты выйдешь в Березовке, а на обратном пути я захвачу тебя. Мне достаточно одного дня, тебе, вероятно, тоже. Березовка, говорят, очень разрушена.

— Не знаю. Ничего не знаю. Я должна сама увидеть.

Она взглянула на часы.

— Ты собираешься еще куда-нибудь, Мария?

— Нет... Но ты, вероятно, уже уходишь.

— Разумеется, уйду. Ты сегодня не особенно мила со мной.

— Я вообще не мила. И не намерена быть милой. Я не вижу причин быть милой.

— Со мной.

— Ни с тобой, ни с кем-нибудь еще. И вообще...

— До свидания, Мария. Я думаю, что на будущей неделе удастся все устроить, раз тебе уж так хочется.

— Хочется. Мне давно хочется. Кажется, тут нет ничего особенного, посмотреть на Березовку.

— Конечно, ничего особенного. Только... Нужно ли это?

— Ох...

— Ну, хорошо, прости меня, Мария, будь здорова.

Она проводила его до прихожей и торопливо вернулась в комнату. Еще две-три минуты, и было бы поздно.

Теперь она включила радио. Сколько раз за время войны она включала радио и слушала, нет, жила тем, что говорил диктор.

— Наши войска, развивая наступление, заняли...

Названия местностей. Она закрыла глаза и слушала. Как недавно еще она воспринимала каждую сводку, как привет от Гриши, как весточку от Гриши. В каждой из местностей, о которых говорилось, мог быть Гриша. Это он занимал деревню и врывался в город, он обходил с фланга, он шел ускоренным маршем, он атаковал и истреблял врага, брал пленных, захватывал трофеи. Это Грише играли радостный марш, Грише слала свой привет столица Москва в грохоте орудий, в сиянии цветных ракет, в упоении и восторге, в счастьи победы...

Деревни, местечки, станции — еще и еще. Только теперь это уже не было приветом от Гриши, весточкой от него, его счастливым голосом, несущимся к ней сквозь неизмеримые просторы. Этого голоса уже не было, Гриша уже не шел в атаку, не вступал в города, не освобождал деревень, не двигался вперед в великом марше. Не он уничтожал неприятель-

ские танки, о которых шла речь в сводке, не он взял в плен этих немцев, которых сейчас перечисляли, не он взял орудия, о которых сейчас сообщал голос по радио...

— Березовка...

Нет, это не та Березовка. Их Березовка, счастливое место, где они впервые встретились, где они на веки веков полюбили друг друга, освобождена уже давно, уже несколько месяцев тому назад. Было много Березовок — других, неведомых. Но существовала только одна, где раздавался радостный голос Григория и звучали по дороге его быстрые шаги и вечером в саду слышалась его любимая песня: «Спят курганы темные...»

Она склонилась головой на сложенные руки и перестала слушать сводку. Там уже не говорилось о фронте. Где-то были фабрики, на которых работали, где-то были колхозы, в которых трудились, были люди, которым давали ордена, где-то далеко, далеко. Но здесь, в комнате, где забыли включить свет, был только Гришка и его песня о парне, о молодом парне, вышедшем в донецкую степь. Песня неслась, звучала гришкиным голосом, мягким веселым голосом Григория, единственным в мире. Она ясно слышала не только слова, но каждое повышение и понижение тона, каждый трепет мелодии. Голос лился из тьмы, вибрировал, наполнял собой мир. Как тогда, как раньше, когда она думала, что это песня как раз о Григории, о радостном молодом парне, который вышел в широкую донецкую степь на большие важные дела, на счастливую кипучую работу. И шумный ветер овевает его виски, радуясь его силе, веселью, молодости. Это о себе пел Григорий, о нем были и слова и мотив.

Напев звучал, разливался, наполнял собой мир. Гришкина песня, гришкина песня...

В соседней комнате зашлепали туфли. Дверь скрипнула.

— Что это ты сидишь в потемках? А тот уже ушел?

Яркий свет залил комнату. Мария заморгала глазами, ослепленная неожиданным светом. Гришкина песня умолкла, грубо прерванная. Голос в радио перечислял цифры и данные, относящиеся к какой-то шахте.

— Я прозевала сводку, думала, что он все еще сидит тут. Что было в сводке?

Мария пыталась вспомнить, но напрасно. Татьяна Петровна пожала плечами.

❊

Поезд остановился на маленькой станции. Мария вышла, забыв проститься с Воронцовым. Пока поезд не двинулся, он смотрел, как она бредет по грязной дороге, мимо развалин разрушенной до тла станции. Она показалась ему маленькой, покинутой, безнадежно одинокой на подернутом сырым туманом пустыре. Он бросился к дверям, но вагоны уже заскрипели, заскрежетали, и поезд двинулся.

Мария брела медленно, с трудом вытаскивая вязнущие ноги из липкой грязи в эту странную зиму без мороза. Клочья тумана стлались по обнаженным полям. С криком пролетела стая ворон и с криком опустилась на землю за низким сосновым леском. Мария повела глазами вокруг. Серый, безнадежный, серый мир. Дождя не было, но в воздухе стояла сырость и холодной росой оседала на лице.

Показались высокие сосны. Дорога свернула в сторону.

Теперь Мария увидела первое строение, маленький заводик. Его шум и грохот когда-то были отчетливо слышны в поселке. Пронзительный гудок будил население по утрам и оповещал об обеденном перерыве. Ей захотелось улыбнуться ему, как старому хорошему знакомому.

Но заводика не было. Среди сосен торчало что-то странное, напоминающее остов допотопного животного. Здание не рухнуло от снарядов — стальные прутья и железные крепления, крепкий скелет, облеченный бетоном и цементом, выдержали. Взрыв бомбы и удар воздушной волны смяли, исковеркали этажи и цехи, погнули крышу, измяли стены, словно заводское здание было детской игрушкой из папье-маше. Серый цвет стен еще подчеркивал сходство — фантастический мамонт, таинственный зверь, огромный и бесформенный, притаился в сосновом лесу.

Мария почувствовала, как сжалось сердце. Здесь, в этом здании, которое перестало быть зданием, начинал свою работу инженера Гришка. Здесь он бегал по этажам и бдительно следил за работой машин, за дыханием их мощных легких, за давлением в котлах, за стремительным бегом колес, за шелковистым шелестом приводных ремней.

Грязно-серые пласты снега лежали в обочинах дороги. Из них сочились струйки воды, подмывали их снизу, растопляли, разламывали на части. Капли воды дрожали на обнаженных кустах. Капли воды падали с сосновых ветвей в широко разлившиеся лужи, в отвратительную, раскисшую грязь.

Здесь когда-то было радостное лето и купались в золоте солнца сосновые ветви, и Гришка, идя ей навстречу, поднимал высокими сапогами пыль на ослепительно белой дороге.

Сосны редели. Они мельчали, переходили в низенький лесок, в отдельные косматые деревца, не заслоняющие горизонта.

Но на горизонте ничего не было видно. Серый, рваный туман, серое, мокрое небо, и время от времени тяжело перелетающие стаи ворон.

Вот сейчас будет школа, высокий белый дом с колоннами.

Но школы не было. Лежала только груда развалин, отдельные кирпичи, черные пятна пепелища.

В голову Марии пришла странная мысль, что она заблудилась. Сошла не на той станции, пошла не той дорогой, в совершенно незнакомый поселок, в котором никогда раньше не была и который уже перестал существовать.

Но это было не так. Правда, станция была сожжена до тла, но кто-то написал на доске знакомое название и прибил ее на обгоревшем столбике. Фабрика и лес остались почти такими же, как прежде. И эта груда развалин была когда-то школой, большой белой школой с греческим фасадом, с рядом высоких колонн. Над этой школой с ее греческими претензиями подшучивал Гриша, когда они проходили мимо, отправляясь на прогулку в лес.

Она уже открыла рот, чтобы сказать Грише,— что уже нет колонн и греческого портика, как вдруг ее, как обухом, ударила мысль, что Гриши с ней нет. Он не идет рядом, не видит того, что видит она. И что его уже вообще нет, он — «пал смертью храбрых». А она вот бредет по непролазной грязи, чтобы найти места своей прежней любви, еще раз взглянуть, убедиться, что было все это, было...

Здесь начинается улица. Но улицы нет. Небольшие груды пепла и углей. Торчит кирпичная труба, словно воздетая к небу окровавленная рука. От развалин тянет резким, тошнотворном запахом гари. По разбитым кирпичам течет вода.

По обе стороны грязной дороги такие же жалкие развалины. Ни одной стены, ни одного окна — трудно поверить, что когда-то здесь были дома. Скелеты железных заржавевших кроватей — вот единственный признак, что здесь когда-то жили люди.

Она шла, как во сне, силясь узнать знакомые, такие знакомые места, но все стерлось, распалось, превратилось в кладбище разбросанных кирпичей, в бесформенные пятна черных пепелищ. Безошибочная примета — верба на повороте, липа перед домиком железнодорожника, фруктовый сад возле клуба — все исчезло. Деревьев не было, словно их скосила беспощадная рука, для которой мощный ствол и развесистая крона значили не больше, чем хрупкий стебель, травинка.

Мария беспомощно огляделась. Где, собственно, она находится? Да, мостик тут, мостик уцелел. Три темные мокрые доски, переброшенные через ров. Перила лежали на земле, из разбитой вдребезги балки торчали сотни заноз. Она перешла через мостик и снова растерянно остановилась. Где-то здесь рядом, за несколько десятков шагов вправо, должен быть угольный домик знакомой многочисленной семьи, потом второй домик двух одиноких стариков, у них в саду стояли ульи, потом...

Но ничего этого не было. Ни угольного домика, ни улицы. Далеко по равнине простирались ряды пепелищ, все было плоское, ровное, словно здесь никогда ничего не росло.

Она стиснула руки и повернула назад. Еще раз прошла по мостику по тому направлению, где должен был быть тот дом, их дом. Липкая грязь приставала к ботинкам. Она еле тащила ноги, попадала в лужи, в ботинках хлюпала вода, чулки до колен промокли. Она вспотела, несмотря на холод и сырость. Волосы выбились из-под берета, неприятно липли ко лбу.

Теперь она побрела на ближайшее пепелище. Под ногами затрещали мокрые угли. Опять скелет железной кровати, опять дверца от печки, которая уже не существует. Как здесь узнать, как найти?

Но должно же само сердце подать знак, почувствовать. И она плелась от пепелища к пепелищу. Она спотыкалась, дыхание со стоном вырывалось из легких. Ведь это где-то здесь был этот маленький домик. Здесь она познакомилась с Гришей. Он стоял за забором, высокий, светловолосый, и спрашивал дорогу. Глуховатая бабка, хозяйка, старалась понять, чего от нее хотят. Она безуспешно приставляла руку к уху, сдвинула с него грязный бессменный платок. Гриша смеялся и весело кричал ей прямо в ухо.

Мария вышла по тропинке из чащи малинника, подошла к изгороди, объяснила ему дорогу. Она, как сейчас, помнит его большую загорелую руку на изгороди. С назойливой отчетливостью она видела теперь даже пальцы — на среднем белый шрам, бросающийся в глаза. Ей захотелось тогда спросить — неизвестно почему ею овладело глупое детское любопытство,— откуда этот шрам. Она даже покраснела, подумав, как бы это получилось. Он смотрел на нее веселыми глазами — да, у Гриши все было веселое — и улыбка, и глаза, и походка, и голос. Первое, что бросалось в нем в глаза, — кипящее, щедро переливающееся через край веселье.

Так это и началось — «с первого взгляда», как писали раньше в глупых романах. Но, видно, и в жизни так бывает. Они сами тому пример. Гриша сразу же забыл про дорогу, о которой расспрашивал, не потрудился даже пройти несколько шагов до калитки — одним прыжком перескочил изгородь.

Неужели от этой изгороди не осталось ни следа. Мокрыми, озябшими пальцами она раскапывала развалины. Острые осколки кирпича больно ранили ее руки. Не найдется ли хоть щепка, хоть дощечка, по которой сердце без-

ошибочно узнает ее. Дерево сохранило прикосновение загоревшей сильной руки. Пальцы найдут его, рука еще раз пожмет руку Григория, еще раз сольется с ней в пожатии.

Угли, разбитые кирпичи, подгоревшие лоскутья неизвестно чего, обломки среди которых ничего невозможно узнать. Немые и холодные.

Она еще раз вскочила в отчаянии, в приступе внезапной энергии. Да, малинник мог сгореть до тла. Но где-то должен быть сад, большие старые развесистые яблони. Где-то еще подымается над землей ствол, который поддерживал великолепную когда-то крону. Ночью они смотрели вверх, в ветвях цвели звезды, звезды золотыми яблоками висели над головой.

Приходит счастье и смотрит серыми глазами из-под черных бровей, а над головой цветут звезды, большие, золотые звезды в черной листве яблони, а где-то далеко поют песни, и слов нельзя разобрать, потому что в этот момент все кругом — песня и все — Гриша.

Она застонала. Яблони не было. Не было признака какого-нибудь ствола. Все выкорчевала страшная рука войны.

Теперь Мария стояла над маленькой речушкой, лениво текущей между островами снега. Значит, уже конец. Речушка — это граница поселка. За ней тянулись поля, перелески, пески. Она уже прошла всю улочку. Прошла ли? Неизвестно даже, была ли она из всех.

Мария опустилась на мокрые кирпичи. Она еще раз до глубины, до дна души постигла, что Гриша погиб. Что его уже нет. Словно здесь, в сожженном поселке, где они познакомились и полюбили друг друга, он умер вторично. Бесповоротно. Бесследно. Где же его могила, как разыскать ее на бесконечных путях войны, на беспредельных полях боев, на страшных плацдармах битв, если она не могла найти даже следов улицы, дома, сада, где солнечным летом родилась их любовь.

— Мария Павловна?

Она вскрикнула от неожиданности. Перед ней внезапно выросла человеческая фигура, пожилая женщина в платке, опирающаяся на палку, серая, словно помятая, как все, что оставалось здесь.

— Не узнаете меня? Да я же Головкина, молоко еще вам носила.

Было что-то знакомое в этом лице, в движении губ.

— Головкина?— неуверенно спросила Мария, будучи не в состоянии вызвать в памяти что-то неуловимое.

— Постарел человек,— сказала женщина и, сильнее опершись на палку, внимательно посмотрела на Марию.— Все мы постарели...

Теперь Мария узнала. На одно мгновение исчезли седые волосы и морщины на лице, из-за них показались круглые румяные щеки, блестящие черные волосы и белые зубы, открытые улыбкой. Но припомнившийся образ исчез, как стертая картинка, и осталась пожилая женщина с седыми волосами, выбивающимися из-под платка.

— Пришли посмотреть на старые места?

Мария бессознательным движением заломила руки.

— Я хотела... хотела увидеть...

— Вот так-то у нас,— Головкина развела руками, словно показывая свое царство.— Ничего не осталось, сожгли до тла. Так и живем.

Только теперь Мария заметила человеческое жилище неподалеку. Груда кирпичей, промазанных глиной, сверху набросаны ветки, куски фанеры, брезента. Это было похоже на неуклюжую берлогу, сооруженную животным. Но из заржавевшей погнутой железной трубы вился едва заметный дымок. В логове жили люди.

— Все пожгли вокруг, до последнего. Бегали с бидонами и обливали бензином. Каждый дом, сарай, хлевы. Мы как потом пришли, так я и не узнала, где раньше наш дом был. А Григорий Иванович где?

Мария собралась с силами. Вслушиваясь в собственный голос, как в чужой, незнакомый, она вымолвила эту истину, невероятную, невозможную и — все же истину:

— Григорий... погиб...

И бессознательно пояснила не своими словами, а словами официального извещения, прозвучавшими в ее собственных ушах искусственно и парадно:

— Пал смертью храбрых.

И сразу ей стало стыдно этих парадных слов, которые можно написать, которые можно прочесть, можно услышать от кого-нибудь чужого, но которыми не говорят о близком, о муже.

Головкина не удивилась,— ни форме, ни содержанию ее ответа. Она приняла это как самый естественный факт.

Правда, Григорий и не был для Головкиной счастьем, которое пришло в солнечный летний день. Раньше он был для нее одним из работающих на фабрике инженеров и потребителем молока от пегой коровы. А теперь был одним из миллионов тех, что «пали смертью храбрых».

Мария вдруг почувствовала себя невероятно одинокой и покинутой на развалинах поселка. Она пожалела, что встретила знакомую. Ей захотелось, чтобы та уже ушла, уползла в свою берлогу, не смотрела равнодушными глазами.

— Моего тоже нет. Ушел с нашими еще тогда, осенью. Вот не видать его что-то. А сыновей немцы повесили. Там на соснах возле завода.

Она сказала это просто, деловито, как будто о совершенно естественной вещи. И Мария ста-

мучительно стыдно, словно она совершила какую-то подлость.

— Да, да...

Она проследила глазами за взглядом женщины. Головкина смотрела на мокрую, серую равнину, на пропахший гарью пустырь, бесплодный пустырь, который был когда-то заводским поселком.

— Здесь был бой?

— Никакого здесь боя не было. Наши обошли их кругом, так они сами отсюда бежали.

Мария еще раз огляделась.

— Не было боя? Так зачем же?

— А кто их знает. Фрицы, фрицы и есть... Месяца два они тут квартировали во всех домах, народ повыгоняли, так что мы скитались и по лесу, и где попало. А когда уходили — сожгли. Бегали с факелами и — чтоб уже все аккуратно, по порядку... Не то что дома, забора даже ни одного не пропустили, ни одной дощечки.

— А деревья?— спросила Мария с внезапной странной надеждой. Вдруг окажется, что та яблоня уцелела, что она ее не заметила. Головкина показала рукой — и глаза вдруг увидят, что посреди стоит на пепелище, распростирает свои длинные, свисающие вниз ветви, отяжелевшие от любовного шепота и вздохов, ночи, на которых цвели звезды.

— Деревья-то они еще раньше вырубили. Печки топили... Яблоня так яблоня, груша так груша, им что... Да и так, просто со злости, видно... Кусты все вырубили, где только был какой. Помните, может, у нас сирень была, целый лесок. Так тоже вырубили до последней веточки, да так и бросили. Известно, фрицы...

Мария пошла обратно. Опять мостик—сколько раз они вместе проходили по этим трем качающимся доскам. Она жадно глядела на покрытое слоем грязи дерево, словно на нем еще можно было найти следы гришиных ног.

Но ведь после Григория здесь прошли сотни тяжелых немецких подкованных сапог и растоптали, стерли, уничтожили навсегда следы Григория.

Она задрожала от холода. Зубы стучали. Только теперь она почувствовала, что ноги у нее мокрые, что пальто отсырело, а лицо словно одеревенело. Медленно тащилась она по дороге к станции. «Как с похорон»,— подумалось ей. Она не была на похоронах Григория, да и как она могла быть на его похоронах. Он пал смертью храбрых, и неизвестно, где он лежит в земле. А может, его разорвало на клочки? Может, от него осталась только горсточка пепла, в которой тщетно доискиваться остатков человека?

Да, она похоронила его сейчас здесь, на месте их молодой, радостной любви. Большая у Гриши могила, неизвестно, где опуститься на колени и прильнуть губами к мокрой земле.

Она шла, устремив вперед невидящие глаза, вдоль грязной дороги. Здесь они ходили вместе — она выбегала к нему навстречу, не в силах дождаться его. Теперь они шли к дому, который уже был их общим домом. Неопрятная бабка Авдотья заваривала малиновый чай. Григорий подозрительно осматривал посуду, пока Мария не успокаивала:

— Не разглядывай, не разглядывай, я сама вымыла.

— Правда, сама?

— Ну, конечно, правда.

Бабка Авдотья, к счастью, была глуховата и не подозревала о гришиных сомнениях. Она стояла у печки, подперев ладонью щеку, и с удовольствием наблюдала, как пьют ее малиновый чай. Она любила угощать их подозрительным супом, сваренным в заржавленном чугунке, какими-то лепешками, и им приходилось всячески защищаться от этих угощений. Она качала головой по поводу их барских выдумок, когда они умывались утром и вечером, и, чтобы не дразнить дракона, как говорил Григорий, он сам носил воду из ближайшего колодца. И все же бабка Авдотья любила их обоих, а к Григорию чувствовала нечто вроде обожания.

— Григорий,— сказала громко Мария и остановилась, взглянув на серое, низко нависшее, безнадежное небо. То самое небо — лазурное, золотое, сияющее небо их любви. Неужели тогда в самом деле не было дождей? Она пыталась вспомнить и не могла. И вдруг в памяти всплыли кусты малины, отяжелевшие и блестящие от дождевых капель, зашелестел быстрый дождик в ветвях яблони. Да, и тогда были дождливые дни, и все же все помнится в золоте и лазури, в обильном цвету, в ласковом тепле, в безмерно щедром солнце, любовном, сияющем, озаряющем...

Хлюпала грязь под ногами. Вороны снова поднялись тяжелой стаей, как разорванные лоскутья, несомые ветром, промелькнули в воздухе и опустились на землю.

И вдруг, среди этой утомительной серости, среди сонных, надоедливых, удручающих выцветших красок, там, где небо походило на грязную дорогу, а дорога подымалась серым мокрым небом, в глаза бросилось красноватое зарево, словно луч солнца упал на низкие заросли.

Мария остановилась, а затем, не переводя дыхания, пошла в сторону от дороги, провалилась в канаву, скользя и падая в грязь. Она ухватилась руками за увядшую, мертвую траву, пока не выбралась на другой край, где узкой полоской росли кусты красной вербы, гибкие, стройные прутья, нежные веточки,

как туман, освещенный вечерней зарей. Радостной гришиной улыбкой, веселым гришиным взглядом расцветали красные веточки, струя вербы среди редкого сосняка. Мария вошла в мокрые заросли и шла с распростертыми руками. Устремленные вверх побеги пробегали под ее руками, ласкали их своим прикосновением. Небольшие выпуклости на ветвях — зародыши будущих почек — задерживали капли сырости и стояли, словно в утренней росе. Здесь, в зеленой вербной роще, среди шелеста мелких листочков, в волнующемся море светлой, юной зелени, они впервые поцеловались. Она шла вперед, мокрые ветки били ее по лицу, она шла как безумная, вдруг почувствовав, что нашла Григория. Она прижимала к себе гибкие побеги, шептала прерывистые слова, захлебывалась стонами, пока не упала на мокрую, раскисшую землю в страшном, сотрясающем все тело рыдании, в безнадежных слезах, в безграничной своей скорби, в несчастьи, валящемся на плечи, словно гора. Показалось, что стоит только крепко захотеть,— и она умрет здесь, в чаще красной вербы, которая когда-то покровительственно скрыла от прохожих чистый поцелуй, словно данный не губами, а самим сердцем в счастливый день любви, безвозвратно утерянный, разметанный военным вихрем, втоптанный в землю немецкими сапогами, разорванный в клочья немецким снарядом, пробитый насквозь немецкими пулями.

Она очнулась с ощущением грязи во рту. Смеркалось. Красные веточки погасли, их окутал сырой, туманный сумрак. Еще раз умирал Григорий, бесповоротно, навсегда, навек. Мария поднялась, с трудом переставляя застывшие ноги. Машинально она стала отчищать от грязи пальто, но глина пристала рыжими полосами к ворсистому материалу, руки были в грязи. Она поплелась к станции. Ей показалось, что канава превратилась в глубокий непроходимый овраг. Она снова поскользнулась и упала. Ей пришлось пролежать несколько минут, чтобы собраться с силами и встать, хотя, в сущности, сама не знала, зачем она это делает, и зачем снова идет той же дорогой. Мрак притаился под соснами, мрак окутывал обезображенный скелет завода, который в сгущающихся сумерках еще сильнее походил на допотопное животное.

Она шла с трудом, не глядя под ноги. Начал моросить пронизывающий дождь. Она ловила губами бьющие по лицу капли дождя и улыбалась их солоноватому вкусу. Из потрескавшихся губ сочилась кровь. Она взглянула на руки и увидела кровь на пораненных острыми осколками кирпича пальцах. Чья это кровь? Григория? Нет, не его, ведь не она перевязывала Гришу. И не только не она — никто не помогал ему, никто не спасал его, потому что спасения уже не было. Он умер не от ран, он «пал смертью храбрых», да, так было написано. Он погиб сразу на поле славы, за родину и за Сталина...

Но почему, когда об этом думаешь, в голову приходят знакомые слова, готовые формулы, сто раз читанные в газете. Видно, так оно и было, видно, в этих словах билось сердце, пульсировала живая кровь, а жизнь и силу этим словам давали все те, кто пал на поле славы за родину и за Сталина. Других слов не могло быть...

Она вдруг удивилась — о чем она думает, идя с похорон Гриши. Нет, это не она думала, это само думалось, будто помимо ее участия.

На станции к ней присматривались с удивлением. Поезд должен был притти через час, она уселась на единственной расшатанной скамейке и терпеливо ждала, глядя в одну точку на полу. Воронцов выскочил из поезда; она сразу его заметила, больше никто не слез. Она позволила ввести себя в вагон, не заметив его, полного ужаса, взгляда.

— Мария, ты же совершенно мокрая, у тебя руки в крови.

Она взглянула на свои руки. Потом на него. Оглянулась, не прислушивается ли кто-нибудь, но в вагоне был полумрак, и все дремали. Она наклонилась к нему и, словно доверяя тайну, прошептала на ухо:

— Знаешь, Григорий на самом деле погиб...

Он взял ее ледяную руку и крепко сжал ее, задержал в своей.

— Мария, Мария, неужели ты до сих пор...

Он не кончил. В его близоруких глазах она увидела страх.

Она покачала головой. Она не сошла с ума. Только до сегодняшнего дня она все еще не знала, как обстоит дело. Не то, чтобы она не верила, но смысл извещения не дошел до нее. И только теперь, в этом поселке, который уже не существовал, среди этих уцелевших верб она похоронила Григория, поняла, что означают слова, которые она раньше сто раз читала невидящими глазами: пал смертью храбрых.

Она неуверенно улыбалась, глядя в мрак за окном. Вагон грохотал и покачивался.

❄

— Тебе телеграмма,—сказала Татьяна Петровна.

— Телеграмма? От кого?

— Я и не посмотрела. Она лежит у тебя на столе.

Мария неторопливо снимала перчатки, пальто. Непременно запрос о здоровьи кого-нибудь из пациентов й, верно, как на зло, о ком-нибудь, кому очень плохо. Быть может, они — матери, жены, сестры — чувствуют на расстоянии сотен и тысяч километров, быть может, до них неизвестным путем доходит тревожный сигнал, весть о том, что тот, кого они

любят, уходит, что в борьбе со смертью он побежден.

Вот сама она ничего не чувствовала, не знала, пока не пришло извещение. Как же тут верить в предчувствия? Гриша был с нею, был постоянно, не покидал ее ни на миг; она чувствовала его присутствие, слышала его голос, видела улыбку. А между тем все это оказалось неправдой — его уже не было в живых в то время, когда она была совершенно уверена...

Она развернула телеграмму, пробежала глазами два ряда букв — узкие, неровно наклеенные полоски,— и не поняла. Прочла еще раз. По телу пробежал озноб, неудержимая дрожь.

— Хочешь чаю?— спросила мать из другой комнаты. Она не ответила. Она держала в руках телеграмму, невероятные слова, которые невозможно понять.

Стоптанные туфли Татьяны Петровны зашлепали в комнате.

— Чего ты такая? Что это за телеграмма?

Она взглянула на мать непонимающими глазами.

— От кого это опять?— ворчливо спросила старушка.

— Телеграмма... Телеграмма...

Она еще раз расправила смятую бумагу. И, запинаясь, ошибаясь, с паузами, прочла:

«Григорий Иванович раненый в нашем госпитале. Соня».

Старушка вырвала у нее из рук телеграмму. Еще раз шопотом прочла ее и залилась слезами.

— Жив, жив, жив...

Она торопливо побежала в другую комнату, не обращая внимания на дочь. Для нее воскресал Григорий, для нее он возвращался к жизни, сейчас это было ее и только ее дело. Было слышно, как она громко шепчет молитву. Ну, конечно, первое, что она сочла нужным, это упасть на колени перед иконой и молиться.

Мария еще раз прочла телеграмму. Соня с самого начала войны работала в далеком тыловом госпитале. Откуда же мог там взяться Гриша, ведь извещение пришло с фронта? Кроме подписи приятельницы, тут ничего невозможно было понять.

Она вынула из ящика извещение о смерти Гриши и внимательно разглядела. Это вне всякого сомнения извещение о смерти. Не из какого-нибудь госпиталя, а из части, где служил Гриша. Как же так? Там-то ведь лучше знают, чем Соня... При чем же тут Соня?

Она сжала руками виски, смертельно боясь повторить, даже подумать слова, которое сказала мать: жив. Потом окажется, обязательно должно оказаться, что это ошибка, какое-то нелепое недоразумение.

Татьяна Петровна вернулась в комнату. Лицо ее сияло. Она изумленно взглянула на дочь.

— Что это ты? Стоит столбом и хоть бы что. Ведь Гриша-то жив!

— Не знаю,— с трудом прошептала Мария.— Ничего я не знаю...

— А телеграмма, телеграмма-то!

На столе лежали рядом два клочка бумаги, две помятые бумажки. Извещение о смерти и извещение о жизни. Которой следовало верить? Которой можно было верить?

— Ничего я не понимаю,— сказала она глухо. Где-то в глубине сердца загоралась радость, внезапная искорка, готовая вспыхнуть ярким пламенем. Мария душила эту слабую искорку, не давала ей разгореться. Уж это было бы слишком жестоко, слишком ужасно — два раза потерять Григория; сердце болело, как рана, и боялось уже всего — и боли, и радости, потому что радость могла оказаться еще более мучительным страданием.

— Чего же тут понимать? Лежит в госпитале, ведь Соня...

— Да, да... Откуда же Соня могла узнать про Григория? — Вдруг в ее голове мелькнула какая-то мысль. Она проверила адрес. Нет, телеграмма адресована ей.

Она засуетилась по комнате, схватила перчатки.

— Куда ты собралась?

— Нужно, нужно... Посоветоваться, спросить...

— Опять Воронцова?

— Да, да, Воронцова...

Разумеется, с кем же еще посоветоваться. Должен же прочесть, сказать свое мнение, объяснить все это кто-нибудь нормальный... И как можно скорее, а то она сойдет с ума...

— И никуда ты не пойдешь. Вот сумасшедшая! Только что пришла с работы, вот — краше в гроб кладут — и опять бежать! Пойду попрошу дворника, его мальчонка сбегает, приведет тебе твоего Воронцова, раз уж ты без него жить не можешь! А ты садись!

Неожиданно для самой себя Мария послушалась. Может быть, потому, что силы отказались служить. Ноги вдруг стали слабыми, беспомощными, словно из них вынули все кости. Она опустилась на стул. Комната качалась, кружилась вокруг нее.

Она послушно пила чай, не чувствуя, что обжигает губы. На столе лежали две бумажки, и глаза не могли оторваться от них. В которой из них правда, которая из них решает судьбу?

Дата! Эта мысль внезапно ослепила ее. Дата извещения была известна. Она повторяла ее тысячи раз. Глубоким рвом, бездонной пропастью легла эта дата между прежней и теперешней ее жизнью, вздымалась высокой до неба стеной, между прежними днями и теперешней жизнью. Но телеграмма?

Цифры, цифры, цифры. Целая строчка. Что

они означают, как расшифровать их, как понять их смысл? Которое сегодня? Она пыталась вспомнить, но мысли мелькали, непослушные, разорванные, как гонимый ветром туман. Какой это день? И какой месяц? Какой год, наконец? Она с трудом вспомнила год. Ну да, конечно...

— Опять что-то там еще стараешься вычитать?

— Дату... Не могу найти.

— Покажи...

Татьяна Петровна нацепила на нос очки в железной оправе. Да, оправу так и не починили, дужка связана белой ниткой. Как это она всегда забывает. Дорогой в госпиталь вечно повторяет себе: очки очки... А потом, когда начинаются госпитальные заботы, это выпадает из памяти...

«О чем я думаю? — испугалась Мария. — Ведь Гриша...»

— Погоди, здесь что-то есть. Ага... Нет, не знаю... Понаставили цифр, вот и ломай себе голову... Да зачем тебе это? Телеграмма — и все, пусть даже запоздала, случается,— письмо и то раньше дойдет. Послала бы письмо, мы бы больше узнали. А так только известно, что жив.

Резко прозвучал звонок. Татьяна Петровна заторопилась открывать.

— Что случилось, Мария?

Воронцов запыхался, видимо, он бежал бегом всю дорогу, и теперь отирал платком пот со лба.

— Пришла телеграмма! Григорий жив! Ранен, в госпитале! — торопливо сообщила ему Татьяна Петровна, забывая в этот момент всю свою нелюбовь к молодому врачу.

— Григорий? Жив?

— Иди, иди скорей сюда... Телеграмма...

Не здороваясь, Мария протянула ему бумажку.

— Как же это, Мария?

Она ошиблась. Воронцов держал в руках извещение о смерти.

— Нет, не думай, что я сошла с ума. Это не то! Вот, вот...

Он внимательно читал телеграмму.

— Посмотри, посмотри, какая дата... Я ничего не понимаю...

Руки его слегка дрожали. Он несколько раз пробежал глазами текст.

— Мария, я хотел бы, чтобы ты поверила. Я счастлив, я так счастлив.

О чем он говорит? Какое ей дело до его чувств? Ей же нужно только одно.

— Дата, посмотри, какая дата? Я не могла разобраться.

— Успокойся, Мария. Мы все это выясним. Видишь ли, дата...

— Что? — прервала она его с колотящимся от страшного волнения сердцем.

— Дата более ранняя...

Мария окаменела. Голос Воронцова доносился до нее откуда-то издалека. Значит, все-таки...

— Но это ничего не значит... Ведь то извещение... А тут госпиталь... Видимо, произошла ошибка, дата тут не имеет значения, может быть, она совершенно не имеет значения...

— Я ей толкую, толкую, а она сидит, как помешанная. Конечно, где уж там старухе-матери знать... — раздраженно вмешалась Татьяна Петровна.

— Виктор... Я должна знать наверняка. Поймите же вы, что я должна знать...

— Да что тут такого? Садись и поезжай — только и всего! Ведь он же лежит раненый,— возмутилась мать.

— Нет, так сразу ехать нельзя,— возразил Воронцов.— Мы дадим телеграмму главному врачу. Узнаем, что и как.

— Да, да, чтобы уж наверняка...

Она стала первой суетиться.

— Да где же мой чемодан?..

— Зачем тебе чемодан, ты же пока не едешь... Господи, какой народ пошел, все не так, все шиворот-навыворот, ни тебе горевать как следует, ни тебе радоваться не умеют.

Она пожала плечами и тяжело двинулась в кухню. Слышно было, как она сердито переставляет кастрюли, что-то ворча про себя.

— Не знаю... Ничего я не знаю... Если бы я хоть могла поверить...

— Успокойся, Мария. Мы телеграфируем, через два-три дня будет ответ. Я дам телеграмму главному врачу. Это мой знакомый.

— А если...

— Не думай теперь об этом. Не мучай себя, сейчас еще ничего нельзя сказать... Хотя мне думается, что Коллова не ошиблась. Видимо, его нашли санитары другой части и перевезли в госпиталь. Это случается.

— Виктор, а если за это время...

Он не понял.

— Что?

— Нет, ничего, ничего...

Этого не следовало, нельзя было произносить. Но эта мысль все время навязчиво лезла в голову: Соня не ошиблась, Гриша действительно был в госпитале, не погиб. Но теперь он умер, умер раньше, чем была получена эта телеграмма, путешествовавшая бог знает какими путями. Умер не в день, упомянутый в извещении, а вчера, сегодня, лежит теперь мертвый в госпитале, умрет завтра, и все сразу опять окажется черной дырой, пропастью, беспредельной и безграничной

пустыней, по которой приходится итти, итти, без смысла и цели...

— Два-три дня терпения, и мы будем все знать,— говорил Воронцов, и Мария успокоилась. Она почувствовала вдруг доверие к его спокойным словам. В них звучала такая уверенность.

— А потом ты поедешь к нему или его привезут сюда. Увидим, как это лучше устроить. Независимо от телеграммы, я постараюсь еще позвонить в госпиталь. Это будет лучше всего. Я позвоню туда.

— Ох...

Она молитвенно сложила руки. Как это ей самой не пришло в голову? Телефон! Сообщение прилетит быстро, и все сразу выяснится! А вдруг, вдруг сам Григорий... Услышать его голос из далекого города. Гришин голос...

Воронцов ушел, Мария сидела, опершись подбородком на руки, не имея сил отвести глаз от бумажек, одна из которых возвещала смерть, а другая — жизнь.

*

Мир был красным туманом. Капитан Чернов блуждал в этом кровавом тумане, не сознавая, что происходит. Одно он знал твердо — надо затеряться. Надо затеряться в огромных просторах родины, вмешаться в толпу миллионов людей, раз навсегда перестать быть Григорием Черновым.

Колеса санитарного поезда однообразным, протяжным стуком говорили: да, да, да. Они подтверждали, поддакивали. Хорошо еще, что документы затерялись, видимо, они остались там, на равнине, возле оврага, где ему пришлось провести сутки среди убитых, до того, как заботливые руки вытащили его из трупного смрада и положили в сани. Хорошо, что тогда, когда он не мог говорить сам, за него ничего не сказали документы.

Запах больничной палаты и сладковатый тошнотворный запах хлороформа и острый блеск очков хирурга в момент, когда он падал в бездну забытья.

И снова гудение колес — и колеса говорили ему тогда что-то не совсем понятное, словно неоформленное предчувствие того, что должно прийти, а мир расплывался в его глазах. Но, наконец, все стало на свое место. Палата в госпитале и больничная койка, незнакомые, покрытые снегом горы за окном. Теперь капитан Чернов должен был сказать себе: на фронт я уже никогда не вернусь. У меня нет руки, раздроблена нога и что-то странное происходит с моим лицом.

— Что это такое у меня с лицом? — сурово спрашивал он молоденькую сестру, подававшую ему лекарство.

— Рана и ожог,— скоро все заживет,— сказала она беззаботно. Но он не мог успокоиться. Ему мешали бинты, из-под них он внимательно следил за выражением ее лица.

— Обыкновенная рана. Лежите спокойно, тогда скорей заживет.

Он чувствовал пронизывающую боль в правой половине лица. Но ведь такую же пронизывающую боль он чувствовал и в руке, которой не было. Он смотрел на белое, плоско лежащее одеяло. Там, где должна бы быть его рука, оно западает — там ничего нет. И все же больно. Руку мучительно дергало, она не давала уснуть ночью. Что же могла сказать сестра, как можно было верить сестре, если лгало собственное тело, если болела рука, которой не было.

Он ни о чем больше не расспрашивал ни сестру, ни врача, ждал случая.

Вот сестра, подойдя к дверям, украдкой посмотрелась в зеркальце. Все раненые знали, что сестра влюблена в доктора, а доктор сейчас должен притти. Но не в этом дело, важно то, что зеркальце исчезло в кармане белого халата.

— Сестра, пить хочется, дайте, пожалуйста, напиться. Нет, с той стороны, пожалуйста!

Заметит, непременно заметит. Попросить? нет, не даст, догадается, в чем дело.

— Повязка, повязка, вот здесь, сбоку...

Сестра наклонилась над койкой. Его пальцы быстро, осторожно скользнули в карман. Есть. Маленькое, круглое зеркальце, гладкое и прохладное. Оно не солжет, не обманет.

— Повязка вовсе не сдвинулась...

— Нет? А мне показалось...

Сестра ушла.

Теперь нужно только выбрать момент. И в тот же день случай представился. Ни сестры, ни врача. Сосед спал — он постоянно спал, просыпаясь только для еды и перевязок.

Маленькое круглое зеркальце было ужасающе откровенно. Это был глаз, вдавленный внутрь, изувеченный, словно чужой. Капитан Чернов смотрел серьезно, испытующе. Рана заживет, видимо, раздроблена скула. Останутся швы и шрамы. Но никто уже не сможет изменить того, что он видел в круглом зеркальце: отталкивающий, изувеченный глаз, оказавшийся словно не на своем месте. Этот глаз смотрел странно, с каким-то свирепым, чуждым выражением.

Григорий осторожно надвинул бинты на прежнее место. То, что до сих пор было туманно и неуловимо, стало ясным и отчетливым. Колеса поезда говорили правду, пол-

тверждая не ясное еще тогда решение. Так и должно быть. Так, а не иначе.

Потянулись длинные, бесконечные дни лечения. Капитан Чернов лежал терпеливо. Один глаз был цел. И отчетливо видел больничную палату, и врача, и нянь, и портреты на стенах.

Особенно один портрет. Капитан Чернов смотрел на этот портрет. Долго, долго. Он имел право смотреть на этот портрет, ведь он с первого дня войны на фронте. И когда невозможно было уснуть, когда слишком мучила несуществующая рука, когда на ней назревал нарыв, капитан в глубочайшем молчании разговаривал с человеком на портрете. Он же был одним из миллионов его солдат. Он, капитан Чернов, чувствовал в себе спокойную твердую верность, глубокую близость, прочную и вечную связь. Хорошо было смотреть в это лицо и без слов рапортовать ему.

Капитану казалось, что он уходит далеко от всего, что до сих пор пережил. Незначительными становились дни и даже фронтовые дни. Он стоял где-то высоко-высоко, лицом к лицу с портретом. И молчанием души рапортовал о своей несокрушимой верности.

Он мог смотреть так часами. Текла жизнь, где-то рядом стучали шаги по коридору, храпел сосед, кто-то тихо стонал в углу палаты, кто-то смеялся, издали доносился грохот сворачивающего за угол трамвая,— все это было несущественно, нереально. Реальной была необъятная даль, безграничная высота, полная тишина и этот разговор, о котором никто не знал. Нет, даже не разговор — говорил ведь только один капитан. И не словами. Это было что-то большее, чем слова, и не похожее на них.

И вот оттуда, из молчаливой, говорящей без слов тишины, его упорно и неотступно стаскивали вниз. Смена повязок, лекарства, измерение температуры — все это напоминало о действительности, явственно говорило о том, что есть на самом деле. Инвалид — стучали шаги в коридоре. Инвалид — храпел сосед. Инвалид — скрежетал по рельсам трамвай.

И капитан Чернов видел себя словно извне. С ужасающей ясностью видел он культяпку ампутированной руки, неуклюжую колоду только забинтованной ноги. И, прежде всего,— страшную маску изуродованного лица.

До сих пор все шло удачно. Капитана Чернова не было — он оставался далеко на туманной равнине, возле оврага. Теперь он уже лежит где-нибудь в братской могиле, засыпанной мокрой, сбившейся в комья землей. След уже сто раз успел затеряться — больницы, поезда — он уже далеко ушел по пути, на котором следовало затеряться раз навсегда.

— Где ваша семья? — спросила раз любопытная сестра. И капитан Чернов ясно и отчетливо ответил:

— У меня нет семьи.

Но исподтишка, предательски подкрадывалась тоска. По единственной на земле солнечной улыбке. По светлым, как лен, волосам, по ей одной свойственному наклону головы. Ах, пришла бы, склонилась над койкой, глянуть бы вблизи в ее не знающие измены глаза. Что-то тихо зашептали бы губы, которые он столько раз целовал. Его лба коснулись бы мягкие, заботливые руки.

«Не поддамся»,— говорил он тоске. Она легкими, неслышными шагами ходила вокруг больничной койки, и это были шаги Марии. Она шептала кроткие слова, и это был голос Марии. Всплывали воспоминания, в больничной палате воскресали все дни, начиная с того часа, когда он увидел ее в маленьком городишке, за забором, в чаще малинника, в голубом платочке на голове. Воспоминания разрастались буйной порослью, расцветали высокими цветами, неслись в песнях вольного ветра. Капитан Чернов боролся с собой, собирался с силами.

Счастливо, доверчиво когда-то начиналась молодая жизнь. Можно было в той жизни принести в дар любимой радостную силу, необузданное веселье, полыхающееся ввысь будущее. Теперь нет уже инженера Чернова, теперь есть инвалид на госпитальной койке.

Что может он теперь принести ей в дар? Связать ее навсегда со своей увечной жизнью? Навсегда омрачить ее прозрачные глаза, потушить улыбку, заглушить песенку, которую напевали доверчивые уста? Нет, пусть лучше будет так — он не вернется, и ей останется светлое и чистое воспоминание о том, кто любил и кто отдал жизнь за родину.

Тогда она сможет начать новую жизнь,— но как болело сердце при мысли, что розовые губы улыбнутся другому, что в другие глаза взглянут ее глаза, не знающие измены. Но так должно быть, да, так должно быть.

«Я не обману тебя, милая, не отравлю твоей молодости, светлая моя, не свяжу твоей жизни, не прикую тебя навеки к калеке»,— говорил капитан Чернов запекшимися от жара устами.

Этот жар был главным врагом. В его огне таяла воля, в его пламени ослабевало сердце. Перед глазами возникали манящие картины, казалось,— только руку протянуть, и все будет, как было. Незачем было бороться, незачем было отказываться — разве могли миновать, потерять краски и смысл слова, которые шли из сердца в сердце, слова-заклинания, слова-клятвы? Разве могли бесследно ис-

чезнуть эти два года неразлучной жизни, которые были, как песня, как счастье?

Что изменилось? Он-то жив, он все тот же человек, которого она любила, которому говорила о любви. Так что же изменилось? — предательски шептала тоска. Ведь и сейчас их двое, Мария и Григорий, как раньше, как прежде...

Лихорадка приводила ее, воплощала в любимый образ поздний зимний рассвет, ранние зимние сумерки. То не блеск лампы, это сияют светлые волосы Марии. Это не сестра говорит — это голос Марии..

И капитан Чернов позволял себе мечтать. «Это от лихорадки», — оправдывался он перед самим собой и уходил в мир, который был миром Марии, ее улыбкой, ее голосом, ароматом ее светлых волос. Посылают телеграмму, и вот приезжает Мария. О нем заботится уже не чужой человек, а Мария. Она тут, улыбается. Осторожно, не причиняя боли, меняет повязки. И не нужно просить, она сама знает, когда ему хочется пить, когда подать воду. А это так просто — дать телеграмму...

Он диктует сестре текст телеграммы, адрес. «Лежу раненый госпитале, приезжай»,— и больше ничего не нужно. Она немедленно явится, своей сияющей улыбкой разгонит кошмары, мучавшие его в ту ночь, на поле боя. Изменится расцветка дней и их мелодия.

«Это от лихорадки, это только от лихорадки»,— оправдывается Григорий, и вечером, когда температура поднималась, радостно погружался в этот [illegible] грез. Как вор, он ускользал от высоких стен, от железных решеток, возведенных его собственной волей, выкованных его собственным решением, в розовый сад грез, в счастливую долину любви.

Но потом температура падала, и начиналось раскаяние. Где же сила воли, где несокрушимое упорство? И тем не менее мечта возвращалась, назойливая, непреодолимая. Пока не наступил один день.

В перевязочной появилась новая сестра. Маленькая, почти дитя. Видимо, она лишь начинала работать.

— Снимите бинты,— сказал врач, и ловкие руки стали быстро сматывать бинты с головы Григория.

Он смотрел на нее снизу вверх. Круглое наивное лицо. Сосредоточенно, с забавной серьезностью она выполняла свою работу. У нее еще не было навыка,— она заменяла его напряженным вниманием, ясно отражавшимся в ее лице.

Бинты сняты. И тогда Григорий увидел на юном личике страх и отвращение. На один миг. Потом круглые щеки покрылись краской стыда, так что на глазах даже слезы выступили. Все это продолжалось какую-то долю секунды,— и все же Григорий заметил.

Лежа потом на койке, он мрачно усмехался злой, презрительной усмешкой. Вот что он хотел предложить Марии — изуродованное лицо. Лицо, вызывающее ужас и отвращение. Чтобы она принуждена была смотреть на него и вспоминать, сколько раз прежде говорила: я люблю твои глаза, больше всего я люблю твои глаза.

Теперь уже и в жару капитан Чернов не убегал за высокую стену и железные решетки. Розовый сад мог себе цвести, но он не разрешал себе заглянуть туда даже через приоткрытую калитку.

❋

И вот теперь новый госпиталь. Еще одна остановка, еще дополнительное количество километров, которые отделят его от части, от поля боя, от Марии. Еще один шаг в гущу людей, в глубь родной земли.

Однажды утром капитан Чернов услышал в коридоре знакомый голос. Он вздрогнул. Чей же это голос? Низкий, грудной. Да, он, несомненно, слышал где-то этот голос.

— Кто это?

Сидящий на койке сосед не понял его.

— Ну там, в коридоре!

— Ах это? Это наша сестра, Сонечка Козлова.

Им овладело неудержимое желание бежать. Встать с койки, незаметно выйти, выскользнуть из здания госпиталя и пойти, куда глаза глядят, все дальше, и дальше, пока не останется никого, кто бы мог узнать его. В необъятную тайгу, шумящую ворожбой старых деревьев, где по неделям не встретишь человека. Уйти как можно дальше от Марии, оставить между Марией и собой тысячи километров, безмерное пространство, противопоставить его собственной слабости, которая может подкрасться, тоске, которая может победить.

Но он не может встать и уйти. Ведь он инвалид, без руки, с хромой ногой, беспомощный, нуждающийся в посторонней помощи, в поддержке чужого плеча, в заботе чужих рук, в опоре.

И вдруг до его сознания доходит: и дурак же ты, дурак, как же узнает тебя Соня Козлова? Ведь ты теперь — запомни это раз навсегда, раз навсегда к этому привыкни — ведь ты теперь не инженер Чернов, которого она знала. Ты обломок человека, бессильно лежащий на больничной койке, с лицом, обмотанным толстым слоем бинтов. Нет, она не может его узнать.

И все же его сердце забилось сильнее, когда отворилась дверь. Это она — Соня Козлова, Соня не изменилась с тех пор, как он видел ее в последний раз. Она словно пришла от Ма-

рии, словно сохранила еще в складках медицинского халата ее запах, а в глазах отражение ее образа. Приятельница Марии... Она пробыла с Марией дольше, чем Григорий. Она, конечно, знала, что теперь с ней. Спросить бы хоть, здорова ли она. Сколько же это месяцев он ничего не знает о ней? Григорий вдруг удивился, как это ему не пришло до сих пор в голову, что с Марией могло что-нибудь случиться, что она могла заболеть. Он видел ее всегда сияющей здоровьем и силой, радостной и неутомимой. А ведь могло быть и иначе. Ведь теперь война и всем нелегко.

Вот она идет между койками. Окликнуть только, хотя бы совсем тихо — «Соня»,— и она торопливо обернется. Можно будет узнать, все расспросить.

Он закусил губу и внимательно всматривался в девушку. Не следует глядеть так напряженно. Человек чувствует взгляд другого. Она обратит внимание на раненого, который так всматривается в нее. Это заставит ее задуматься. А вдруг в нем еще осталось что-то от прежнего Чернова, заметное для внимательных женских глаз.

Он пересилил себя и отвел глаза. Но все время видел ее. Идет, приближается. Он не мог не смотреть, не мог не следить за ней взглядом. Она была приветом от Марии, лаской ее руки, присланной издалека улыбкой ее губ. И вдруг у него блеснула безумная мысль,— а может, ее действительно прислала Мария? Как-нибудь узнала, разыскала его в путанице госпитальных списков и послала вперед Соню,— а сейчас и сама войдет?

Какая дичь! Просто Соня работает здесь, это же ясно. На то она и сестра, чтобы работать в госпитале.

Девушка подошла к нему и поставила на столик лекарство.

— Как вы себя чувствуете с дороги?

Голос! Голос остался неизменным. Все пропало. Напрасно была длительная борьба с собой, мучительные ночи, безумие отчаяния перед напором мечты.

— Ничего, хорошо,— сказал он с трудом и сам не узнал собственного голоса, хотя в этот момент не в силах был сознательно изменить его. Сестра пошла дальше. Он облегченно вздохнул, но в то же время почувствовал непонятную грусть, словно утратил что-то, словно что-то навсегда исчезло.

Она ходила по палате, раздавала лекарства. Еще три кровати, еще две, еще одна — и конец. Она вышла, ступая тихо, словно боясь разбудить кого-то.

Теперь он каждый раз ожидал ее. Она соединяла, связывала его с Марией, несла в себе воспоминание о ней. Быть может, она ее недавно видела, быть может, в кармане ее халата лежит письмо от Марии. Григорий стал считать дни по дежурствам Сони Козловой и дежурствам других сестер. Дни Сони Козловой имели другой цвет. В них было беспокойство, дразнящее обаяние. Всякий раз, как она подходила, у него замирало сердце. Правда, она нисколько не походила на Марию. Худенькая, некрасивая шатенка. Единственное, что было в ней красивого,— это кроткие карие глаза. Глаза, которые видели Марию. И все же у них обеих было что-то общее. Быть может, легкие шаги и та заботливая осторожность в движениях, которая появлялась у Марии при соприкосновении с больным.

Она ничего не замечала, ничего не подозревала. Через несколько дней он совершенно успокоился. Не узнает, не может узнать. От прежнего человека в нем уже ничего не осталось. Он теперь совсем другой, и если бы даже Мария...

Что за дикая и смешная мысль, будто Мария могла не узнать его. Но Соня ведь была только знакомая. Как же ей могло притти в голову, что этот забинтованный с ног до головы раненый,— человек, которого она знала, веселый инженер Чернов, капитан Чернов, который остался на поле боя в зимний, пронизанный сыростью день?

И как раз сегодня сестра, подавая ему лекарство, вдруг спросила:

— До войны вы были инженером?

Он замер, похолодел с головы до ног.— Только бы не вздрогнуть. Не смутиться. Глядя в потолок, он ответил безразличным тоном:

— Инженером? Почему? Нет... Я в армии...

Она не настаивала. Что же это было? Случайность? Догадка? Он не смотрел на нее, пока она не отошла от его койки. Притворился, что не видит ее, когда она появлялась в палате. Но исподтишка следил за ней, провожал ее подозрительным и испытующим взглядом, наблюдал за каждым ее движением.

Раненые писали письма. Она остановилась у койки Чернова.

— Может, хотите написать письмо?

Он удивился.

— Письмо? Нет, не нужно. Кому же мне писать?

— Быть может, кто-нибудь ожидает вашего письма,—сказала она ровным, спокойным голосом.

Что это было? Следствие? Ловушка? Требование?

— Никто от меня писем не ждет,— бросил он резко.

— Этого никогда нельзя знать, никогда нельзя знать,— сказала она многозначительно.

— Не мешайте мне, пожалуйста, я устал,— буркнул он невежливо.

Она улыбнулась и ушла.

В течение двух следующих дней все было, как обычно. Он пристально наблюдал за ней, ждал и притворялся спящим, когда она приближалась. Внутренне настороженный, он знал, что будет дальше.

Она подает ему лекарство в ложечке,— сначала он хотел взять сам, но рука дрогнула, лекарство пролилось на одеяло, и теперь она вливает его ему в рот. Вливает и говорит обычным, спокойным голосом, в котором, однако, как будто таится тень усмешки:

— Выпейте, Андрей Григорьевич...

Это его новое имя. Почему же Козлова произносит его с такой интонацией, словно хочет подчеркнуть...

Лекарство горькое, неприятное. Григорий громко глотает его. Как на зло всегда, когда хочешь тихо, горло сжимается и получается глупо.

Соня внимательно смотрит. Вблизи смотрит ему в лицо. Григорий подтягивает одеяло и закрывается им до самого носа. Сестра тихо отходит. Из-за края одеяла за ней следит испытующий взгляд.

Нет, это ему только показалось. Он вообразил, что его могут узнать. Каким образом? Конечно, на голос она должна была обратить внимание сразу, в первый же день. Потом впечатление сходства стирается. А она тогда ничего не заметила.

«Не происходит ли только все это вследствие того, что я хотя и страшно боюсь быть узнанным, но в то же время не совсем честен с собой, в то же время мне страшно хочется кому-нибудь увериться, что я все тот же, каким и был?»—спрашивал себя раненый в мучительные часы размышлений.

Вечер. Свет еще не зажжен. Мрак выползает из углов. Кто это сегодня дежурит? Ну, конечно, сейчас должна появиться Соня.

И вот она снова проходит между койками, худощавая, темноволосая. Походкой, похожей на походку Марии. Особая походка — тихая, осторожная. Так ходила Мария, пока она находилась в пределах больничного здания,— он сразу заметил это, когда в первый раз зашел за ней на работу.

Соня уже здесь. Стоит рядом и подает термометр.

И совсем тихо:

— Нужно известить Марию, Гриша.

Койка вдруг заколебалась под ним, словно на пароходе. Он с трудом вобрал в легкие воздух. Теперь нужно что-то сделать, иначе все пропало.

— Что, сестра? Вы что-то сказали?

— Ты отлично слышал, Гриша, не притворяйся, пожалуйста.

— Но меня зовут вовсе не Григорий, сестра, вы же знаете.

— Ну, конечно, Андрей Георгиевич Коробин,— говорит Соня насмешливо. Потом близко-близко наклоняется к нему.— Нельзя так, Григорий. Нехорошо.

— Отстаньте от меня, сестра. С ума вы сошли, что ли?

Соня пожимает плечами и уходит. Но Григорий понимает, что все пропало. Она не дала обмануть себя. Она **все знает**, как будто разговаривала с ним в долгие, бессонные ночи.

Значит, еще мало было ему мучений, и теперь, когда самое худшее уже преодолено, все уже осталось позади, является вот такая Соня Козлова и одним словом зачеркивает все муки и усилия, и своим хрупким кулачком колотит в тщательно воздвигнутую стену, и ломает целыми неделями страданий выкованную железную решетку.

В сущности, глупо отпираться теперь, ведь она не подозревает, а знает. Может, просто поговорить с ней, рассказать все, как товарищу, заклинать ее, умолять о молчании, о том, чтобы она помогла ему и дальше оставаться Коробиным.

Но захочет ли она, согласится ли? Женщины обладают странным упрямством и всегда хотят быть умнее. Да и поймет ли она его? И как тут говорить со знакомым, ю в конце концов только знакомым человеком о самых тайных своих помыслах и чувствах?

И снова ее дежурство. Григорий сердит и раздражен. Соня говорит спокойно:

— Раньше я очень уважала тебя, Григорий, но теперь вижу, что не стоило. Мелкий ты человек.

*

Воронцов большими шагами ходил по кабинету, ожидая телефонного звонка. Лампа под зеленым абажуром слабо освещала комнату.

Значит так, Григорий, вероятнее всего жив,— следовало бы радоваться, следовало бы чувствовать глубокую, искреннюю радость и за Григория, и за Марию. Так принял бы это всякий порядочный человек. Но он не мог найти в себе этой радости. Она появилась на секунду, когда он услышал неожиданное известие, а потом исчезла, и напрасно он призывал ее обратно, напрасно пытался разжечь ее в себе.

— Я подлец,— повторял он сквозь стиснутые зубы, но это не помогало.— Опять я тебя теряю,— сказал он громко, так что сам испугался и оглянулся через плечо. Но дверь была заперта, в этот час здесь никого не могло быть.

Да, напрасно, он пытался думать о чем-нибудь другом,—думалось только об одном—придется снова потерять Марию. Вот уже второй раз в жизни между ними становится Григорий, и она пойдет за Григорием. Снова открылись старые раны, казалось уже подсохшие и

безболезненные, и снова начали сочиться живой кровью. Мария, слушательница медицинских курсов, светловолосая Мария, которую он сразу заметил с первого же дня, и немного прошло этих дней, как он принужден был сказать себе, что влюблен. Нет, тогда она ничего не заметила — дистанция, которая была между лектором и слушательницами, казалась ей полной гарантией того, что с его стороны не может возникнуть чувства к ней. Ах, как ему трудно было с нею, с ее прозрачными глазами, которые внимательно смотрели ему в глаза, не видя мужчины, а лишь врача-специалиста, с ее всегда присутствующим вниманием, с ее забавной детской страстностью. А потом она уехала в Березовку на свою первую работу. Сколько раз он собирался тогда поехать, признаться ей. Он написал короткое письмо. Она ответила. Но тщетно он искал в письме, чего-нибудь, кроме обычного дружеского участия. Он написал еще несколько раз, просто так, ни к чему не обязывающие письма и получал ни к чему не обязывающие ответы.

Потом появился Григорий, и все пропало. Он знал Григория раньше, встречался с ним — и могло ли притти ему в голову, что этот светловолосый инженер станет ему поперек пути, что именно ему достанется улыбка, которой ему, Воронцову, ни разу не удалось получить, и любовные слова, и любовь Мария. Почему именно Григорий, а не он?

Дружба — ох, эта дружба, и подлинная, и искренняя, и вместе с тем какая-то ненастоящая,— когда они приехали уже как супружеская пара и он стал бывать у них. Вот тогда-то у Марии и появился этот слегка пренебрежительный тон. Пренебрежительный? А быть может, только материнский. И острая боль первых дней превратилась в болезненную, медленно угасающую грусть, в привычку, похожую на привычку к шраму.

Потом Григорий пошел на фронт, и отношение Марии к Воронцову изменилось. Он стал ей нужен, перестал быть для нее плюшевым мишкой. Теперь уже он мог позволить себе с Марией покровительственный тон, и она не протестовала. Он был ей нужен как друг, как близкий человек. Она слишком болезненно ощущала одиночество.

Какое это имело в конце концов значение, — о девять десятых их разговоров относились к Григорию. Что Мария, с жадностью скупца, собирала все сведения о Григории того периода, когда она сама его еще не знала. Для нее все было одинаково ценно. И что он сказал, и как улыбнулся, когда и по какому вопросу выступал на собрании. Воронцов старательно рылся в памяти — она требовала подробностей, хотела, чтобы в ее воспоминаниях о муже он был не только слушателем, но и активным участником ее воспоминаний. Казалось, она ревнует Григория ко всем тем дням, которые он прожил без нее, в которые она его не видела, не знала. И даже к Воронцову — потому что он первый, еще до нее, узнал Гришу.

Близость между ними росла. Воронцов не обманывал себя — он не существовал для нее как мужчина. Для нее целый мир был в Григории, и Григорий был для нее целым миром. Все, что она переживала, она переживала как будто через Григория, для Григория. Война, ее работа в госпитале, все было связано с ним, проникнуто его личностью. Но и то уже было почти счастьем — смотреть на нее, быть ее другом.

Где-то на самом дне сердца таилась бессознательная надежда, что это изменится, что он станет ей самым близким человеком. Как это случится? Об этом он не думал. Даже в самые тяжелые, в самые мучительные ночи у него не мелькала мысль о смерти Григория. Но Григорий был далеко, и казалось, что так будет всегда. И — необходимым человеком, человеком, без которого нельзя обойтись, станет не Григорий, а он.

А теперь все кончилось. Он сжимал кулаки от презрения и отвращения к самому себе. Если бы хоть все было иначе, если бы дело касалось какого-то там инженера, который погиб в нормальное время... Но ведь это был капитан Чернов, который в первый же день войны отправился на фронт, который заслужил два ордена за храбрость, солдат родины, боровшийся за ее свободу и независимость... А тут...

— Подлец, подлец, подлец.— твердил Воронцов сквозь стиснутые зубы, словно давая себе пощечины этим словом. Но тут снова подступала боль. «Вот я и теряю тебя, вот я тебя снова теряю, — стонало сердце. — Радость жизни, ее обаяние и радость, ее солнечную красоту».

Протяжно, пронзительно затрещал телефонный звонок.

— Алло!

В трубке звенело, трещало. Слышались отрывки какого-то разговора, торопливые, перебивающие друг друга голоса.

— Алло, алло, алло!

В трубке затрещало и утихло.

— Воронцов, говорит Воронцов, это ты, Саша?

Измененный, искаженный голос с другого конца пытался перекричать шум на линии.

— Виктор? Да, это я. В чем дело?

— Саша, слушай, Саша! Алло, алло, ладa, мы разговариваем! Саша, у тебя в госпитале лежит капитан Чернов?

— Как, как?

— Чернов, Чернов! Челябинск, Евгения, Роман, Наталья, Ольга, Виктор!

— Чернов?

— Да, да.

— Подожди, сейчас проверю. Подожди, я по другому телефону.

Воронцов терпеливо ждал. Издали, словно из пропасти, доносились отрывочные слова. Где-то на линии ссорились телефонистки. Где-то упрямо стучал аппарат Морзе.

— Чернов?

— Да, да.

— Инициалы?

— Г. И. Григорий Иванович.

— Нет. У нас есть Чернышев, Чернин Черников — и это все. Воронцов отчаянно закричал в трубку.

— Нет, нет, не может быть! Не может быть! Два месяца тому назад был! Два месяца тому назад?

— Подожди, проверю.

Снова что-то зашумело, затрещало, забулькало. Воронцов дул в трубку. Он боялся, что не расслышит ответа.

— У нас вообще никогда такого не было, по крайней мере в этом году не было.

— Но ведь телеграмма пришла, телеграмма! Должен быть такой?

— Вы разговариваете?

— Не мешайте! Разговариваем, разговариваем! Телеграмма пришла, телеграмма!

— Я сам телеграфировал?

— Нет, нет, сестра Соня Козлова, Козлова!

— Козлова? Есть у нас такая.

— Спроси, спроси Козлову.

Опять шум в проводах. И, наконец, издали пробился сквозь хаос звуков еле слышный голос:

— Ее сегодня нет, сегодня у нее выходной день.

Воронцов опустил трубку на рычажок. Лишь позднее он сообразил, что даже не поблагодарил, а главное, не договорился, ничего не выяснил.

Коротко, резко прозвучал звонок.

— Разговор закончен?

— Закончен, закончен,— сказал он устало.

Он был смертельно утомлен. Что он скажет Марии, когда она завтра спросит его?

Скажу, что не добился соединения, — решил он.

❄

— Почему ты не ложишься спать?

Мария со вздохом встала и погасила лампу. Странный человек эта мать. Сначала ругала за бесчувственность, а теперь требует, чтобы она спала, спала в эту ночь, когда все решается...

Она на цыпочках подошла к окну и приподняла плотно закрывающую его бумагу. Она задыхалась в маленькой комнате. Ей хотелось выйти наружу, вдохнуть прохладный воздух, почувствовать на лице дуновение ветра, удары его мокрых крыльев. Но уже поздно—нечего болтаться по дождю. К тому же каждую минуту может появиться Воронцов. Нужно бодрствовать и ждать.

За окном постепенно проступили туманные, едва различимые контуры. Там тоже взымались стены и потолок нависших темных туч, сковывающих землю. Мир был сжат, замер в ожидании. И молчал.

— Почему я не радуюсь? — спрашивала она самое себя. Можно ведь порадоваться, хоть минуту, хоть несколько часов, независимо от того, что окажется потом. Но изнутри словно раздавался суровый запрет, сковывающий сердце. Ей подумалось, неужели так будет всегда? Неужели она никогда не почувствует настоящей радости и настоящей скорби? Все стерлось, перепуталось, чувства были туманны и неопределенны, как рассеянные ветром тучи. Нет, неправда это, будто несчастье облагораживает человека. Несчастье опустошало, ожесточало, несчастье рождало в сердце враждебность к людям, гнев и эгоизм. Когда она была счастлива,— ах, ведь это же правда, а не сказка, не легенда, что когда-то она была глубоко, радостно счастлива. Это счастье переливалось через край, и тогда у нее для всякого была радостная улыбка и добрый совет, и в сердце нетерпеливое желание, чтобы все были счастливы.

А потом пришло известие, что погиб Григорий. Несчастье облагораживает... Нет, нет, это сказки для благовоспитанных детей, фальшивые, приторные и лживые. Ведь вот же она стала злая, опустошалась ее душа, и в ней горьким урожаем всходили сорные травы, приносящие ядовитые плоды.

И вот теперь пришло известие... Верное? Ложное? Это еще видно будет. Но каким бы оно ни оказалось, она не умела воспринять его так, как следовало бы. Она уже не была прежней, простой и обычной Марией. Несчастье скрутило ее, что-то в ней навсегда сломало.

Несчастье? Но ведь если Соня не ошиблась, если телеграмма не была подложной и спор, тогда окажется, что не было никакого несчастья, а просто недоразумение, которое теперь выясняется.

Телеграмма — она ощупью подошла к столу отыскать бумажку. Она была тут. Обе. Та, что возвещала смерть, и та, что говорила о жизни.

Ей показалось, что в прихожей раздался звонок. У нее прервалось дыхание, но уже в следующий момент она поняла, что ошиблась. Никто не звонил, звенело у нее в ушах. Сколько времени прошло с тех пор, как ушел

Воронцов? Может быть, он уже что-нибудь узнал? Но что — хорошее или дурное? Если дурное... то он сидит теперь, наверное, и думает, как сказать об этом? Как известить, что обманчивый сон рассеялся, что нужно вернуться в мрак и пустоту, в тот холодный, темный мир, где нет Григория. Он будет откладывать, искать отговорок.

Как невыносимо тянется время! Сколько уже прошло — минут или часов? Посмотреть? Но тогда надо пойти в комнату матери, она проснется и опять начнет ворчать. Делать нечего, придется терпеливо ждать.

Впрочем, может быть и так, что этой ночью он вовсе не добьется разговора. Мало ли людей поважнее ее и по вопросам куда серьезнее, чем ее дела, разговаривает в эту ночь с далеким городом, где работает теперь Сотня, —где, может быть, находится Григорий? Вопросы о танках, самолетах, орудиях, все то, от чего зависит жизнь миллионов. А тут ведь только одно отчаявшееся сердце... одна человеческая жизнь, которая — неизвестно еще— горит ли больным огнем, или уже погасла.

Глаза привыкли к темноте, из мрака проступили очертания мебели, предметов. На столике фотография Гриши. Она встала на колени на стуле и взяла ее в руки. Ничего, что темно. Она знала наизусть каждую линию, каждое пятнышко, тени, форму лба, изгиб ресниц, чудесную радость глаз, крылатые брови, откинутые назад волосы, дерзкое, веселое гришино лицо. Она вскочила и бросилась в переднюю. Но это снова галлюцинация — никто не звонил. В передней стояла мертвая тишина.

Мария снова подошла к окну. Ночной мрак молчал, ему не было дела до человеческой муки, до человеческого ожидания. В большом доме справа выделялись черные прямоугольники окон. Люди спали глубоким сном. Только в верхнем этаже темная бумага сдвинулась, внутри горел свет, узкой полоской пробивающийся возле самой рамы. Кто бодрствовал там, за окном, в длинную темную ночь? Кто не может заснуть, кто сидит у постели больного? Кто это, кто мучится так же, как она?

За дверью спала мать. Глубоким, крепким сном, как обычно. Словно ее и нет — Марии. Одиночество было непреодолимое, полное, безнадежное. Никому на свете не было дела до того, что с ней происходит. И Воронцов не идет, все еще не идет...

Правда, Воронцов тоже бодрствует. Пытается добиться для нее уверенности. Сидит в своем кабинете и волнуется. За нее и за себя.

Еще одно доказательство, что она теперь другая. Думает только о себе, о себе, о себе. Несчастье не облагораживает, а портит, сушит, опустошает человека.

Она провела ладонью по глазам. Глаза резало, жгло. В комнате становилось все светлее. Выступили очертания зеркала, заблестела его зеленоватая поверхность. С фотографии, еще неясно, но уже видимо взглянули глаза Гриши. Сухие веточки в вазе на столе — их уже давно пора было выбросить. Раньше она никогда бы этого не допустила, теперь как-то не замечала их. Разве ее собственная жизнь не была сухой веткой, отломленной от зеленого дерева счастья?

Бледный, мокрый, больной рассвет вставал за окном. Скоро надо итти на работу. А Воронцова все не видно. Верно, уже пошел домой спать. Ночь прошла, прошла напрасно, и утром все будет так же, как было вечером.

Снова начинался сырой, раскисший зимний день без снега и мороза, день мрачной, печальной зимы без Гриши. И казалось, что это утро тоже ничего не принесет с собой — так оно было похоже на все другие утра, которые давали одно и то же — сознание, что Гриши нет. Что его уже никогда не будет.

В соседней комнате заскрипела кровать. Татьяна Петровна громко зевала, слышно было, как трещат суставы. Зашлепали шаги. Она заглянула в комнату, прикрывая худые плечи шерстяным платком.

—Ты уже встала? Рано еще.

— Мне сегодня надо пораньше быть в госпитале,— сказала Мария, приглаживая рукой волосы. Да матери и в голову не придет, что она могла и вовсе не ложиться.

В кухне полилась вода. Татьяна Петровна ставила чайник. Мария взглянула в зеркало на свое утомленное, потускневшее лицо. Гриша глядел на нее с фотографии, молодой, радостный, непобедимый. Она вздохнула. Теперь уж она знала почти наверняка, что телеграмма от Сони была каким-то глупым недоразумением. Верной была первая бумага, официальное извещение.

❄

Телефонные звонки, телеграммы, телефонные звонки, телеграммы. И наконец:

— Мария, это правда. Григорий жив. Был тяжело ранен. Теперь он инвалид. Он хотел скрыться от тебя.

Она стояла, смертельно бледная, изо всех сил стискивая руки, и, не моргая, смотрела прямо в глаза Воронцову. Огромными, остановившимися зрачками.

Она не могла понять, что он ей говорит. Не улавливала смысла слов. Григорий хотел скрыться? Что он такое несет? Григорий жив, но если так, то что может значить все остальное?

— Не понимаю,— сказала она глухо.

— Он жив, нашелся, нужно привезти его сюда!

— Я поеду,— рванулась она.

Он положил ей руку на плечо.

— Нет, Мария. Мы поедем вместе. Полетим самолетом. Может, надо будет помочь в чем-нибудь. Так будет лучше.

Она хотела возразить. Опять Воронцов, и тут он. Зачем? Что тут такого трудного? Григорий жив, и нужно за ним ехать, — кажется, просто и ясно.

Но тут она почувствовала, что у нее подгибаются ноги, что силы ее покинули, в глазах мутится, в ушах шум. Да, пусть уж лучше Воронцов будет с ней, пусть уж будет...

— Самолет летит завтра утром. Я заказал билеты. Заеду за тобой... — он взглянул на часы,— да, заеду за тобой в половине десятого. Теперь мне надо итти, закончить свои дела перед отъездом.

Она слышала его, как сквозь туман. И даже впоследствии никогда не могла вспомнить, как пережила эти часы до следующего дня, до назначенного срока.

Она стояла совершенно одетая, в берете, в перчатках и ждала. Но вот, наконец, звонок в прихожей. Воронцов! На аэродром! Она кинулась открывать дверь, больно ударившись о ящик, стоявший в прихожей. Открыла — это был не Воронцов. Какой-то мальчик подал ей конверт.

— От доктора Воронцова.

— Как? Где? А где он сам?—крикнула она и в, что мальчик отступил на шаг.

— Доктор улетел.

— Как улетел?

Ей показалось, что земля расступается у нее под ногами. Что же это такое опять? Что за невероятная история? Неужели не будет конца этим диким недоразумениям, ошибкам, этим безжалостным пыткам?

— Улетел,— повторил мальчик, внимательно наблюдая за ней, и готовый броситься наутек при первом ее движении. У нее было такое выражение лица, что он принял ее за сумасшедшую. Воспользовавшись тем, что она опустила глаза на письмо, он торопливо нырнул в тьму лестничной клетки. Ноги в рваных башмаках загрохотали, как канонада.

Вся конца читала она письмо, стараясь уловить его смысл, шопотом повторяя отдельные предложения, словно это могло помочь ей понять.

«Не следует волновать его» — это, значит, ее присутствие, что ли, его взволнует? Инвалид — ладно, мало ли инвалидов? Какое это имеет отношение к Григорию, к Григорию и к ней. А может, все это неправда? Может, Воронцов обманул ее. Григория нет в живых, а он теперь боится сказать об этом?

Нет, нет. Григорий жив и ждет ее. Она сама, а не еще кто-то, должна за ним ехать. Нельзя же откладывать, оттягивать, когда можно увидеть гришины глаза, упасть в его объятия, услышать его голос, выплакаться на его груди. Какое право имеет Воронцов решать за нее, оставить ее дома, как маленького ребенка? Какое право имеет он первым увидеть Григория?

Она сжала кулачок. Она ненавидела в этот момент Воронцова до бешенства. Какое право он имеет, какое право...

Мария выбежала из дому. Телефон, номер аэродрома. Ведь должен лететь какой-нибудь самолет, должен, же лететь, она полетит, догонит, будет там с Григорием...

— Через три дня. Да, через три дня. Какое учреждение?

Она бессильно опустила трубку. Три дня — они уже будут к этому времени на обратном пути. И ведь нельзя же сослаться ни на какое учреждение, ведь она не официальное лицо. Приходилось сдаться.

Ее снова окружил туман, в котором стирались все очертания, слова становились непонятными, время перестало быть временем. И в этом тумане рождался необъяснимый, подкрадывающийся на бесшумных лапах страх. Страх разрастался, хватал за сердце, она непрестанно чувствовала это сердце, тяжелый, маленький комочек, причиняющий мучительную боль.

Мать лихорадочно носилась по квартире, что-то торопливо стирала, протирала, приводила в порядок к приезду Григория. Становилась на колени перед иконой и молилась вслух, прерывая благодарственные молитвы вздохами. Но у Марии вылетела из рук первая же вазочка, которую она принялась мыть, и мать сердито выгнала ее из кухни.

— Иди, иди к себе, уж я лучше сама...

Где-то высоко в воздухе рокотал мотор. Летел самолет за Григорием. Как могли так страшно обидеть ее,— причинить ей такую обиду? Но теперь уже поздно, сделать ничего нельзя, надо как-нибудь пережить это время.

Она взяла дополнительное дежурство за Раису, к которой приехал с фронта жених. Не думать, ни о чем не думать. Бинты, иод, лекарства, кривая температуры. Она старалась быть машиной, безупречно выполняющей свою работу. Внимательно смотрела, как капли лекарства падают в ложечку, овальные, зеленоватые капли, кроме этих капель ничто на свете не существовало. Ртуть в термометре показывала температуру раненого — и в этот момент в мире не существовало ничего, кроме тоненького столбика ртути. Предметы вдруг приняли другой вид. Они перестали быть предметами, давно знакомыми, неинтересными вещами. Обнаружился ряд подробностей, которых раньше как бы не существовало. Они налились жизнью, собственными, разнообразными свойст-

вами. Обнаружилось сложное переплетение ниток в бинтах, у края стакана оказался иной цвет, металл ложечки был исчерчен сетью мелких черточек. Одеяло перестало быть гладкой поверхностью, на нем вырос лес серебристых ворсинок, пугливо вздрагивающих при каждом движении лежащего под одеялом тела. Предметы, как в сказке, ожили, зашевелились. Открылся новый, таинственный, неизвестный раньше мирок. Мария упорно, усиленно всматривалась и замечала все новые и новые подробности. И это было хорошее средство — о том, о самом важном не думалось. Только время от времени тело словно прохватывало горячим ветром.

Операции, перевязки, обход больных с профессором, ночное дежурство и снова обход больных, и снова операции...

— Ты бы отдохнула немного,— сказала одна из сестер. Но Мария отчаянно замахала рукой. Нет, нет, ни за что на свете! Если надо, она возьмет дежурство еще за кого-нибудь, лишь бы не отдыхать! Ей казалось, что она сойдет с ума, если уйдет отсюда, вернется домой, сядет в кресло или ляжет в кровать. Она не прикасалась и мыслями к тому самому важному. И не объясняла самой себе, почему это надо работать, работать без отдыха. Она старательно обходила, трусливо бежала от этого.

Она задремала лишь к вечеру, за чаем, который ей поставили на столике в дежурке. Этот сон схватил ее внезапно, склонил ее голову на край стола и погрузил в беспамятство.

И тут как раз сестра Татьяна положила ей руку на плечо.

— Мария, привезли твоего мужа.

Некрасивое морщинистое лицо этой пожилой женщины освещала радостная улыбка. Мария моментально очнулась. В дверях стоял Воронцов, но на его лице улыбки не было.

— Иди, он ждет,— сказал он, и Мария послушно пошла, слыша шум в ушах. Сердце так колотилось, что казалось вот-вот оно разорвется. Она споткнулась на ступеньке, и Воронцов поддержал ее под локоть.

— Чувствует он себя хорошо. Дорога его не утомила.

Мария шла быстро, почти бежала. Он остановил ее. Она изумленно взглянула на него.

— Мария, я должен предупредить тебя...

Ледяная струя пробежала по ее телу. Пальцы рук и ног одеревенели. Что еще страшное может оказаться? Что все оказалось ошибкой, Гриши нет в живых?

Но ведь Татьяна ясно сказала: привезли мужа. И вдруг, как вспышка молнии: почему привезли, почему не приехал? Ну, что за вздор. ведь он лежал в госпитале, был ранен, ведь ей уже сказали, что он инвалид...

Это слово лишь теперь дошло до нее. Но в нем не было смысла. Оно было странным пустым звуком.

— Предупредить?

— Да, предупредить. Григорий был тяжело ранен. Он еще болен. С ним надо быть по-осторожнее. Понимаешь?

Нет, она не понимала. Воронцов был бледен и не смотрел на нее.

— Почему?

— Ах, ты спрашиваешь, будто маленькая,— беспомощно сказал он.

Она стояла на лестнице, не понимая, зачем он остановил ее.

— Он... Мария, он очень изувечен...

И снова ледяная струя. Откуда-то из горла, по всему телу к пальцам ног.

— Ты должна держать себя в руках, Мария... Видишь ли, чтобы в первый момент...

Ледяной холод не исчезал. Он держал в клещах все тело, замораживал кожу на щеках, мучительно стягивал губы.

— Он... болезненно впечатлителен, болтун. Так ты...

Она молчаливо кивнула головой. Воронцов сильно сжал ее руку. Она не ответила на пожатие. Она шла по коридору обычным шагом, чувствуя, что застывает, что она не живой человек, а ледяная статуя. Это был уже не страх, а нечто страшнее самого страха, неумолимо сжимающее сердце железной рукой. Если... Воронцов... Если даже Воронцов...

Дверь. Врач еще раз пожал ее руку и повернул ручку, пропуская ее вперед.

Хорошо, что в жилах нет крови, а лишь лед. Хорошо, что все тело одеревенело. Там в кресле кто-то сидит. В первый момент она хотела отступить — это же ошибка. Какое счастье, что оледеневшее тело не слушается мыслей. Мария подходит к креслу. Повязка сдвинута на голову. Он, видимо, хотел этого, требовал, чтобы ее сдвинули, чтобы она сразу увидела. Ужасные багрово-синие рубцы. Толстые швы рубцов. Нечеловеческий, вдавленный внутрь глаз. Взгляд побежал дальше. Пустой рукав рубашки, толсто обмотанная бинтами, неподвижная нога в гипсе. Это был Григорий. Страшным усилием воли она овладела собой. Подошла, стала на колени перед креслом, зная, что так надо. Рядом стояла другая Мария — та, которая смотрела на все со стороны и приказывала, что нужно делать. Но эта, стоящая на коленях, с ужасом почувствовала, что ее обнимает одна рука, единственная рука калеки. Она прислонилась головой к груди человека, который когда-то был Григорием. Мертвыми губами она шептала имя, которое он когда-то носил:

— Григорий, Григорий...

Воронцов вышел на цыпочках, осторожно прикрыв за собой дверь.

— Марийка...

По приказу той, другой Марии, она превозмогла себя и подняла глаза на изуродованное лицо. В глазах у нее померкло, она ничего не видела. Но та, другая, сурово и безжалостно повторяла, что именно так надо.

— Я не хотел возвращаться к тебе, не хотел, чтобы ты видела,— услышала она хриплый, срывающийся шопот. Следовало ответить. Она искала подходящего ответа. Но не нашла ничего. В отчаянии она ухватилась за первое, подвернувшееся слово.

— Знаю...

— Не сердись, любимая... Виктор рассказал мне, я понял, что так нельзя...

Ах да, Воронцов... Как будто стало немного легче. Воронцов уже сказал все, что следовало. Что еще, что еще от нее требуется?

Прикосновение руки к волосам. Она не могла не думать — упорно, с ужасом о том, что это единственная рука. Она шевельнулась — ведь нельзя было, как раньше, опереться локтями о его колени. Следует еще раз взглянуть на его лицо, чтобы он не заметил, как она боится этого. Ужасное искаженное лицо, которое было когда-то лицом Григория.

Да, это чужой человек, чужой и страшный, хотя он говорит голосом Григория. Мгновение она пыталась убедить себя, что это один из раненых, один из сотен раненых, за которыми она ухаживала в госпитале. Но это не удавалось. Те раненые не имели права обнимать ее, к ним не надо было прижиматься, не надо было.

Она содрогнулась.

— Милая моя...

Она прикрыла глаза. Это могло сойти за радость, за упоение и счастье, он ведь не мог догадаться, что она смотрит в ужасную, холодную пустоту сердца, где нет ничего, кроме страха... Какие чудовищные увечья, какие раны приходилось ей видеть, перевязывать, лечить в этом госпитале! И никогда, никогда — только теперь, в первый раз...

Да, но ведь никто из них не был ее мужем. Только Григорий.

Она с ужасом думала о том, что будет дальше. Надо ведь что-то говорить, что-то делать, но тогда он заметит...

— Как мне было тяжело, Марийка, как страшно тяжело! Но теперь...

Что теперь? Что теперь?

Она с трудом преодолела оцепенение своего тела и, не глядя, погладила его руку. Холодной, безжизненной рукой.

— Какое счастье быть опять с тобой...

Она кивнула головой. Он ничего не видел, ничего не замечал. Только бы ни о чем не спрашивал, только бы не нужно было рассказывать, говорить... Да, да, Воронцов... Что такое рассказал ему Воронцов?

Дверь приоткрылась.

— Ну, Мария Павловна, придется на минутку разлучить вас с мужем,— весело сказал дежурный врач.— Отдохните немного, а мы тут займемся больным.

— Я... — слабо возразила Мария, но врач махнул рукой.

— Речи быть не может! Отдыхать—и больше никаких. Потом мы вас пригласим.

Мария с усилием улыбнулась сидящему в кресле калеке и вышла. В дежурке она тяжело опустилась на стул и оперлась подбородком на сложенные руки.

Значит, это и был Григорий. Так кончается счастье, жизнь, молодость. Так кончается любовь, которой, казалось, нет равной на земле.

И вот она лежит, поверженная на землю, и невозможно найти в сердце даже следов ее. Напрасно Мария вызывала в памяти прошлые дни, ландышевую рощу и яблони в саду, и золотые звезды в ветвях. Все это было, как слышанный где-то рассказ. Это не касалось ни ее, ни того калеки, которого она только что оставила.

— Мария...

Воронцов погладил ее руку, лежащую на столе. Она враждебно взглянула на него.

— Не печалься... Это так, в первую минуту... Будем лечить... Можно сделать многое...

Она усмехнулась сухой, злой улыбочкой:

— Можно сделать многое... Что же ты можешь сделать, великий врач, со всей твоей медициной?

— Протезы... Пластические операции...

— Знаю, знаю наизусть знаю все эти сказки. Сама их рассказывала сотням раненых. Ну, конечно, протезы, конечно, пластические операции.

Что он знал? Что он понимал? Протез не поддержит рассыпавшейся в прах любви, пластическая операция не спасет чувство, которого уже нет, жизнь, которая разбилась, счастье, которое страшно, грубо растоптано.

Что может знать Воронцов об ужасающей обездоленности сердца, о черной пустоте, разверзшейся в душе? Шумит, гудит сухой ветер, пересыпает с места на место мелкий, летучий песок. И кажется сейчас, что нет в сердце ничего, кроме этого песка и злого, удушающего ветра...

— Тебе нужно отдохнуть, Мария. Слишком много этих впечатлений. Потом будет легче... Разумеется, я понимаю...

Нет, он ничего не понимал. Какие впечатления? Хуже всего именно то, что никаких впечатлений не было. Марии казалось, будто

она уже предчувствовала, давно знала, что все будет так. Остынет, опустеет, высохнет сердце и не сможет уже ничего ни чувствовать, ни переживать. В ней нарастал гнев против этого человека, который сидит напротив и сочувственно смотрит на нее. Как он смеет ей сочувствовать? Она ведь никого не просила о жалости. Она хочет остаться одна со своим несчастьем.

— Ну, что ты так смотришь, мудрый доктор? Жалеешь меня, да? Нечего жалеть, нечего строить грустную физиономию! Как оно есть, так и будет, и точка!

— Как есть, Мария?

Он наклонил голову и не смотрел на нее. Машинально разглаживал морщины на скатерти.

— Я ведь не знаю, как оно есть,— прибавил он тихо.

— Не знаешь? Очень просто и обыкновенно. Буду работать в госпитале и ухаживать за ним всю жизнь, слышишь, всю жизнь! Вместе с его ногой, оторванной рукой, с его изуродованным лицом. Слышишь! А что же еще может быть?

— Не сердись, Мария. Так и должно быть. Только... Только это не так, Мария,— закончил он, избегая ее взгляда.

— Как это — не так?

— Ты бы должна это сказать другим тоном.

— Ах, вот как? С пафосом, со слезами и прикладыванием рук к сердцу?

— Необязательно. Ты прекрасно знаешь, о чем я говорю. Не надо, Мария, нельзя так.

Она посмотрела на него горящими глазами:

— Да? Скажите, пожалуйста! А то, что случилось с моей жизнью, с моим счастьем, с моей любовью,— это можно, это в порядке вещей? Это тебя не волнует, не возмущает? Только я, я вечно должна быть такой, какой полагается, примерной, владеющей собой, разумной, спокойной! Да?

— Не одна ты, Мария,— его голос зазвучал сурово.— Ты одна из тысяч и тысяч.

— Эту мораль я уже сто раз от тебя слышала. Так потому, что я не одна, мне и должно быть легче, да?—насмешливо прервала она.

— Да, поэтому тебе должно быть легче. Ты должна понять. Впрочем, к чему сейчас этот разговор? Я думаю, еще будет время. А теперь ты должна отдохнуть. Успокойся. Все, что ты говоришь, так непохоже на тебя... Такое не твое...

— Нет, именно такова я и есть.

— Нет. Другая.

— Тебе лучше знать, да?

— Мне лучше знать.

— Ну и ладно. Ты знай свое, а я знаю свое.

В дверь постучали:

— Мария Павловна, профессор просит. Вашему мужу перевязку меняют.

Она кивнула головой Воронцову и вышла. Муж... Странное слово, что оно означает? Раньше оно означало: Григорий. А теперь?

— А вот и Мария Павловна. Мы не хотели без вас начинать. Надо, наконец, поассистировать и при перевязках мужа, а? — добродушно усмехнулся профессор.

Она машинально подавала бинты, тампоны, спирт. Руки ее не дрожали, она не чувствовала волнения. Все, как всегда. Старый профессор, разумеется, считал, что для нее это счастье,— помогать при перевязке Григория. Не хотел начинать без нее.

Она ассистировала в этом зале при сотнях, сотнях перевязок. Сотни раз подавала бинты, инструменты. Этот лежащий на операционном столе человеческий обрубок — это Григорий. Смешно и глупо — это Григорий. Вот бы профессор вдруг узнал, что она думает и чувствует в этот момент? Пожалуй, приказал бы ей выйти и больше сюда не показываться. Несколько раз он поднимал глаза от своей работы и окидывал ее добрым понимающим взглядом. Да, почтенному профессору все это представлялось простым и легким. Нашелся муж, о котором в ошибке сообщили, что он погиб, и жена сходит с ума от радости — ничего иного профессор и представить себе не мог. Ей должно представлять счастье, что вот она свертывает бинты для собственного мужа. Он ждал ее, хотел без нее начинать — какая доброта, какая деликатность!

Кровь в белой мисочке — это кровь Григория. Мокрые, склеившиеся волосы — волосы Григория. Постепенно исчезающая под марлей красная маска — это лицо Григория.

Возможно ли, что когда-то этот человек был для нее солнцем и светом, был смыслом и радостью жизни? Что же тогда было сном? Прошлое, или то, что происходит сейчас?

«И так будет всю жизнь,— подумала она тщательно, ровно свертывая бинт.— Григорий вернется домой, в тот самый дом, который они вместе создавали, убирали и украшали. Он будет в той самой комнате, где каждый предмет меблировки, каждая безделушка напоминает о каком-нибудь совместно пережитом моменте». Но ведь Григория уже нет, и Марии нет. Есть новые, странные и страшные люди. Она сама теперь не менее страшна, чем Григорий, хотя этого пока никто не видит. Но и это в конце концов будет замечено. Не может быть, чтобы эта пустота, холод и мрак, царящие в сердце, не отразил

лись на лице, не положили на него свое клеймо.

— Кончено, можете забирать своего мужа,— пошутил профессор, и Мария автоматически, умело, как она это делала уже сотни раз, толкнула тележку, на которой лежал Григорий, к дверям.

✠

От усталости перед глазами мелькали черные пятна. Болели ноги, болели руки, сердцем овладевала тягучая, безнадежная скука. Вечно одно и то же, одно и то же. Кричал раненый из шестого номера, умирал майор во втором этаже, выписывался из госпиталя молодой боец из десятой палаты.

Теперь она впервые почувствовала усталость до полного изнеможения. Ей приходилось преодолевать себя, чтобы выполнять то, что от нее требовалось. Прежде ей давала радость и силу улыбка Григория, его голос, взгляд его глаз. Гриша был с ней, днем и ночью был с ней, вместе с ней подходил к койке раненого, нашептывал на ухо слова, которые следовало сказать, помогал приподнимать бессильные мужские тела, поддерживал слабеющие руки, вместе с нею проходил по госпитальному коридору; что бы она ни делала, она делала вместе с ним и для него. Его раны она бинтовала, бинтуя раны сотен людей, его жаждущим устам подавала воду, ему улыбалась. Каждый раненый был Гришей.

А теперь Гриша лежал тут рядом, каждую минуту можно было войти и увидеть, каждую минуту можно было услышать его голос, не во сне, не в мечтах, а на яву. Но это не давало ни сил, ни радости, ни счастья, как прежде.

Стал чужим самый близкий человек, и стали чужими все близкие, которым она до сих пор служила.

«Ведь я же работаю, работаю, как и прежде»,— успокаивала Мария сама себя, но в то же время она отлично знала, что не как прежде. Вода, которую она подавала раненым, была простой водой, а не волшебным напитком, возвращающим жизнь. Рука, положенная на лоб, лишь оценивала высоту температуры, ее прикосновение не приносило утоляющего сна. Улыбка с усилием появлялась на губах и не освещала палаты верой и надеждой. И ей самой работа не давала силы, как раньше, не высасывала все соки, вызывала нестерпимые головные боли, боль в руках, ногах, апатию и равнодушие. Лица утратили свои индивидуальные черты, стали одним лицом раненого, чужим, ничего не говорящим. Истории человеческой жизни, различные, переливающиеся сотнями огней и теней, стали все одной и той же далекой и неинтересной историей. Нет, теперь профессор уже не мог бы сказать: «Это не я, это вы, Мария Павловна, лечите раненых». Теперь она только выполняла свои обязанности, выполняла поручения, как автомат, как машина точная, но мертвая и равнодушная. И оказывалось, что этого недостаточно. Оказывалось, что это не все равно. Раньше она передавала раненым свою радость, свою веру, свою силу, свою молодость и бодрость. Теперь она подавала только воду и бинты, порошки и капли.

Что ж, она не хуже и не лучше сотен других сестер, которые работают нормально и не загромождают себе голову какими-то особыми миссиями,— говорила она себе, но знала, что это ложь. Она умела, умела иначе — прежде. А теперь все кончилось каким-то страшным, непонятным образом.

Боролась, в смертельной схватке с врагом, родина, истекала кровью. А она, Мария, стояла в стороне. Стояла и смотрела утомленными глазами на происходящее. Она уже не шла вперед в великом марше, не поддерживала знамени, не одолевала врага. Она была омертвевшей тканью в напрягшемся в борьбе теле, она была сухой веткой на мощном, зеленом дереве, сопротивляющемся мрачному вихрю.

Иногда ей казалось, что одно не ведет за собой другого, можно сказать себе, что кончилась личная жизнь, ее маленькая, частная жизнь, но осталось великое дело, которому она служит и ему можно служить как следует.

Но, видимо, и это была неправда. Все это было объединено, связано неразрывной связью. В сердце было мертво, прошло время великих волнений, надежд и тревог. Умерла не только любовь к Григорию,— умерла она сама. Мария теперь была лишь своим собственным воспоминанием, бледным и мутным, как отражение в илистой воде. Сердце обросло жесткой и шершавой корой, и внутрь не проникало ничто — ни радость, ни боль, ни свет, который прежде горел неугасимыми огнями.

— Как ты себя чувствуешь?

Раненый обернул к Марии лицо, еще наполовину закрытое белым коконом бинтов.

— Лучше. Хорошо. Можно бы уже снять эти тряпки.

— Снимут, снимут, когда время придет. Пока потерпи еще.

— Вы не больны, сестра?

Она вздрогнула.

— Нет. А что?

— Не знаю, мне что-то показалось.

Мария отрицательно покачала головой.

— У вас найдется время?

— Пока есть.

Она хотела улыбнуться ему, но как-то не вышло. Губы болезненно искривились. Тем-

ный глаз из-под белых полос бинта внимательно смотрел на нее. Она почувствовала себя смущенной, словно этот молодой парень мог видеть ее насквозь, знал, что происходит в ее сердце, ощущал эту зияющую пустоту, мучительный мрак, который в нем господствовал.

— Вы бы не могли почитать мне письмо?

— Письмо? Ты разве еще получил?

— Нет,— сконфуженно пробормотал он, отворачиваясь.— То самое...

— Да ты же знаешь его наизусть.

— Это ничего. Наизусть одно дело, а послушать — совсем другое. Только, может, вам, сестра, не хочется?

— Нет, нет, что ты? Я с удовольствием прочту. Давай.

Буквы было уже трудно разобрать. Сотни раз прочитанные, они слились, стерлись на бумаге, измятой, потемневшей в мокрых от пота, потрескавшихся от жара руках. Она ведь тоже знала это письмо наизусть.

«Дорогой мой Вася...»

Он оперся рукой на подушки, чтобы удобнее было слушать. Он ждал знакомых слов, улыбка приоткрыла еще бескровные губы.

«Кланяюсь тебе от всего сердца, и мама, и сестренка Фрося, и тетка, и все соседи. Ты не пишешь, куда тебя ранило...»

«Я очень рада»,— прервал раненый.

— Да, да, прости, пожалуйста, я пропустила. «Я очень рада, что уже знаю, где ты, твой адрес. Ты не пишешь, куда тебя ранило и как».

Она на секунду умолкла. Она вспомнила следующую фразу, и сердце ее сжалось. Он удивленно взглянул на нее.

— Сейчас, сейчас, здесь так смазано...

«Так я тебе хочу написать»,— подсказал он.

— Да, да, конечно... «Так я тебе хочу написать, что, как бы ни было, я все равно за тебя пойду, так ты мне напиши, как тебя ранило, и хоть бы ты стал инвалидом, все равно не печалься, ты ведь знаешь, как обстоят дела, и что как бы ни было, а я всегда та же, что и была...»

Голос ее осекся. Вася протянул руку:

— Отдайте.

— Ты уже не хочешь, чтоб я читала?

Она только теперь с испугом услышала свой невыразительный, глухой голос.

— Нет. Не хочу. Отдайте.

В его голосе слышалось нетерпение. Он взял у нее истрепанный листок и осторожно положил его под подушку, неприязненно взглянув на Марию.

— Спасибо, сестра, больше не надо.

— Ну, как хочешь.

— Вот именно.

Он повернулся лицом к стене, как бы давая понять, что разговор окончен.

— Захотелось спать?

— Да. Посплю немного.

Она поправила ему одеяло и тихо вышла. В коридоре она остановилась у окна. Что это? Почему? Сколько раз она читала ему это письмо, которое было для него радостью, счастьем, утверждением веры в жизнь, в людей, в будущее. Что же из того, если для нее самой все рассыпалось в прах? Но она уже не умела даже прочесть письмо, лишала слова того блеска и звука, который в них заключался, который она сама им придала. Какое право имела она отнимать веру и надежду у этого парня, которого сама вернула к жизни?

«Что с тобой случилось? Кем ты стала? — спрашивала она себя, прижимаясь пылающим лбом к стеклу.— Мария, кто же ты теперь такая?»

Обыкновенное письмо простой деревенской девушки, которая не знает, не понимает... Насколько иначе читала она это письмо прежде. Она читала радостным, уверенным голосом. Это было то же чувство, та же уверенность, та же вера, которая жила в ней.

Но теперь это письмо стало только жалким истрепанным клочком бумаги, запачканным несчетными прикосновениями рук. Ничего не значащие слова, за которыми таилось [illegible] одно: бессознательная ложь, предвестник глубочайших разочарований, обещания, которые невозможно выполнить, залог горьких переживаний для этих двоих, которые теперь, когда они вдали друг от друга, живут светлыми иллюзией всепобеждающей любви. Которая сильнее всего в мире.

Но, видно, такая любовь не существует, видно, есть вещи, которые ей не по силам. Придет день, и эти двое переживут то, что пережила она. Может быть, иначе, может быть, не совсем так, но сущность переживания будет та же. Черная пропасть, пустота на месте того, что было, обломки мечтаний, беспощадный разгром.

Позади нее в коридоре раздались голоса.

— Сегодня ему хуже, зайди к нему, Раиса,— сказала женщина-врач. Да, теперь уже ее не звали успокоить боль, принять бодрости, принести покой и надежду. Теперь звали ту самую Раису, которая прежде сама столько раз звала ее на помощь, не умея справиться с человеческим отчаянием, с человеческим страданием.

«Что же с тобой случилось, Мария? Кем ты стала, Мария? Добросовестной медицинской сестрой, в работе которой не было жизни, души, улыбки. И больше ничем»

Она изменила не только Грише. Она предала кого-то большего и что-то большее, и эта измена привела ее к опустошению. Нет, ей

ичего больше дать людям, она беднее самой жалкой нищей.

Она медленно пошла вниз. Знакомый, все тот же коридор. Сколькими голосами говорил он с ней, когда она торопилась в палаты раненых, в операционный зал, когда поспешно бежала, готовая броситься на каждый зов, чуткая, внимательная, полная внутренней радости и деятельной любви ко всем тем, кто лежал в этих палатах.

Теперь коридор молчал, был обыкновенным, голым, прохладным коридором с узкой красной полосой дорожки. Молчали запертые двери палат. От стен веяло холодом, от тех самых стен, которые еще недавно казались стенами родного дома.

«Это ты теперь стала кем-то другим, это ты изменилась»,— говорила она себе, спускаясь по лестнице. Сколько по этим ступеням спустилось людей, которых она спасла, сберегла, вырвала из объятий смерти, и они ушли отсюда, сохраняя в памяти ее имя. А теперь от нее отвернулся даже Вася. И не потому, что она плохо прочла письмо,— он каким-то шестым чувством почувствовал ее измену. Потому что она предала и его.

Она солгала ему — ведь в конце концов казалось, что она ему позло солгала. То, что она сделала это без умысла, ничего не меняет. Факт остается фактом.

А может быть, просто она сама была обманута, ужасно обманута жизнью? Судьбой, всем, во что верила, что считала самым важным, непоколебимым, единственно истинным?

Но если так, то откуда же это беспокойство, откуда это ощущение вины, этот стыд, который не позволял ей подходить с поднятой головой к койкам раненых, не позволял смотреть им в глаза, ожидающие, вопрошающие, которым раньше она всегда умела дать ответ?

«Чем же ты стала Мария?» — спрашивала она свое сердце, и все рассыпалось в ее руках в прах и пыль.

❊

Для доктора Воронцова наступили тяжкие, черные дни. Это началось неожиданно, коварно подкралось и, прежде чем он опомнился, овладело им. Эта темная, недобрая власть, росла, крепла, и он был бессилен перед ней.

По коридору идет Мария. Под глазами у нее круги. Исхудавшее, побледневшее лицо. Что Мария, любимая, единственная женщина на земле. Руки бессильно опущены, плечи сутулятся. Ах, схватить ее в объятия, увезти далеко-далеко, на цветущие поляны, в горы, где шумят чистые ручьи. Заслонить ее от солнца зеленой веткой, заставить ее смотреть в глубокую лазурь и не думать ни о чем, ни о чем...

Мария подает инструменты, тихо, ловко, быстро, как всегда. Горькая морщинка у губ, которой раньше не было. Потухшие глаза. Ах, увезти ее отсюда, признаться в своей любви, в своей муке, сказать все, что хочется сказать, обо всех этих долгих, одиноких днях, печальных ночах, о всех этих годах, с момента, когда полюбил ее. Ведь у него ничего в жизни не было, кроме работы. Та женщина, жена, с которой он давно разошелся, которая не дала ему ничего, кроме огорчений, была лишь воспоминанием, бледным и неприятным, глупой ошибкой студента, ничего еще не знающего о жизни. А потом уже никого, никого — и наконец, прилежная слушательница, Мария. Каким светом озарили ее волосы аудиторию, какую радость давал взгляд искренних детских глаз, широко раскрытых, когда она заслушается.

Сколько нужно было побороть в себе, сколько перестрадать, глядя на их любовь, открытую, захлебывающуюся, бросающуюся в глаза необузданным весельем, безграничной преданностью...

А теперь, там, на третьем этаже сидит в кресле калека, обрубок человека, и это муж Марии. И нет уже между ними прежней любви. Остались только узы долга. Да, он ведь сам сказал ей об этом, сурово и жестко. Быть может, именно потому, что любил ее. Он хотел быть честным, он всю жизнь был честным, порядочным человеком. Он никогда никому не делал гадостей, и у него были принципы, которых он неотступно придерживался, независимо от обстоятельств.

Но теперь его сердце точил червь. Во имя чего, почему должна пропадать эта обаятельная юность? Ее блеск гаснет, подергивается тенью ясность глаз, меркнет даже золото ее волос. Вянет, меркнет на глазах радость и краса жизни. Каждый день проводит жесткие линии на гладком личике, с каждым днем исчезает розовый оттенок губ, переходя в бумажную белизну.

Там, в третьем этаже, мучится несчастный калека. Кто знает, не меньше ли он мучился, если бы она ушла от него? Да, видимо, капитан Чернов был прав, скрываясь среди раненых под чужой фамилией, а не Мария, не Соня Козлова, не сам он, Воронцов, когда с таким жаром, с таким огнем, топча собственное сердце, убеждал Григория там, в далеком госпитале, что нужно возвращаться, что каков бы он ни был, его ожидают радость и любовь, что самым страшным для Марии было бы, если бы он к ней никогда не вернулся.

Он убедил Григория, а теперь не мог убедить самого себя.

Что же произошло? Гибла, пропадала, сходила на-нет Мария,— наверху Григорий часа-

ми сидел, уставившись в одну точку на белой стене. Его нельзя было обмануть — его не могли ввести в заблуждение улыбки Марии, ее мягкие слова. Он ведь знал свою жену, и она любила его когда-то, как она любила его... Он не мог не чувствовать, не понимать, что происходит.

Так почему должны терзаться все трое? Подкрадывалась злая мысль и нашептывала. Лучше бы уж мучился один Григорий. Для него и так все кончено — ведь Мария не любит его. А она еще может полюбить, она молода, в ней столько жизни и силы. Может полюбить именно его, Воронцова. Он выходит ее, отогреет окоченевшее сердце, научит ее снова смеяться, снова любить жизнь. Он был самым близким ей человеком теперь, когда Григорий угрюмо смотрел в одну точку на стене. Кого же еще она может полюбить? Только его. И они были бы счастливы.

«Что же важнее,— нашептывала подлая мысль,—счастье двоих, молодых, здоровых людей или долг по отношению к калеке? Если бы еще она его любила,— но, видимо, не было и не могло быть любви. И даже если... то пусть лучше пропадает один, чем все трое...»

Он боролся с этими мыслями, проклинал их. Но они приходили вновь и вновь. Достаточно было встретить Марию в коридоре, достаточно было посмотреть на нее, услышать ее голос в дежурке, достаточно было подумать о ней, и тотчас раздавался коварный, крадущийся в душу шепот. О счастье и о несчастье, о том, что надо спасать человека, который гибнет, человека, которого любишь.

— Вы плохо выглядите,—обратил на него внимание профессор, и Воронцов покраснел, как мальчик. Ему показалось, что его поймали на месте преступления, что зоркие глаза профессора проникли в тайну, которую он хранил, как зеницу ока. Что тому известны его омерзительные, подлые мысли, что он видит, как червь точит душу Воронцова и как порядочный до сих пор человек изменяет всем своим принципам, сочиняет целую теорию, чтобы оправдать собственное себялюбие и жажду личного счастья.

И опять являлись на помощь аргументы, что ведь главное тут Мария, Мария, которая погибает и которую во что бы то ни стало надо спасти.

— Я немного устал,— ответил он спокойно, склонившись над инструментами, чтобы профессор не видел выражения его глаз. Да, на его лице отражались все мысли, все бессонные ночи, когда он ворочался на постели и грыз пальцы в дикой тоске и отчаянии. Не помогали ему попытки заглушить тоску работой, ни его старания избегать Марии. Она всегда, всегда стояла перед его глазами, и даже в краткие часы сна мелькало ее бледное, с каждым днем все более бледное лицо, почти прозрачные виски с голубыми жилками и жалобная складка у губ.

Оставалось одно средство—уехать, бежать, перейти работать в другой госпиталь. Но верное ли это средство? Оставить ее на страдания, на гибель, покинуть ее в самые тяжкие дни ее жизни? И куда можно бежать от чувства, которое пойдет за ним всюду, неотступное, мучительное, усиленное разлукой?

Он боялся встреч с Марией, боялся разговоров с Григорием. Но Григорий и не затрагивал болезненных тем. Он просто лечился. Он часами смотрел в одну точку или упражнял левую руку, постоянно, систематически, но тоже как-то машинально, словно не в этом была суть. Что он думал, что переживал? — этим он ни с кем не делился. Между ним и Воронцовым установился натянутый, искусственный тон, словно вопрос температуры и заживания ожогов был единственным достойным внимания. Мария тихо ступала, говорила с мужем мягким голосом, он просил, благодарил, как послушный пациент, и все. Повидимому, и оставаясь наедине, они не разговаривали друг с другом о том, что их мучило, что заволакивало тенью и бледностью лицо Марии и не давало заживать ранам Григория, которые без конца гноились.

Но под внешним спокойствием таилось другое. Воронцов заметил взгляд инвалида, которым тот окидывал его, когда полагал, что врач этого не видит. В этом взгляде горела ненависть, обнаженная, ничем неприкрытая, несдерживаемая ненависть. И Воронцов знал, откуда она берется. Григорий не мог ему простить того разговора в госпитале, разговора, который заставил его изменить решение возвратиться. Воронцов был виновником того, что сейчас происходило, и капитан Чернов с тоской думал о своей муке, когда обрекал себя на вечную разлуку. Если бы не Воронцов... ненависть была в его взгляде, и Воронцов видел и понимал это.

А теперь уж, видимо, нехватало сил и энергии для нового решения. Григорий, должно быть, решил безучастно ждать, что будет дальше. На Марию он не смотрел — это бросалось в глаза, что он старается не встретиться с ее взглядом.

— Мы лжем, все лжем,— горько и упрямо повторял себе Воронцов. Не лучше ли разрубить этот запутанный узел, увезти ее, начать новую жизнь, забыть, что существует инвалид Чернов? Кто имеет право требовать от молодой, красивой сильной женщины, чтобы она навсегда приковала себя к калеке? Кто может требовать от него, молодого, способного врача, чтобы он навсегда отказался от счастья?

Со злобным хохотом вызывал он в памяти собственные аргументы, которыми он когда-то убеждал Григория, а потом Марию. Не одна — тысячи, тысячи женщин принимают сейчас в свой дом таких же калек, как Григорий...

Но тут ведь совершенно особый случай, совершенно иные обстоятельства...

— Потому, что ты ее любишь,— издевался в душе злобный карлик, и Воронцов потом обливался от муки, он же знал, что тут не было ничего отличного, исключительного, а просто одна из сотен и тысяч историй, ставших повседневностью последнего времени.

Он замыкался в себе, выносил беспощадные решения. В течение нескольких дней старался не смотреть на Марию, не замечать ее бледных щек, страдальчески сдвинутых бровей. Как можно больше времени посвящал Григорию. Все свободные минуты просиживал в его палате, занимая его разговорами. Он спорил на политические темы, рассказывал о госпитале и чувствовал, что ненависть Григория не уменьшается, а в нем самом растет враждебность к этому человеку, бывшему другу, который уже раз отнял у него любимую женщину, а теперь снова встал между ним и ею. Минутами врачу казалось, что и он ненавидит — ненавидит этого капитана Чернова, отдавшего родине свою молодость и силы, свое счастье и радость. Зачем ты пришел, зачем стал между нами второй раз? Какое ты имеешь право приковывать к себе красоту, молодость, ту, которая для меня была счастьем всей моей жизни, а возле тебя погибает ни за что?

Да, как раз это и говорил ему Григорий. Потому он и не хотел возвращаться домой, потому и хотел остаться для Марии мертвым. И вот он сам, сам поехал за Григорием, убедил его, привез...

«А ведь ты мог солгать. Мог сказать, что телеграмма была ошибкой. Мог укрепить Григория в его решении, помочь ему перевестись в другой госпиталь, где бы его никто не знал. Мог заставить молчать эту глупую Козлову, которая ничего не понимает. И Мария была бы свободна. И не было бы этой ужасной, мучительной истории, в которой мы запутались и погибнем, как мухи в паутине.

Да, это было так просто... Ах, подлец, подлец, конечно, ты мог свершить и такую подлость, если уж ты способен на такие мысли, если это пришло тебе в голову».

За окном была ночь, долгая, безнадежная, дождливая ночь, и на стене шевелились тени, рисуя перед бессонными глазами арабески. Где же выход, что же можно сделать? Что правильно и справедливо?

И хуже всего было как раз то, что Воронцов прекрасно знал, что справедливо и правильно. Но это было выше его сил. Медленно, незаметно, он скатывался в омерзительную бездну, где надо было открыто сказать себе, что ты не больше, чем негодяй. Между тем средств удержаться на этой наклонной плоскости не было. Нужно было сползать, сползать по ней, находить лицемерные аргументы, сочинять утонченную ложь, чтобы доказать своей совести: это не эгоизм, а заботы о жизни и благе любимого человека.

Время, которое он проводил дома, было мукой, мукой было и пребывание в госпитале. Госпиталь, кроме страданий раненых, усилий врачей, криков отчаяния, страстной борьбы со смертью, повседневного труда, кроме всего этого, госпиталь скрывал в своих стенах еще трагедию трех людей. Трое людей, которые говорили друг с другом о безразличных вещах или совсем не говорили, людей, тесно связанных, скованных цепью страдания. И хуже всего, что это не было чистое и честное страдание — по крайней мере у него, нет. Это было страдание унизительное, погружающее в грязь, в мрак, где черная мысль в поисках выхода из западни нашептывает злые слова.

❄

— Приехала девушка к Васе,— сообщила Раиса. Так называли его все в госпитале, этого упрямца, который сперва наполнил весь госпиталь своим безумным отчаянием, перетревожил всех, нарушил весь распорядок, принудил дать ему отдельную палату, нянчиться с ним, как с ребенком, а потом успокоился и терпеливо переносил свою судьбу. Это было делом Марии — и когда-то — как страшно давно это было, хотя так мало времени отделяло ее от тех дней,— она гордилась этим, словно родила сына.

Но теперь все миновало. Нечем было гордиться, «истиннейшая правда» оказалась ложью. Она обманула наивного парня, который ей поверил. Насильно вырвала его из сумерек, в которые он погружался, влила в его сердце волю к жизни. Какое право имела она это делать?

Тогда она верила, что имеет это право. Но теперь чистое пламя, освещающее жизнь, погасло. Нет, ничего не понимали те, кто думал, что ее улыбка погасла, что ее голос потерял звучность, потому что Гриша... Что она переживает несчастье любимого человека... Все это ложь. Погасла вера, которая давала силу и радость. В сердце осталась черная зияющая пустота.

И вот теперь приехала васина девушка. Он ждет ее так, как ему велела Мария, с радостью, с верой. Приехала девушка из далекой деревни, с трудом доставала билеты на поезда, чтобы привести своего парня домой. Теперь она увидит, убедится, что того, кого она любила, изуродовала, изменила до неузнаваемости бес-

пощадная рука войны. Он уже не тот — он даже не напоминает того Васю, с которым она когда-то встречалась в каком-нибудь вишневом саду. Это уже другой человек, не похожий, неизвестный.

— Отвести ее наверх или пусть подождет здесь?

— Отведи. Пусть там поможет ему, если захочет.

Странный тон Марии удивил Раису.

— То есть как — если захочет?

Мария овладела собой и рассмеялась сухим, неприятным смехом.

— Ах ты, дурочка! Ведь это же твоя обязанность помочь собраться раненому!

— Ну да, разумеется,— успокоилась Раиса и ушла.

Нет, Раиса ничего не понимала. Да, ведь это не она была женой Гриши. Не ей принесли изуродованный обломок человека, которого она когда-то любила. Все так просто — приехала девушка и должна увезти домой инвалида... Теперь она его увидит в первый раз. И убедится, что одно дело писать письма с уверениями в своей готовности на все, а другое — стать лицом к лицу с действительностью. Она будет кричать при виде его, как он кричал в первые дни. Или упадет в обморок? Бросится бежать? Помешается?

Мария подошла к дверям и отступила. Какая-то непреодолимая сила тянула ее наверх, посмотреть, что там происходит.

Послышались шаги в коридоре. Это Раиса, Раиса, конечно, бежит звать на помощь. Бежит за ней, за Марией. Чтобы она села рядом с девушкой, взяла ее за руки, объяснила ей. Чтобы успокоила, убедила, вновь связала этих двоих людей, между которыми ворвалась страшная судьба и раздавила, растоптала, разорвала в клочья все, что между ними было.

Шаги миновали дверь и удалились. Это не Раиса. Марией опять овладело непреодолимое искушение итти посмотреть. Ее тянуло туда, как преступника на место преступления. Ведь это же она привела их к встрече... Ведь если бы не она...

Она тихо открыла дверь и на цыпочках стала подниматься по лестнице. Задерживая дыхание, приближалась она к той комнате. Слышны крики? Нет, ей показалось.

И вдруг ее поразил непонятный звук, неожиданный, невозможный. Там за дверью смеялись. То не был истерический смех отчаяния. Это был обыкновенный, нормальный, радостный смех.

Она открыла дверь. На стуле сидел совершенно одетый Вася. Жалобно свисал пустой рукав гимнастерки. На недостающий глаз был лихо надвинут чуб.

Деревенская девушка стояла на коленях перед стулом и пыталась сколоть булавками подвернутую штанину, штанину, в которой не было ноги. И оба смеялись — Вася, глядя на ее усилия, и стоящая на коленях девушка в платочке. Раиса стояла рядом и собирала вещи.

Девушка поднялась с колен, и Мария увидела выбившиеся из-под платка светлые волосы, голубые глаза и круглое, улыбающееся, счастливое лицо.

Мария остановилась, словно ее толкнули в грудь. Вася поднял на нее свой черный глаз и подмигнул ей.

— Вот, Оля, та сестра, про которую я писал тебе, сестра Мария...

Девушка протянула руку. Мария почувствовала пожатие жесткой, загрубевшей руки. Как околдованная, ничего не понимающая, она смотрела в веселые голубые глаза.

— Спасибо,— сказала девушка коротко и просто и снова обернулась к Васе. Видно было, что ей ни до кого нет дела, что все это неважно по сравнению с тем, что она увозит домой своего Васю. Она тщательно застегивала ему воротник, смахивала какие-то невидимые пылинки с рукава. Взяла стоящие у стенки костыли и хозяйственно осмотрела их.

— Крепки ли?

— Не бойся, выдержат, я не такой уж тяжелый, одной ногой и одной рукой меньше,— весело, в виде шутки, сказал Вася. И девушка приняла это, как шутку. Из-за губ блеснули влажные белые зубы.

— Потом ему протезы сделают, ничего не будет заметно,— горячо уверила Раиса.

Девушка пожала плечами.

— А на что? Говорят, с протезой тяжело. У нас один еще с той войны есть в деревне, инвалид, тоже с протезой, так он говорил, что тяжело, с костылями лучше. А что заметно, так это разве стыд какой, чтоб скрывать? Вот еще! Пусть все видят, как он воевал! Правда, Вася?

Раиса снова сочла необходимым вмешаться.

— Те были старые протезы. Теперь — другое дело.

— Ну, разве что,— равнодушно согласилась девушка.— А то и костыль хорошо, правда? Походишь по саду, по дороге, привыкнешь, научишься. Здесь, конечно, трудно,— заметила она, критически оглядев паркет.

— Само собой, привыкну,— согласился он.

— Так пойдем, что ли?

Она торопилась, ей уже очень хотелось вывести своего Васю из больничных стен, взять его под свою опеку.

— Машина идет на вокзал, довезет вас,— сказала Мария сухо.

— Вот и хорошо, а то с этими пересадками, еще заблудишься, — обрадовалась Оля.

Раиса помогла Васе встать. Оля быстро подала ему костыли. Он оперся о них, и неожиданно оказался высоким и стройным.

— Ох, какой худой! — изумилась девушка.— Плохо здесь кормили, что ли? — спросила она, словно в комнате и не было сестер. Она была уже отсюда далеко, и он уже не принадлежал госпиталю, принадлежал только ей.

— Ишь какая! Сколько я здесь месяцев пролежал, шутка это, думаешь?

— Ну, ничего, уж я тебя откормлю,— заверила Оля и собрала с пола узелки. Вася подал руку Рапсе. Потом неуклюже, проковылял несколько шагов с костылем и остановился возле Марии.

— Если я вам напишу, сестрица, вы мне ответите?

Марию задел его тон. Он уже не помнит, что пережил здесь в госпитале, забыл о ночах страха и тревоги, о приступах глубокого отчаяния, которые ей приходилось успокаивать, о всех этих месяцах, когда ее призывали к нему, потому что никто не мог с ним справиться.

— Конечно, отвечу,— ответила она сухо.

Парень возился со своим костылем. Она не понимала, чего ему нужно. И вдруг он обнял ее своей единственной левой рукой и поцеловал в щеку. Тонкая прядка волос коснулась ее глаз. У нее сжалось в горле, и она погладила его по голове, как гладила раньше, много раз, когда он, еще раненый и больной, лежал, как белая запеленутая кукла.

— Счастливого пути, Вася...

Марии вдруг показалось, что вот от нее уходит нечто светлое и чистое, единственно светлое и чистое, о чем она могла вспомнить. Остановить, поймать мгновение, светлое мгновение минувшего, что пахнуло нежным ароматом прежних дней, напомнило прежнюю Марию.

Она еще раз пожала жесткую руку девушки.

— Желаю вам счастья.

Громко стучал костыль по коридору. Он еще не умел с ним обращаться, шел неуклюже, подпрыгивая, как большая, подстреленная птица.

Загудел мотор. Бывшие пациенты махали Марии руками. В окне машины еще раз мелькнул яркий платочек Оли.

Мария вернулась в дежурку. Ее щеки пылали. Она встала у окна и прижалась лицом к стеклу. Как это могло быть? Почему? Неужели она оказалась настолько хуже этой деревенской девушки? Почему та нашла в себе для встречи радостный смех, обычные спокойные слова — ни отчаяния, ни страха? В этом калеке она безошибочно узнала своего Васю, без колебаний познала и приняла его. Не философствовала по ночам, не боролась с собой, а просто явилась, и как написала Васе, так и приняла его. Ее письма были честны до конца. Она не видела надобности скрывать его увечья, она хотела, чтобы все видели, как ее Вася воевал.

Она застонала, закусив губы. Почему? Эта девушка, наверно, не стала бы произносить высоких слов о родине, об идеалах, о жертвах. Для нее тут вообще не было никакой жертвы — просто она с радостью встретила своего парня, гордилась им и, счастливая, взяла на себя роль его попечительницы. А ведь это был деревенский парень, который возвращался на землю, без руки и без ноги.

Она сжала губы и решительным движением закрыла за собой дверь. Она направилась в палату Гриши. Да, теперь надо пойти посмотреть. Уяснить себе некоторые вещи.

Но у порога силы покинули ее. Нет, она не могла еще раз смотреть на то, что произошло с Гришей. Это был не Гриша, что б она себе ни говорила, это все-таки был не Гриша. Чужой, незнакомый человек, который только тем отличался от других раненых, что их она перевязывала спокойно, с сочувствием, с глубоким стремлением принести облегчение и помощь. А этот возбуждал в ней непреодолимый страх.

*

— Профессор позволил взять тебя домой, Григорий,— сказала Мария, как всегда избегая взгляда мужа.

— Домой...— повторил он протяжно.

— Нечего тут больше сидеть,— суетилась она с искусственным оживлением.— Хватит с тебя госпиталя!

Он исподтишка наблюдал за ней, не говоря ни слова. Она собирала какие-то вещи, делая вид, что страшно занята. Только бы он не заметил, только бы не заметил...

Ведь самое страшное еще впереди, еще оживает ее. Дом. Там уже нельзя будет отговариваться работой, там нельзя будет вести себя только как с пациентом. Там уже будет дом, муж, нормальная жизнь, бдительные глаза матери, с недоверием наблюдающие ее. Там будет еще во сто раз труднее, чем до сих пор.

Ее охватывал леденящий страх. Нельзя же ответить профессору, когда он сообщил ей, что состояние больного позволяет закончить лечение дома,— ах нет, я не хочу, я прошу, умоляю, задержите его здесь как можно дольше, оттяните по возможности этот страшный момент, когда мы останемся лицом к лицу дома, в нашей комнате, где мы прожили счастливые годы любви.

Пришлось преодолеть этот страх, улыбнуться и еще раз обмануть этого наивного старика, который так радовался, что здоровье Григория улучшилось.

Разумеется, мать не выдержала и рассказала соседям. Или, может, они сами догадались, сами ждали? В окнах мелькали лица, двери на лестницу приоткрывались. Триумфальное шествие, введение в дом на глазах десятков людей калеки, который был когда-то Григорием и по

этой самой лестнице, перескакивая через три ступеньки, как буря слетал вниз и возвращался домой.

Первый этаж, второй, словно путь на Голгофу. И, наконец, есть дверь, которую можно закрыть за собой, чтобы отгородиться от любопытных, от сочувствующих людских взглядов.

Комната. Широкая тахта.

Лицо Григория бледнеет от волнения. Ведь это их комната, комната их счастья. Он касается рукой письменного стола, переставляет на нем фотографию Марии. Берет свою фотографию в серебряной рамке, фотографию Григория, которого уже нет. «Нужно было ее спрятать,— думает Мария,— но теперь уже поздно...»

Мать суетится, всхлипывает, но это слезы радости. Она подходит к Григорию и робко, осторожно гладит его по плечу. Для нее Григорий — все тот же Григорий, и, как всегда, ей нет дела до того, что происходит с дочерью.

Санитары прощаются и уходят. Уходит Воронцов, который, конечно, счел необходимым присутствовать при всем этом. Мария пытается удержать его. Но Воронцов, как всегда, ничего не понимает. Мария отчаянно цепляется за мать, задает ей какие-то бессмысленные вопросы, не слушает ответов. Она вся внутренне дрожит.

И вот чай выпит. Стрелки часов молниеносно бегут вперед, старушка целует Григория, прощаясь с ним на ночь. Мария вскакивает в испуге. Без надобности снимает со стола скатерть, тщательно складывает ее. Что же дальше, что дальше?

Григорий тихо говорит:

— Ты бы, Мария, передвинула для себя диванчик из той комнаты.

Мария не смотрит на него. Под изумленным взглядом матери она передвигает диван в комнату, где для него даже и места нет, он торчит по середине как непрошенный гость.

— Я устал,— говорит Григорий,— прости, но я сейчас лягу.

Григорий ложится, тихо говорит: «Спокойной ночи» — и отворачивается к стене.

И Мария одна легла спать. Но сон не идет. Сердце заливает мучительный стыд. Чего она боялась? Она почувствовала себя такой маленькой и жалкой. В этот момент не он был калекой — увечным, загрязненным и недостойным было ее сердце.

*

На сквере было грязно,— крупные капли дождя падали с ветвей, голых и серых. Мария шла, глядя на широко разлившиеся лужи. Они вышли к реке. Лед еще не растаял, он почти не отличался от грязи, на сквере его истоптали во всех направлениях узкими тропинками ноги прохожих, на нем лежали сажа, сухие листья.

Она облокотилась на каменную балюстраду. Когда-то здесь текла вода, живая, сверкающая, подвижная, торопящаяся в свой далекий путь. Когда-то здесь проплывали лодки, полные смеющейся молодежью, дышал сильной грудью пароход, распарывал сверкающую поверхность. Когда-то в зеркале воды отражалось небо с плывущими в нем облаками и юная, улыбающаяся зелень деревьев. Теперь не было ничего. Мертвая, грязная поверхность истоптанного льда.

Воронцов кашлянул. Она обернулась к нему. Он смотрел на нее неуверенным, смущенным взглядом. Он проглотил слюну, она видела, как вздрогнула его шея и как при этом беспомощно и глупо зашевелились его маленькие усики. Ему не легко было сказать, для чего он просил ее об этой встрече.

Она могла бы помочь ему, но не хотела.

Она плотнее застегнула воротник пальто. От замерзшего русла реки тянуло холодом. Она глядела вперед на грязный лед, на застывшую кору, на безнадежную серость.

— Я не могу смотреть на все это... Мария. Ты знаешь, я люблю тебя. Любил еще раньше, чем ты вышла замуж за Григория.

— На курсах? — деловито удивилась она, равнодушно, как будто речь шла не о ней.

— Да, на курсах... Ты не замечала этого или не хотела замечать...

— Я не знала,— сказала она спокойно.— И если бы даже знала...

— Да, да, ты хочешь сказать, что это тоже ничего бы не изменило,— прервал он с необычным для него раздражением.— Ты можешь не говорить мне этого, я это прекрасно знаю... Но видишь ли... С тех пор это и продолжается. Ты вышла за Гришу,—ну, ладно. Я примирился с судьбой, ты же видела, что я не добивался твоего расположения, не пытался соперничать с Григорием... Я вел себя, как друг, не правда ли, Мария?

— Да, согласилась она, глядя за реку на серые дома, возвышающиеся напротив. Окна, окна без конца... За каждым окном кто-то живет, за каждым окном таится человеческая жизнь, человеческая жизнь смотрит на замерзшую реку в серый, туманный день, сквозь мутные стекла.

— А потом...—голос Воронцова дрогнул.— Потом я думал... Мне казалось, что я стал тебе нужен. Тебе никогда не было со мной скучно, так мне казалось... У нас было столько общих интересов, столько общих дел... Я думал, все образуется и случится то, что не случилось тогда, когда я познакомился с тобой...

Она, не слушая, кивала головой. Все было как во сне, как в мягком, густом тумане. Нереальны были слова, события, предметы. Да, ведь она уже давно живет как во сне, тяжком, удушающем, сером сне...

— А теперь я все смотрю... И больше не могу выдержать. Ты мучишься, гибнешь на глазах, стала другим человеком...

Значит, и он уже это знает, значит, и он видит, что она стала кем-то другим, что уже нет прежней Марии...

— Я понимаю, можно жертвовать собой, если любишь... Хотя, даже в таких случаях самопожертвование не всегда дает хорошие результаты — для обеих сторон... Но тут—ведь я вижу, Мария, что ты его уже не любишь, ты не можешь его любить...

Она молчала. Серая река, серые дома, серый день. Чего же он так волнуется, чего он так мучится, этот Воронцов? И ведь еще совсем недавно он говорил другое. Есть что-то омерзительное в том, что он говорит, и во всей этой его муке. И, наконец, что стоят в мире страдания и муки? Что в мире имеет какую-либо ценность? И он считает возможным с подобной мерзостью обращаться к ней? Впрочем, какое право она имеет требовать другого отношения?

— Да, да, не отрицай, ты уже не любишь его.

Зачем он это говорит? Она ведь и не отрицала. Ей все казалось, что звуки его слов доносятся откуда-то издалека, из-за густого, серого тумана, что они, собственно говоря, обращены не к ней и плывут мимо нее, как эта невидимая подо льдом вода, иссякающая, журчащая по илистому дну.

— Не только не любишь. Не сердись за то, что я скажу, но ведь это ясно, ты к нему испытываешь отвращение, страх. Я же вижу, понимаю. Нет смысла... Ведь и Григорий не может не чувствовать, не понимать этого. Что же ты даешь ему? Уход? Но это может делать любая сестра, не будучи его женой, и вдобавок без отвращения...

Да, верно... Она впервые осознала, что действительно Воронцов прав. Он, наверно, уже почувствовал, заметил. Как странно, ведь она ни разу не подумала о том, что это не могло укрыться от Григория...

— Ты сама несчастна, и ему не принесешь счастья. Ты думаешь, легко это, когда человек, который раньше тебя любил, сейчас испытывает к тебе отвращение? Нет, Мария, ты не имеешь права делать этого, не имеешь права губить свою жизнь... Во имя чего? Вы будете заедать самих себя... Теперь я понимаю, как он был прав, не желая возвращаться, хотя и мне это показалось тогда нелепым...

Нет, это не вода шумела подо льдом, это говорил Воронцов. Мария пыталась прорвать завесу серого тумана, как-то яснее услышать его слова, ответить, что-то сделать. Но она стояла молчаливая и неподвижная, уставившись на след чьей-то ноги, ясно отпечатавшийся на засыпанной сажей поверхности грязного льда. Кто это прошел здесь, оставил такой четкий и прочный отпечаток своих шагов? Счастливый человек? Или кто-то, несущий бремя непосильного горя? Не прочнее ли человеческого счастья, человеческой жизни, человеческих планов этот след?

— Ты не имеешь права ставить крест над своей жизнью. Ты молодая, сильная, способная. Перед тобой еще много переживаний и много дел. Из тебя ничего не выйдет, если ты прикуешь себя к этому человеку...

Да, когда-то она была молода. Ей казалось тогда, что этой молодости не будет конца и края, что ею можно одарить весь мир. Что эта молодость никогда не кончится, потому что, чем щедрее ее разбрасываешь, тем богаче она расцветает. Сила — да, была крылатая сила, которая несла ее сквозь жизнь и тоже казалась неисчерпаемой. Это она помогала переносить раненых с койки на койку, позволяла дежурить, не утомляя даже глаз, по сорок восемь часов, когда стали прибывать первые транспорты раненых. Но теперь она ушла, покинула ее. Словно воздух вышел из цветного шарика. Плывет, переливается яркими красками цветной воздушный шарик. За ним бегут детские ножки, радостно хлопают детские ручонки. С улыбкой смотрят взрослые, как летит вверх шарик, радужная мечта, мыльный пузырь, в котором отражается солнце. Но вот лопнула оболочка, и на земле лежит грязная сморщенная тряпочка, без красок, без блеска, никому ненужный лоскуток. Такой была ее молодость, такой была ее сила,— как цветной шарик, который живет несколько часов...

— Ты слушаешь, Мария?

Она кивнула головой. Конечно, она слышала его слова, упрямо, непрестанно просачивающиеся из-за завесы серого тумана.

— Ты должна, ты обязана жить жизнью нормального, здорового человека. Я люблю тебя, слышишь, Мария? Я люблю тебя...

— Но я ведь не люблю тебя, Виктор,—сказала она медленно, ясно, продолжая рассматривать отпечаток неизвестной ноги на грязном льду.

— Я знаю, Мария... Я не требую этого от тебя сейчас... Поезжай со мной, мы уедем отсюда, я могу перевестись в другое место... Мы поедем далеко, ты увидишь горы, вздохнешь другим воздухом... Там уже скоро зацветут фруктовые деревья... Ты увидишь сады, розы... Забудешь обо всем, постепенно забудешь... И ведь... я тебе не противен... Я думаю, ты ко мне немного привязалась за все это время... Ты знаешь меня, знаешь, какой я. Я люблю тебя, Мария, и постараюсь, чтобы

тебе было со мной хорошо, так хорошо, как только может быть. Я постараюсь...

Темный дым шел из трубы напротив, ветер сбивал его вниз, сталкивал на крыши домов. Дым расползался, темными клубами наполнял улицу. Глаза безучастно следили за его движениями, за его темной волной, переливающейся через края трубы, за все новыми и новыми клубами. Ей показалось, что она ощущает странный запах этого дыма — ах, да, он похож на запах гари в Березовке...

— Поедем, слышишь, Мария? Поедем с тобой вдвоем, начнем сызнова, новую жизнь. Будем вместе работать, ты ведь умеешь, любишь работать. Будем вместе читать, учиться... Ты отдохнешь...

— А Григорий? — спросила она тихо.

— Я понимаю тебя, Мария. Но ты сама знаешь, ты же сама чувствуешь... Ему ничуть не легче от того, что ты с ним. Он не будет в обиде... Он же видит, понимает, что с тобой делается! И ведь он сам хотел... Подумай, если бы не эта Соня, все было бы иначе...

Ну да, ясно, тогда было бы иначе. И вдруг каким-то образом серый туман разорвался, и сквозь узкую щель она увидела: Григория нет в живых. Он погиб где-то далеко, далеко. Она его больше никогда не увидит. Поездка в Березовку... Одинокие часы... Нет Григория, его уже больше никогда не будет...

Мария почувствовала внезапный, острый страх перед этой мыслью. Растаяли, исчезли все те дни, которые наступили потом,— телеграмма, сообщение, приезд Григория. Она запуталась.

— Что с тобой, Мария? — забеспокоился он.

— Ничего, ничего...

Но ведь Григория привезли, Григорий теперь дома, а она стоит у реки с Воронцовым. То все прошло, миновало.

— Мария, ответь же мне, наконец, что ты думаешь? Почему ты молчишь?

Завеса тумана надвинулась снова. След на льду, ясный отпечаток ноги. Черная сажа осыпалась по краям и еще отчетливее обрисовывает углубление. Чего, собственно, надо от нее Воронцову? Ей захотелось остаться одной, чтобы никто не говорил, не торопил, не смотрел. Один на один с этим отпечатком на льду, отпечатком ноги неизвестного человека, который шел неизвестно откуда и неизвестно куда направлялся... Ведь сейчас что-то произошло, мелькнуло, непонятное и неуловимое, и надо как-то выкарабкаться из этого густого серого тумана и что-то понять, что-то решить.

— Я долго ждал, Мария... Я думал... Я все взвесил... Я думал о тебе, о себе, о Григории... Долго боролся с собой... Спрашивал себя, не подлость ли это... Но верь мне, я честно пришел к убеждению, что так будет лучше всего... Может быть, сейчас тебе кажется, что ты не должна этого делать. Но я знаю, что чем дальше, тем хуже будет, тем тяжелее вам обоим... Мария, я не сказал тебе всего, я уже давно хлопочу о переводе... Я могу уехать, когда захочу, и ты со мной, все устроено...

— Я?

— Да... Я говорил с директором, он не будет возражать... Тебе остается только уложить чемодан — и все.

— Уложить чемодан...

— Ну да. Ты меня не слушаешь?

— Нет... Я слушаю...

— Так как же, Мария?

— Как? — повторила она бессознательно. След, след на снегу...

Воронцов взял ее под руку.

— Иначе быть не может, Мария. Мы уедем вдвоем, начнем новую жизнь. Да?

Она машинально кивала головой, упрямо глядя в одну точку — след на льду. Осталось уложить чемодан... Цветут цветы... Да, там в Грузии тепло уже... С Воронцовым, конечно, с Воронцовым...

— Рано или поздно, тебе все равно пришлось бы решиться, Мария, так зачем тянуть, откладывать? Мы мучимся все трое, а так...

Она машинально утвердительно кивала головой. Серый туман колебался, клубился, вырастал серой стеной, слова падали в него, как в пух, моментально теряя цвет и звук.

Воронцов оглянулся. Кругом никого не было, моросил дождь. Он поднес к губам руку Марии и поцеловал ее.

*

Высокая, стройная женщина остановила Марию в коридоре:

— Как пройти в кабинет директора?

— Я вас провожу,— предложила Мария и пошла вперед. Каблуки незнакомки мерно постукивали по паркету. Она поравнялась с Марией. Бледный профиль изящно вырисовывался на фоне спущенных полей черной шляпы. От нее пахло духами. «Что это за духи?» — машинально подумала Мария. Незнакомка шла медленно, но на ее бледном лице видно было какое-то беспокойное ожидание, не гармонирующее с ее безукоризненным туалетом, с черным, прекрасно сшитым платьем, с этой необычной шляпой.

— Сюда, пожалуйста.

Мария постучала и открыла перед ней дверь.

— Вот хорошо, что вы зашли, Мария Павловна,— сказал директор, и Мария осталась в комнате.

Высокая женщина подала директору узкую белую руку.

— Я приехала... Я ищу своего мужа... Оказывается, он должен быть здесь, у вас...—едва слышно сказала она прерывающимся голосом.

Директор рассеянно рассматривал ее. Видимо, он думал о другом.

— У нас? А как фамилия?

— Анохин... Полковник Анохин... Илья Александрович...

Мария торопливо рылась в памяти. Полковник Анохин... Ах, ну, конечно...

— Сейчас посмотрим, — сказал директор и потянулся к большой книге, лежащей перед ним на письменном столе. Мария за спиной женщины отчаянно замахала руками. Директор поглядел на нее с удивлением. Полковница нервно оглянулась.

— Вы что, сестра? Вы его знаете?

Полковник Анохин... Это он умирал, когда пришло извещение о мнимой смерти Григория. Ранение в живот... Он умирал так долго, так страшно мучился.

— Я уезжала, то есть у меня некоторое время не было постоянного адреса, поэтому... Только сейчас я получила известие, что его перевезли сюда, но это старое сообщение, так что он уже, вероятно... Куда он ранен? — спросила она и вытерла губы батистовым платочком с кружевами.

— Сейчас посмотрим. — смущенно бормотал директор, медленно перелистывая книгу. Страницы слипались в его пальцах, он дул в них.

— Анохин... Анохин... Когда, вы говорите, его перевезли сюда?

— Еще в ноябре, — вырвалось у Марии, и она тотчас прикусила губы, но было уже поздно.

— Вы его знаете, сестра, вы помните моего мужа? — спросила женщина и вскочила со стула. Мария увидела ее бледные, почти прозрачные глаза и нервную дрожь, которая едва заметно, но быстро, быстро, как биение пульса, подергивала веко левого глаза.

Директор перестал перелистывать книгу списков и выжидательно, с виноватым видом смотрел на Марию.

— Ну да... Полковник Анохин... — прошептала она. Высокая женщина подошла к ней.

— Скажите, умоляю вас, скажите скорее, что с моим мужем?

Голос ее срывался на ломкие ноты. Мария не могла отвести взгляда от ее странных бледных глаз.

— Не волнуйтесь, прошу вас сядьте, сейчас посмотрим, — вмешался директор. Она послушалась и села.

— Полковник Анохин... Что делать... Полковник Анохин умер у нас в госпитале пятого декабря...

— Что?

— Умер... Тяжелое ранение в живот, спасти было невозможно. Странно, что извещение...

— Меня же не было дома в это время,—начала было объяснять женщина и снова вытерла платочком совершенно сухие губы. Ее пальцы, почти прозрачные, слегка дрожали. Она наклонила голову и снова устремила на Марию бледные глаза.

— Вы, может, ухаживали за моим мужем, сестра?

Женщина пыталась говорить в тоне непринужденного разговора, не подходившем к тому, о чем говорилось. Мария внутренне съежилась в ожидании чего-то неизвестного.

— Да...

— Вы были при том... при том, как он умирал?

Мария наклонила голову.

— Да...

— А вы помните, сестра... Правда, ведь это сравнительно давно... А здесь, наверно, умирает много людей, наверно, много, да?

— Процент выздоровлений...— начал было директор, но она прервала его, махнув прозрачной рукой.

— Тут ведь не в этом дело... Значит, вы помните? Пожалуйста, смотрите на меня, сестра, — сказала она повелительным тоном, и Мария, как загипнотизированная, взглянула в эти жутковатые бледные глаза.

— Помню...

— Как это было? Вспомните, я хочу знать, я должна точно знать все.

Под повелительным взглядом бледных глаз Мария послушно припоминала, как ученица, отвечающая в классе урок:

— Меня позвали... Сказали, что раненый из седьмой палаты умирает... То есть как раз полковник Анохин...

— Ага, седьмой палаты, — повторила полковница, будто стараясь запомнить. — И что же?

— Ну, я пошла наверх...

— Да... И он действительно уже умирал?

— Да...

— И что? И что?

— Я поправила ему одеяло и переменила лед на голове...

— Лед на голове... А он ведь был ранен в живот, правда?

— Да, в живот... Лед, потому что температура...

— Понимаю... Он говорил что-нибудь? Говорил?

Мария вспоминала. Женщина встала, не сводя с нее глаз.

— Пожалуйста, вспомните хорошенько. Это важно, это очень важно.

— Да. Он спрашивал.

Бледное лицо застыло в нервном ожидании.

— О чем спрашивал?

Это был свистящий, сдавленный шопот. Пальцы стиснули ручку стула с такой силой, что косточки побелели под тонкой кожей.

— Он спрашивал... Какая сводка... Потому что как раз...

— Что?

— Он спрашивал про последнюю сводку, потому что радио...

Женщина наклонилась вперед, словно хотела броситься на Марию.

— И о чем, о чем еще?

— И больше ничего. Я сказала ему, и потом он... потом он умер.

— Письмо?

— Какое письмо? — изумилась Мария.

— Должен же он был оставить письмо... Должно же быть письмо... Письмо мне... Раз он ничего не сказал...

— Никакого письма нет... Он же не мог писать...

— Ах да... Значит, вы утверждаете, что письма нет и что он спрашивал только про сводку?

— Да...

Женщина откинула голову на спинку стула.

— Сводка... Сводка...

Истерические рыдания прорезали воздух. Женщина давилась, захлебывалась этим единственным словом: «Сводка».

Директор подбежал к ней. Она с неожиданной силой отголкнула его. Хрупкое тело рухнуло во весь рост на пол. Мария бросилась поддержать ей голову. Бледные глаза закатились под веки, заблестела голубоватая белизна белков. Сотрясаемое дрожью тело колотилось о паркет, из сухих губ вырывался крик, в котором рвалось на клочки слово «сводка».

А потом:

— Умер, умер, умер.

Прибежал еще один врач, сестры. Мария вышла. Она бежала по коридору, подгоняемая страшным, звериным воем: «Умер! умер! умер!»

Что же случилось между ними — между полковником Анохиным, который умирал, думая о последней сводке, и этой бледной женщиной? То не было отчаяние жены после смерти мужа. Здесь было что-то большее — смерть разрубила какой-то трагический узел или, вернее, навсегда обрубила возможность его распутать. Какую тайну скрывали бледные глаза, какую тайну унес с собой в могилу полковник Анохин? Что она хотела узнать, о чем должен был ей сказать муж перед смертью, чего она ждала, и не дождется уже никогда, потому что он умер?

Вдруг, как при ослепительном свете молнии, как при ударе грома и грохоте валящихся огромных стен, она почувствовала, увидела, услышала неслыханную истину: Григорий жив!

Это было не то, что там над рекой в разговоре с Воронцовым. Завеса с треском разорвалась, в глаза ударил ослепительный свет. Свет гремел, звенел, кричал тысячами голосов: «Григорий жив!»

И снова чудовищный страх — а если уже поздно? А если он умрет как раз теперь, прежде чем она успеет добежать до дому, и уже никогда не будут сказаны слова, которые должны быть высказаны, и он унесет с собой то, что было до сих пор, и даже не узнает, что она...

Скорей, скорей! Она забыла обо всем. Не надев пальто, она выбежала на улицу, не отвечая швейцару, который спросил ее о чем-то. «Скорей!» — кричала улица. «Торопись!» — звенели трамваи. «Скорей, скорей», — подгоняло сердце, бьющее в набат. Чтобы не опоздать, чтобы не опоздать!

И в этом несущемся вперед вихре затерялся доносящийся сверху голос, ужасающий, нечеловеческий вой бледной женщины: «Умер! умер! умер!»

❄

Через две, через три ступеньки. Ее подгоняет, несет, как на крыльях, невероятная радость и страх, как бы не оказалось слишком поздно. Ключ, ключ в сумочке! Она не могла найти его, дрожащие пальцы путались в бумажках, в помятых рублях, в [illegible] платочке. Нет, вот он. Трудно было попасть в скважину. Григорий не погиб, официальное извещение было ошибкой. Напрасно были пережиты эти жестокие, безнадежные дни, когда думалось, что его уже нет, что его уже никогда, никогда не увидят ее глаза, что никогда, никогда не коснется рука его руки, что никогда, никогда она не услышит его голоса...

С плеч внезапно свалилась непосильная тяжесть, исчез злой кошмар, столько времени державший ее в косматых лапах. Григорий жив — Григорий жив...

Если — если — если, великий боже, если не поздно... Не вынув ключ из замка, она пробежала коридор и ворвалась в комнату. Он был здесь. Живой. Сидел за столиком под окном и с трудом чертил что-то своей единственной левой рукой.

Было что-то детски беспомощное, детски жалобное во всей его фигуре, в том усилии, какое он вкладывал в свою работу, еще не привыкнув к своему увечью. Волна беспредельной нежности нахлынула на Марию. Она обнимала ребенка, беззащитного, несчастного ребенка. Теперь она увидела еще новый облик своей любви. Это был уже не только муж, любовник, товарищ,— это было единственное, любимое

дитя, которое нуждалось в ее покровительстве, помощи, в ее нежной заботе. Незнакомое ей прежде тепло залило ее сердце.

— Гриша!

Она бросилась к нему, упала на колени, обхватила его руками. Он был тут, тут ее Гриша. Она чувствовала близко, близко тепло его тела. Она захлебнулась счастьем.

— Марийка, — сказал он не своим, напряженным голосом. Она почувствовала на волосах его руку. Взглянула счастливыми глазами. Да, да, это был ее Гриша. Лицо ее Гриши, смятое злой рукой войны, глаз, который обожгло пламя вражеского снаряда, вдавленный вглубь. Швы, шрамы, рубцы. Впервые она смотрела на них вблизи. И увидела их теперь иначе. Нет, неправда, что были дни, когда из-за этих шрамов и рубцов она не увидела своего Гриши, своей любви, своего счастья, своего единственного человека. Радость горела высоким, высоким пламенем. Он существует, он живой, можно прижаться к нему, почувствовать его руку на волосах, можно услышать, как громко бьется его сердце...

— Марийка, — повторил он еще раз. И Мария увидела, как в его глазах стоят слезы.

Она встала. Обхватила руками любимую голову и прижала ее к груди.

— Гриша, Гриша, Гриша, — повторяла она. Вот она разыскала его после долгого пути: Вот она выходит из мрака в солнечную лазурную долину. Целый мир держала она в объятиях, целый мир. Рассеялся хмурый сон. Бесследно исчез кошмарный сон. И вот она явь — живой Гриша. Она прижалась губами к светлым волосам. Какие мягкие, какие тонкие у Гриши волосы, какой знакомый запах...

— Ты жив! жив! жив! — шопотом повторяла она, захлебываясь своей внезапной, счастливой радостью. Она не опоздала, ничто не пропало, ничего не перечеркнули ледяные пальцы смерти...

— Ты жив! жив! жив!

Она присела на ручку кресла, прижалась к мужу. Ей не хотелось ни на минуту выпустить его из объятий, найденного, возвращенного издалека, живого, собственного, самого близкого человека на земле.

Он обнял ее, но теперь ее сердце не дрогнуло при мысли, что другой руки нет. Ведь есть ее руки, молодые, здоровые, сильные руки. И его рука — все та же, загоревшая, большая, мужская рука.

— Гриша, Гриша, Гриша...

Она покачивалась в такт этим словам, качая и его, как мать качает на руках дитя. Он был с ней, ее дитя, ее любовник, муж, весь мир — в ее объятиях.

Губы коснулись высокого лба, темных бровей, ясных глаз Гриши, его губ. Из глаз лились слезы — чьи это были слезы, ее или Григория? Они текли вместе, смешивались, и на губах вкус их был солон и сладок. Они смеялись сквозь эти льющиеся слезы, смеялись из уст в уста тихим счастливым смехом.

Нет, он ни о чем не спрашивал. Тут не нужны были никакие объяснения. Они снова были, как прежде, — сердце к сердцу, глаза, утонувшие в глазах, глаза, понимающие все без слов.

Текли секунды, минуты, часы. Вдруг взгляд ее упал на циферблат часов. Она вскочила.

— Боже, как поздно! Я тебя уморю голодом! Гриша, устроим бал, я вчера получила бутылку вина. Приглашаю тебя к себе!

— Принимаю приглашение! — склонил он голову в шутливом поклоне.

Сколько раз бывало прежде—свободный вечер, планы, куда бы пойти. В театр? Наверно, уже нет билетов. В кино? К знакомым? И наконец: «Знаешь, лучше всего устроим сами себе прием».

И все как к приему гостей: чистая скатерть и самые лучшие тарелочки и единственный хрустальный бокал для папирос, две рюмки: «Твое здоровье, Мария, твое здоровье, Гриша...»

И потом еще долго вспоминали: помнишь, как мы тогда поздно легли, сколько времени проболтали?

Мария засуетилась. Белая вышитая скатерть. Ничего, если она уже кое-где заштопана. Два стаканчика. Сыр и консервы, бутылка вина.

— Где это штопор? Открой, Гриша, — сказала она неосторожно, ставя на стол бутылку, и споткнулась.

Но Григорий лихо тряхнул волосами.

— Есть открыть бутылку!

Он зажал бутылку коленями, взял левой рукой штопор, и через минуту бутылка была открыта.

— Прошу покорно...

— Ах, какой воспитанный, — рассмеялась она.

Григорий наливал вино, она придвинула стулья.

— Прошу сесть напротив, чин-чином.

— Нет, нет, я хочу тут, рядом...

Почувствовать тепло его плеча. Быть вплотную к нему, близко, близко. Чтобы ничто не отделяло, не отделяло их друг от друга, чтобы ничто не стояло между ними.

— Твое здоровье, Марийка...

— Твое здоровье, Гриша...

Вино было терпкое и пахло далеким солнцем, виноградом с холмов под светлым и чистым небом. Солнце? Что это там говорил Воронцов? Собственно, он сказал только одно, что если бы не Соня...

— Ты жив, жив, жив! — запела она вдруг высокой, водопадом льющейся трелью.

— Вот так открытие!

Она улыбнулась, потерлась щекой о его ще-

ку. Это смешно, но ведь она только сегодня поняла, что он жив. Все счастье этого слова, весь его радостный, победоносный смысл.

— Твое здоровье, Гриша...

— За победу, Маруся...

— За победу...

Стаканчики зазвенели, как настоящий хрусталь. Вино было терпкое и пахло виноградом с далеких холмов, бодрящим, радостным запахом.

— Спой, Гриша...

Она закрыла глаза. Песенка Гриши, та самая песенка. В широкую степь, на простор родной страны вышел молодой парень, Гриша. Ветер развевает его светлые волосы, ветер несет крылатую мелодию. По степи идет молодой парень, Гриша. Он широко распростер руки. На славное дело идет Гриша, и чистый ветер дует ему в лицо.

Голос Гриши, его голос. Нет, никто не пел эту песню так, как он. И там, в Березовке, и потом, и в мыслях, когда она была одинока и слышала голос Гриши, поющий где-то тут, вблизи, а быть может, только в ее сердце...

Вот оно, счастье, суровое и правдивое, глубочайшее счастье любви. Вот он, ее Гриша, тот же, что в Березовке, тот же, что под яблонью, возвращается к ней с далеких путей войны, и она должна помочь ему, поддержать его в борьбе, которую он повел со своим увечьем, в том, который он решил продолжать своей единственной левой рукой...

Что же это был за дикий и невероятный кошмар в течение последнего месяца? А может, это лишь снилось — дурной сон?

— Марийка...

— Что, милый?

— Прости меня...

Она испугалась.

— Что такое, милый?

— Там, тогда... Видишь ли, мне показалось...

Она поняла.

— Ничего, ничего... Не нужно, хорошо так, как есть... Ах, как хорошо...

Да, да, он усомнился в ней, хотел уйти, бежать, хотел скрыться, оставить ее одну, хотел быть для нее мертвым. Не эта ли минута его сомнения породила в ней то зло, не его ли сомнение бросило в ее душу черное зерно, которое разрасталось злой травой и душило, затемняло жизнь. Кто первый виноват и кто дал начало? Кто первый согрешил против жизни, против меры, против любви? Теперь, впрочем, это было неважно, теперь все было хорошо — она и Гриша, Гриша и она — беспредельное счастье...

— Спой, Гриша.

Его беспощадно изуродовала рука войны. Но ведь ничто же не изменилось — это был он, ее Гриша. Она находила его голос, и его улыбку, и его взгляд. Вокруг собрались все минувшие дни, связавшие их друг с другом, большие и маленькие радости, мимолетные печали и печали глубокие. Нет, этого не могли вычеркнуть, стереть, изменить вражеские штыки, вражеские удары. Гриша был Гришей, и так уж будет всегда до конца жизни.

Но теперь слово «конец» было пустым, бессодержательным, не имело никакого значения, теперь было начало жизни, ее светлое утро, восходящий день, юный и радостный.

— Гриша, Гриша, Гриша...

— Марийка...

Да, это был лишь злой, невероятный сон. Одну минуту она хотела вызвать в памяти то, что почувствовала, увидев его в тот день, понять, как это могло случиться. Но увидела только знакомое, такое знакомое лицо, любимые черты, которые она столько раз целовала. Рубцы, шрамы, это было нечто внешнее, нечто несущественное. Гриша остался Гришей, и этого ничто не в состоянии было изменить. Ни его голоса, ни его улыбки, ни всего того, что было в нем самое существенное, что было действительно им.

Григорий был как родная земля, изуродованная рукой врага. Родные города зияли ужасающими ранами, страшными шрамами. Родная земля была попрана ногами захватчиков, железными гвоздями их сапог. Черные шрамы ожогов уродовали города и деревни, стройные здания фабрик и заводов были вдавлены в землю, перестали существовать поселки, на земле лежали искалеченные леса. И в сто раз более любимой стала сейчас родная земля, в сто раз больше хотелось отдать ей все силы, чтобы залечить ее раны, чтобы вернуть ее к прежней жизни, чтобы она снова расцвела улыбкой под ласковым солнцем свободы.

— Плохо было без тебя, Маруся, ох, как плохо, — сказал он ласково.

И она знала, что он говорит не о том времени, когда они были разлучены, когда они были вдали друг от друга, а именно о том периоде, когда они встретились вновь, о дурных днях в госпитале и здесь, дома.

— Тихо, тихо, я с тобой, слышишь, всегда, всегда буду с тобой, — шептала она ему на ухо, словно поверяя величайшую тайну. — И ты будешь со мной всегда, всегда, правда?

— Всегда, любимая...

— И не уйдешь, никогда не уйдешь от меня?

— Милая моя.

За окном смеркался день. Зажигались затемненные фонари на улицах. Отсюда ясно были видны очертания моста и там, за ним, высокие стены Кремля.

Теперь она находила в себе слова, которые

таким трудом искала раньше, в госпитале. Она думала: «Все страшное, что ты пережил, я заслоню от твоих глаз. Я снова научу тебя улыбаться, снова разбужу в тебе радость жизни, которая кипела в тебе. Уберу каждый камень с твоего пути, замечу каждое препятствие и во-время преодолею его. Я подложу к твоей руке все, что тебе понадобится, чтобы ты не почувствовал отсутствия другой руки. Я буду глядеть на тебя такими восхищенными глазами, что никто не подумает, будто шрамы и рубцы уродуют тебя».

Но теперь всего этого уже не нужно было говорить. Теперь — все это уже было известно без слов — известно и ей и ему до глубины сердца.

Григорий вдруг вскочил.

— Включи радио, скорей включи радио!

Она воткнула в розетку штепсель. Разумеется, Григорий не ошибся и на этот раз. В черном диске что-то шумело и булькало, словно где-то поблизости кипела вода. А потом, сладостно, захватывающе зазвучал сигнал:

Широка страна моя родная...

Серебристые, стеклянные, ясные звуки. Это уже не был мотив песни. Это ласковым, мягким голосом говорила мать-родина. Чаяния миллионов, и радость миллионов, и счастье миллионов было в этих звуках.

А Григорий знал, Григорий чувствовал. Словно он был тайными нитями связан с тем, что происходило там, далеко. Он мог иногда спать крепким сном и просыпался с криком: «Включи радио, включи радио!» И темный диск сладостно, мелодично оповещал:

Широка страна моя родная...

Он бывал очень занят чем-нибудь и вдруг бросал все и просил: радио, скорей радио...

Он никогда не ошибался. Он смотрел на пурпурные, золотистые, зеленые звезды ракет, рассыпающиеся по небу, и говорил уверенно:

— Сегодня будет еще один салют.

И не ошибался. Словно он был физически связан с далекими фронтами, с операциями армий, с родной землей, тот или иной участок которой вырывали из рук врага.

Широка страна моя родная...

В прихожей прозвучал звонок. Мария поспешно выбежала. В дверях стоял Воронцов. Она отступила, словно ее толкнули в грудь.

— Добрый вечер, Мария...

Она не приглашала его дальше, стояла в дверях, испуганно глядя ему в лицо.

— Поезд отходит завтра в десять утра. Будь готова, я заеду за тобой около девяти, по пути на вокзал.

Она побледнела. Хотела сразу ответить, но голос отказался служить.

— Билеты, командировка, все уже устроено.

Мария успокоилась. Тихо, но отчетливо, старательно выговаривая каждый слог, она сказала:

— Виктор, я никуда не поеду.

Он не понял.

— В пятницу мы будем на месте.

— Я никуда не поеду,— повторила она.— Не сердись, я...

— Мария, что случилось? Еще вчера... Ведь все было условлено? Мария!

Она наклонила голову.

— Нет, нет, Виктор, мы ошибались...

Он схватил ее за руку.

— Что ты говоришь? Кто же тут ошибался? Я? Нет, я люблю тебя, ты прекрасно об этом знаешь, давно люблю... А ты... Ты же мне ясно сказала...

— Я ошиблась, — повторила она.

— Как ошиблась? Ты сказала, что не любишь меня, какая же тут может быть ошибка?

В комнате громко раздавался голос диктора, читающего приказ. Она прислушалась, желая узнать, какой город.

— Мария, почему ты не отвечаешь?

Она опомнилась.

— Да, конечно, я сказала, что не люблю тебя, но согласна с тобой уехать...

— Вот видишь!

— Но я ошиблась...

— Слушай, не доводи меня до сумасшествия! Что случилось?

— Ничего, просто я не знала одной вещи...

— Какой вещи?

— Что я... Что я...

— Ради бога, Мария, скажи же, наконец, в чем дело!

Она посмотрела поверх головы Воронцова на дверь. Глубоко набрала в легкие воздуху.

— Потому что я... люблю Григория.

Он рванулся к ней:

— Мария, что ты!

А к ней в этот момент вернулось спокойствие. Она почувствовала — в сердце высоким ровным пламенем горит счастье. То пламя, которое давало ей силу и радость в тяжелые дни. То пламя, которое давало силу правды ее словам, позволяло спасать людей, выводить их из мрака отчаяния. И вот снова с ней — ее сила, ее воля, ее вдохновение.

— Ты хочешь остаться с ним? — спросил он мертвым, глухим голосом.

— Да, я хочу остаться с ним, — повторила она точно текст присяги.

— Такая жертва, Мария...

Она прервала его:

— Ты ошибаешься, это не жертва, Виктор.

— А что же это, по-твоему?

— Просто... Просто любовь, — сказала она тихо, отчетливо. Воронцов вздрогнул. Голос ее был звучен, полон музыки. Он взглянул на нее, словно увидел ее впервые. Она стояла перед

ним в ореоле светлых-светлых волос, в золотистом облачке, пронизанном светом. Спокойное лицо — прозрачные, безмятежные глаза, смотрящие прямо в его глаза. Он изумился. Перед ним стояла прежняя Мария, Мария, какой она была до ложного сообщения о смерти Григория. Это была та Мария, которую он помнил со времени ее счастливых дней, когда она была вместе с Григорием.

Исчезли тени у губ и под глазами, словно кто-то одним движением стер с этого лица переживания долгих месяцев и вернул ей почти детскую свежесть, освещенную внутренним светом.

Да, это была прежняя Мария, и тут уж не о чем было говорить.

— Ну, так... желаю тебе счастья, Мария,— сказал он, зачем-то оглядываясь, словно искал чего-то, хотя портфель он держал в руках, а шляпы не снимал входя.

— Я счастлива. Не сердись на меня, Виктор... Ты...

— Оставь, — резко прервал он. — Обо мне тебе нечего беспокоиться.

Из комнаты вдруг раздался голос Григория:

— Мария, скорей!

Она побежала раньше, чем Воронцов успел захлопнуть за собой дверь.

— Где ты пропадаешь? Первый выстрел!

Она присела на ручку кресла, обняв Григория за шею. Молния разорвала воздух. Где-то далеко блеснул красный свет. Затрещали ракеты и рассыпались в темном небе золотыми, зелеными, пурпурными звездами. Загремел и широко прокатился гром. Земля застонала. Звезды падали вниз, оставляя на небе цветной след. В воздухе еще висел последний, опоздавший красный фонарик, медленно, как лист на ветру, опускающийся к земле, когда эхо грома утихло и за окном распростерлась тьма.

— Два, — считал Григорий, и снова запылал ослепительный свет. Из мрака выступила зубчатая кремлевская стена и кремлевские башни. Пространство окрасилось яркой голубизной. Загремели залпы орудий, стало светло, как днем.

— Там, там, смотри!

Зеленым фонтаном взорвались ракеты. Рассыпались в воздухе и стали опускаться вниз, как ветви плакучей березы. С минуту они стояли в воздухе, а когда исчезли, после них осталось облачко золотистой пыли, трепетная тучка, светящаяся в темном воздухе.

— Три...

Она крепко сжала руку Григория, вся напряглась, ожидая нового грома. Ослепительный блеск, дождь звезд.

— Золотые, золотые!

Где же это было? Золотые звезды горели перед счастливыми глазами в черных ветвях яблони. Росла, шумела, поднималась яблоня, огромные ветви простирались далеко, до самых краев родной земли. Яблоня закрывала могучей кроной всю родную землю от границ до границ. Пылали золотые звезды, рубиновые звезды, изумрудные звезды в черных ветвях яблони. Глядели счастливые глаза, улыбались счастливые губы, сквозь сладость текущих из глаз слез. Родная земля расцветала звездами счастья. Войска шли на запад, красные звезды, пылающие во мраке обещанием свободы.

— Маруся, — тихо сказал Григорий.

Она прижалась к нему сильнее, тесно прильнула, как дитя. Это был он, ее Гриша. Для него гремели орудия и небо пламенело дождем цветных звезд. Это его мужеству, его ранам, его крови слала привет столица родины — Москва. Она сбоку посмотрела на искаженное лицо мужа. Его ясно было видно в заливающем комнату блеске. В лице Григория было вдохновение, рвущийся в полет внутренний свет, сообщавший ему нечеловеческую красоту. Мария ласковым движением осторожно коснулась шрама на щеке под глазом. Это сюда угодила рука войны. Сюда нанес враг свой удар. В честь этого шрама на лице любимого человека бьют орудия и зарево освещает ночь.

Он осторожно обнял ее своей единственной рукой. Она погладила пустой рукав, в котором когда-то ощущалась сильная рука Григория, загоревшая большая рука с белым шрамом на пальце. Этой рукой прорубал Григорий путь к свободе в железном вражьем строю. Этой рукой он разорвал цепи, которыми враг хотел сковать родную землю.

— Десять!

Войска шли, шли, шли на запад, красные звезды пылали на шапках, звезды свободы, надежда свободы, радостное знамение. Вместе с ними шел Григорий — это ничего, что его рука осталась где-то далеко на неведомом поле боя. Он шел ровным и твердым шагом, с высоко поднятой головой. Ее Григорий. Один из миллионов. Ее Григорий — единственный в мире. Шли, шли на запад путем побед все: погибшие в дни отступления, павшие в черные дни, пронесшиеся над родиной, раненые, слепые, безногие. Они шли вместе с армией — в ее силе была также и их сила, в ее крови была их кровь, в ее мужестве было их мужество. Нет, ничто не было потеряно, ни одно движение любви, и ни одно слово ненависти, и ни одна жизнь, и ни одно страдание. Все было родиной, и теперь, когда гремели орудия из-за зубчатых стен Кремля, все было победой.

— А когда еще загорятся звезды над Кремлем... — сказал Григорий, и Мария увидела их,

словно они уже горели, лучистые рубины, неугасимый огонь. И они горели, горели всегда — и тогда, в черные, тяжкие дни, и теперь, в дни побед. Их блеск сохранялся в сердце и в глазах на веки веков.

— Пятнадцать...

Гремели выстрелы, пылало небо, захлебывалось счастьем сердце. Открывалась прямая и ясная дорога, и эта дорога была дорогой счастья.

Москва приветствовала Григория — от имени родины. Огнем, золотом, звездами, упоительной радостью победы.

— Цена победы — кто сказал это? Когда? Ах да, это ведь Воронцов... Нет, нет, это неправда, это не так... С чем же может сравниться радость победы, счастье свободы, родная земля, свободная от края до края? И где, наконец, граница между человеком и его родиной? Разве человек не вырастает, как лист на огромном дереве, не плывет ли он, как капля в шумной реке, не живет, как кристаллик в глыбах заоблачной вершины.

Да, да, она была права васина девушка. Пусть видят, пусть увидят—ее Григория, Григория, которому Москва салютует от имени родины почетными залпами...

— Жертва? Ах, этот Воронцов. Никогда ничего он не мог понять! Бедный Воронцов — он уедет завтра далеко, далеко, и, пожалуй, о нем больше никогда в жизни не подумаешь. Жертва? Ах, какой глупый... Просто — любовь...

— Что ты говоришь, Маруся?

— Ничего, ничего, так...

Просто любовь — говорили ракеты. Просто любовь — гремели орудия. Просто любовь — писали на небе тайными знаками зеленые, пурпурные, золотые ленты.

Шумела, росла, укрывала ветвями родную землю добрая, ласковая яблоня, в ветвях ее горели звезды победы. Земля захлебывалась высокой радостью, упоительной песнью, суровым, глубоким, подлинным счастьем.

Возвращение

Ты знаешь, я думаю часто,—
Когда прекратится война,
Сойду я на станции:
«Здравствуй,
Родная моя сторона!
Вот я и вернулся до дому —
Твой житель, твой старый знакомый,
Твой сын — черноморский матрос;
Он с южного теплого моря
На север, в деревню Подворье
И мир, и победу принес...»

Чтоб сердце остыло немного,
У станции я постою,
И памятной с детства дорогой
Отправлюсь в деревню свою;
Пойду я родной стороною
В безоблачный утренний час,
И встанет она предо мною,
Какой представлялась не раз;
Какою мечталась и снилась,
Какой на войне не забылась,—
Родная моя сторона!
В ней только одно изменилось,
Что стала дороже она.
И запахи поля вдыхая,
Мне радостно будет шагать.

Березы, с пригорка сбегая,
Мне ветками будут махать.
Пастуший рожок за оврагом
Взгрустнет и замрет в тишине.
На улице шумной ватагой
Мальчишки метнутся ко мне.
И будут дивиться в избытке:
— Смотри — с якорями... моряк!..
И выйдет сосед из калитки
И скажет: «Здорово, земляк!
С победой тебя и с возвратом,
С приходом в родные края!..»

А вот и отцовская хата —
Приют мой и кровля моя.

И вот я иду через сени, —
В сенях половицы скрипят.
И вот уж целуюсь со всеми
И всех обнимаю подряд.
И мать по плечу меня гладит,
Хлопочет, спешит угостить,
К столу приглашает и садит,
Не зная куда посадить.
Седой, деловитый в движеньях,
Отец разливает вино:
«Ну, что же, сынок, с возвращеньем —
Пожалуй, не будет грешно...»

В расспросах, в рассказах, в беседе
Пройдет незаметно полдня.
А там — потянулись соседи
Послушать, взглянуть на меня.
И двери не знают покоя —
Идет и один, и другой.
Как будто я чудо какое,
Как будто я праздник какой.
И радостно станет мне снова,
Что я хорошо воевал,
Что в час испытаний суровых
Сдержал краснофлотское слово —
Пощады врагам не давал:
Что эти поля и дубравы,
Деревни, поселки, сады
Сберег от смертельной расправы,
От лютой немецкой беды...

Я думаю часто об этом
Великом торжественном дне;
И ясным, немеркнущим светом
Он издали светится мне.
И бьюсь я бесстрашно с врагами —
С немецкою черною тьмой,
Чтоб мне не с пустыми руками
В тот день возвратиться домой,
А чтобы с далекого моря
Со славой и с честью пройти —
В родную деревню Подворье
Победу и мир принести!

Июнь 1944 г.

Лучше нету того цвету

(Песня)

Лучше нету того цвету,
Когда яблоня цветёт,
Лучше нету той минуты,
Когда милый мой придет.

Как увижу, как услышу,—
Всё во мне заговорит:
Вся душа моя пылает,
Вся душа моя горит.

Мы в глаза друг другу глянем,
Руки жаркие сплетём,
И куда — не знаем сами —
Словно пьяные, бредем.

А кругом сады белеют,
А в садах бушует май.
И такой на небе месяц, —
Хоть иголки подбирай.

За рекой гармонь играет,—
То зальется, то замрет...
Лучше нету того цвету,
Когда яблоня цветет.

Ласточка

Еще и артиллерия гремела,
И мины рвались на краю села,
А ласточка уже взялась за дело
И, хлопоча, гнездо себе вила.

И люди выходили из укрытий
Навстречу дню большому своему,
И люди говорили: «Посмотрите —
Хоть и мала, а знает, что к чему...»

15 июня 1944 г.

Сыну моему Льву Слезкину, участнику Великой Отечественной войны, танкисту-орденоносцу.

БРУСИЛОВ

Роман

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

Во второй половине августа 1914 года русские войска вступили в Галицию.

Выигранное сражение под Гнилой Липой решило участь города Львова, очищенного без боя. С сентября начались операции по обложению Перемышля. В ноябре, 8 армия под командованием Брусилова, гоня перед собой противника, легко и быстро перешла реку Сан и отбросила австрийцев к карпатским проходам.

В то же время 3-я армия Радко-Дмитриева стремительно подходила к Кракову. Враг был разбит, но не уничтожен.

Казалось бы, уничтожение его и должно было стать задачей победоносной армии. Но вмешалась воля главнокомандующего Иванова. Брусилову дан был приказ занять частью своих сил карпатские проходы, а самому с главными силами устремиться на поддержку и охрану левого фланга 3-й армии.

Исполнение этого приказа ставило под удар тыл 8-й армии. На левом фланге ее висело свыше четырех неприятельских корпусов. Они, несомненно, воспользовались бы создавшейся обстановкой для того, чтобы отрезать армию от ее путей сообщений...

Заслон из двух корпусов, растянутых на сто верст, не мог оказать действенное сопротивление массированному удару. Враг не только опрокинул бы его, но по частям разбил бы всю армию. Мало того — перед врагом открылся бы свободный путь к Перемышлю и Львову.

Брусилов донес, что приказание главнокомандующего он выполнить не может, пока не разобьет противника окончательно и не сбросит его с Карпатских гор.

Но Иванов стоял на своем.

«Моя директива должна быть выполнена...»

И победоносная армия, вынесшая четырехмесячные бои и изнурительные горные переходы, не получив достаточных подкреплений, растянулась четырьмя корпусами на триста верст. Линия войск оказалась настолько тонка, что противник мог прорваться в любом месте. И он не заставил себя ждать. Он прорвал подавляющими силами двенадцатый корпус и опрокинул его с большими для него потерями.

Восьмой армии угрожала катастрофа...

II

Когда враг перешел на своем правом фланге Санок и прервал связь 8-й армии с тыловыми учреждениями, лишив армию питания свежими силами и боевыми припасами, штаб командующего находился в Кросно. Сюда именно и направлен был главный удар противника.

Резервов здесь не было. Кросно неминуемо должно было попасть в австрийские руки.

Брусилов приказал штабу перейти в Ржe-

нув, а сам решил остаться в Кросно до последнего момента.

Он знал, что служба связи не сумеет достаточно быстро наладить телеграфные линии по новым направлениям, а управлять войсками на больших расстояниях возможно только с помощью телеграфа.

Так генерал объяснил штабу причину своего рискованного намерения.

Объяснение это было правдой, но не полной правдой. Брусилову нужна была не только немедленная и постоянная связь с войсками, теснимыми противником, но необходимо было самому чувствовать себя в таком же трудном положении, в каком находилась его армия. Потребность эта, где-то глубоко заложенная в его сознании, пробуждалась всегда в ответственные минуты. Она шла не от чувства и еще менее от сентиментального стремления «претерпеть заодно с людьми». Она шла от ума, от долголетнего воинского опыта: «человек в беде острее видит».

Брусилов вызвал к аппарату начальника штаба фронта Алексеева.

Он не стал сетовать на создавшиеся для армии, по вине главнокомандующего, тяжкие условия. Он не ссылался на свою правоту, даже не сообщил подробностей прорыва двенадцатого корпуса. Его обращение к начальнику штаба фронта звучало коротко:

«Надо выходить из положения, Михаил Васильевич».

И Алексеев понял командующего армией. Он знал, что если Брусилов говорит, что «надо выходить из положения», то, значит, время не терпит и положение труднее трудного. Алексеев и без напоминания чувствовал свою вину: он не сомневался и раньше в правоте Брусилова. Он не одобрял распоряжений Иванова, но по слабости характера и по давней привычке подчиняться подписался под ними.

— Вы совершенно правы,— ответил он Брусилову. Надо спасать положение. Я доложу обо всем Николаю Иудовичу. Третью армию мы отведем от Кракова... Действуйте сообразно вашему плану...

— Наконец-то!

Брусилов прищурил свои большие светлые глаза, затуманенные усталостью. Он сидел за столом над картой, подперев тонкими пальцами высокий лоб, как сидит шахматист, обдумывая игру. Решать надо точно и быстро. За его спиною переминался адъютант. Начальник оперативного отдела вторично напоминал, что пора ехать. Шоссе в ужасном состоянии, передвигаться в автомобиле невозможно, дорога от Кросно на Ржешув открыта для противника. Кавалерийская дивизия, вызванная для заслона, еще не прибыла. Между командующим армией и наступающими австрийцами преград не существует...

Генерал поднял голову. Взгляд его снова ясен и тверд. На губах мягкая улыбка.

— Попасть в плен я бы не хотел, само собою... Но меня тревожит участь 12-го корпуса... Командир доносит, что у него нет сведений о 12-й сибирской дивизии, отступившей на Риманов. Терять управление армией в такую минуту нельзя. Мы останемся до утра здесь. До утра мы закончим переговоры. Утром я сам поеду к 12-му корпусу.

И, склонясь над картой, добавил, не оборачиваясь:

— Я командовал им еще в мирное время... А его 12-ю пехотную дивизию знаю с турецкой кампании. Молодцы! Молодым офицером мне пришлось воевать с ними плечо к плечу... И тогда, и в начале этой кампании дивизия показала отличные боевые качества... Теперь я ею недоволен...

Он смолк надолго, погруженный в работу.

Кто-то за его спиной открывал и закрывал двери, сквозничок похаживал по комнате, шуршал обоями, обдувал затылок. Стучал телеграф, начальник оперативного отдела вполголоса передавал распоряжения. Другой голос, более молодой, с трудом сдерживающий тревогу, отвечал:

— Но у нас всего лишь конвойная сотня и штабная рота охраны. Ведь это же насмех. Ведь если австрийская конница разнюхает,— командующий станет ее добычей.

Брусилов улыбнулся. Он слышал все, но это не мешало его работе. В далекие времена, в Кутаисе, мальчишкой он так же всегда на юру и всегда в какой-нибудь самой неудобной позе готовил уроки. Привычки остаются... Увеличивается только чувство ответственности.

Брусилов встал. Он худ, по-кавалерийски чуть сутулится, в движениях легок, как птица в полете.

Приказы идут по проводам: кавалерийской дивизии форсированным маршем перейти на дорогу к Кросно—Ржешув, связать 12-й корпус с 24-м.

24-му корпусу перестроить фронт с запада на юг.

8-му корпусу форсированным маршем выйти через Тухов и Пильзно — Дембицу на дорогу Ржешув—Кросно в резерв командующего.

12-му корпусу в составе трех дивизий пехоты и одной дивизии конницы удерживать фланговую позицию на восток от Кросно — Риманов, прикрывая Перемышль.

Одиннадцатой армии предложить выдвинуть одну дивизию пехоты в направлении Санок—Риманов с тем, чтобы возможно быстрее выбросить австрийцев из Санка.

От Радко-Дмитриева получен ответ: «По приказу Главнокомандующего 3-я армия начинает отход от Кракова и ее 10-й корпус повертывает фронт на юг, западнее 24-го корпуса».

Все. Ход сделан. Корпуса и дивизии не деревянные пешки — это люди, тысячи людей. Их нужно видеть, их нужно слышать, с ними нужно говорить.

— Кажется, уже светает, Василий Николаевич,— произносит вслух Брусилов.

— Точно так, ваше высокопревосходительство. Уже семь часов. Вы не изволили ложиться... прикажете приготовить постель...

Брусилов смотрит на своего адъютанта. У адъютанта заспанный вид. Он сластена, бабник, успел уже отрастить животик в свои двадцать пять лет, но все-таки он дельный малый и не трус.

— Ты хочешь, чтобы твой командующий был схвачен австрийцами в кровати. Голеньким!

— Боже упаси, Алексей Алексеевич,—подхватывает шутку адъютант и ловит еще не произнесенное распоряжение:—Выслать вперед полусотню конвоя — направление Ржешув. Седлать коня вашему высокопревосходительству?

III

Отдыхал Алексей Алексеевич всего лучше на коне. Он был первоклассным кавалеристом. Сливаясь с конем в легком и свободном движении, он испытывал радость обновленного ощущения себя, своего тела.

Глядя на него в эти минуты, нельзя было не залюбоваться им и не поразиться его молодости. И Василий Николаевич, пришпоривая на своем коньке вслед за командующим, не только любовался им, но и завидовал ему.

Откуда берется у этого шестидесятилетнего старика такая неиссякаемая энергия и прыть.

Василий Николаевич Саенко родился и рос в военной семье, среди военных. Он окончил корпус, кавалерийское училище, служил в полку, хорошо шел по службе и в свои двадцать пять лет был уже откомандирован старшим адъютантом к командующему. Но никогда он не считал военную службу таким делом, которым нужно увлечься и отдать ему всю душу. Саенко не позволит себе замарать честь мундира, презирал трусость и двоедушие, а еще более не любил «всяких политиков-молитиков». По видеть свое призвание только в военном деле,—это он считал «плохим тоном». Для него офицерство было службой, и продвижение по этой службе — вопросом самолюбия.

Саенко уважал своего командующего, любовался его военной выправкой и завидовал его моложавости, но не тому творческому горению, которое делало шестидесятилетнего генерала молодым.

Саенко был неглуп, легко разбирался в окружающей обстановке и здраво судил о ней. Через его руки, в его дежурства прошла не одна телеграмма, которыми обменивались Брусилов с командующим фронтом и ставкой. Он знал в какое тяжелое положение ставили 8-ю армию директивы Иванова, был свидетелем возмущения Брусилова преступным отношением интендантства к снабжению зимней одеждой истрепанной в боях армии, видел как болезненно воспринимает Алексей Алексеевич небрежное отношение к пополнениям. Новички — солдаты и офицеры — приходили в части не подготовленными и в недостаточном количестве. Унтер-офицеры, которых в запасе было много, не были взяты в свое время на особый учет, и теперь их не стало... Рядовые не знали рассыпного строя, даже не умели заряжать винтовки... Обо всем этом знал Саенко и вместе с другими штабными адъютантами не раз обсуждал «безобразия, чинимые штабом фронта». Он, как и другие его сослуживцы, считал главнокомандующего южным фронтом бездарностью и к тому же злостной бездарностью,—человеком, завидующим успехам Брусилова. Они все желали Иванову провала и неудач, а выходило так, что успех сопутствовал его армиям и создавал ему успех тот, кого он всего более не жаловал,— Брусилов.

Без фланговой марша, предпринятого по собственному почину Брусилова, без победы его на Гнилой Липе и продвижения войск к югу от Львова, город не сдался бы без боя. И между тем он был очищен без единого выстрела.

И тем не менее в официальных телеграммах высшего начальства сообщалось, что город Львов взят генералом Рузским. В газетах расписывали доблесть 3-й армии (тогда ею командовал Рузский), продвигавшейся по улицам города «по колено в крови».

Полковники граф Гейден и Яхонтов рассказывали в штабе, что еще до встречи Брусилова с Рузским, который вызвал Алексея Алексеевича, как старший, на совещание о совместных действиях по осаде Львова, Львов уже был эвакуирован. Оба полковника без-

...ядя на руку, скрывающую от него глаза ...чштаба. Ни в какую Венгрию я спускаться ...м не стану. Под угрозой захода противника ...тыл моего правого фланга эта операция ...губна. Я делаю вид, что собираюсь перейти Карпаты... В конечном счете, все мои усилия сводятся к тому, чтобы сковать как можно больше сил противника и не дать ему времени перебросить свои войска по другому направлению. Только всего.

Он обрывает и через мгновение, с горечью и силой, повторяет:

— Только всего!

Алексеев опускает руку. Глаза его внимательны и остры, веки красны от переутомления. Тёмные брови взъерошены, старческий румянец тлеет на скулах бритых щек.

— Правый фланг нашего фронта обнажен и забыт вами,— с жесткой настойчивостью вызнова начинает Алексей Алексеевич. Так настойчиво человек нажимает на больной зуб, чтобы болью, вызванной сознательно, заглушить боль, перед которой он бессилен.

— Вы упорно укрепляете левый фланг. В марте вы перекинули туда штаб 9-й армии. Вы сняли все войска, какие только можно было снять с других частей фронта, и направили на левый фланг. На левом фланге действует присланный в мое распоряжение 11-й корпус генерала Сахарова. По вашей директиве, я дал Сахарову приказ о наступлении, и он выполнил задачу, скинув противника за хребет.

Алексеев кивает головой, озабоченно шарит по столу, точно собираясь что-то найти среди бумаг, лежащих перед ним. Но жест этот означает лишь то, что начштаба все это уже слыхал и наперед согласен со всем. Пальцы неловко залевают стакан с чаем. Алексеев подхватывает его и начинает помешивать в нем ложечкой. Тонкий ломтик лимона кружится в крепком наваре. С ненавистью глядя на этот будничный ломтик, Брусилов продолжает:

— Никаких оснований для того, чтобы ждать отсюда значительных масс противника, нет. Карпаты в этом районе гораздо круче, чем на западе. Железных дорог мало. Связь поддерживается по узким тропам. В боевой обстановке подвоз продовольствия и крупных воинских частей врага затруднен. К тому же под боком румынская граница. Вы знаете прекрасно, что австрийцы не решатся ее нарушить.

— Да, конечно,— поддакивает Алексеев, тоже как чему-то давно решенному.

— Так что же тогда заставило вас,— повышает голос Алексей Алексеевич,— что заставило вас приостановить наступление Сахарова? Почему же снова и снова сюда, на левый фланг,— Брусилов указательным пальцем левой руки стучит по столу,— вы шлете подкрепление? Почему вы так упорны в своем заблуждении? Как смеете вы забывать о том, какая угроза повисла над вашим правым флангом? — Брусилов пришлепывает ладонью правой руки по краю стола, ушибает пальцы, шевелит ими и с нескрываемым гневом заканчивает: — Без резервов, без тяжелой артиллерии 10-й корпус армии Радко-Дмитриева растянут в тонкую линию и ждет. Чего ждет,— я вас спрашиваю?

— Знаю... — не отводя глаз от кружащегося ломтика лимона, глухо говорит Алексеев.

— Что вы знаете? — вскрикивает Брусилов. Всем своим сознанием, всем телом он чувствует, что вот — пришла минута, которую он ждал, минута полной душевной откровенности: — Что вы знаете? — спрашивает он тихо, наклонясь через стол к Алексееву, невольно следуя за его взглядом, устремленным в стакан.

Ложечка движется неуверенно,— она ударилась о стекло, раз — другой, разбрызгала чай. На языке Алексея Алексеевича оскомина, он говорит затрудненно:

— Вы знаете, что Радко-Дмитриев обречен на разгром?

— Да,— все так же глухо доносится до него ответ начштаба.

— Но тогда...

Брусилов откидывается на спинку стула, его высокий лоб влажен, большие, налитые гневом глаза глядят на склоненную голову Алексеева. Усилием воли он заставляет себя говорить мягко,— в такую минуту можно вспугнуть правду одним неосторожным словом.

— Что же это такое? Глупость?

Коротким движением Михаил Васильевич подымает голову, тень улыбки проходит по его седым усам мастерового, и снова глаза его устремлены в стакан с чаем.

— О, нет...

— Бездарность?— неумолимо допрашивает Брусилов.

— Нет... конечно...

— Упрямство? Самомнение старости?

— Нет, нет... Нет!

— Так что же, наконец?

Молчание. Ломтик лимона сделал один оборот по кругу. Серебряная ложка придавила его ко дну. Алексеев поднимает глаза, произносит медленно и многозначительно:

— План.

— Какой план? — спрашивает Брусилов,

в то же время сознавая, что вопрос не тот, не о том надо спрашивать: — Чей?

Белесые ресницы прикрывают острые зрачки Алексеева. Ложка брякнула о стекло.

Гнетущая тоска сдавливает сердце, предчувствие переходит в уверенность.

Взгляды их скрещиваются. Теперь в глазах начштаба твердое: «Я тебе больше ничего не скажу». В глазах Брусилова: «Я заставлю тебя выслушать до конца».

Голос Алексея Алексеевича звучит доверительно-бурнично.

— Если я завел речь о Радко-Дмитриеве, то только потому, что считаю отношение к этому достойному всяческих похвал боевому генералу несправедливым...

И внезапно вскочив с места, Брусилов подходит вплотную к начштаба.

— Михаил Васильевич! Мы хлебнули всякого, нас трудно удивить подлостью, но у нас не отнимешь любви и веры в Россию. Не так ли?

Алексеев торопливо и согласно кивает головой:

— Ну конечно, Алексей Алексеевич. Все, что в моей власти...

— Сейчас не об этом речь,— строго останавливает его Брусилов. — В нашей власти отстоять Россию от врага. Это мы знаем оба. Но в силах ли мы будем отстоять ее, если подчинимся приказам Иванова?

Мохнатые брови Алексеева сходятся у переносицы, лицо становится официально каменным.

Командарм не хочет этого замечать. Он спрашивает, но его вопрос звучит утвердительно:

— Скажите, Михаил Васильевич, вы думаете, что Иванов...

Алексеев приподнимается, панически машет руками.

— Что вы! Что вы!.. Алексей Алексеевич. Бог меня защити от таких мыслей...

Начштаба напуган до смерти.

— «Так вот оно что... Старый генерал, умница, оказался просто-напросто службистом... Боится начальства. Как я этого не понял сразу. Службист! Со мной он тоже говорил, как со службистом...»

Брусилов произносит печально:

— Полно, Михаил Васильевич. Много страшнее то, что мы с вами против этого бессильны... И за бессилие — ответим.

И тотчас же отчужденно:

— Но имейте в виду. Как командующий армией, я из всего этого сделаю соответствующие выводы и приму меры.

VII

Алексеев принял назначение быть главнокомандующим Северо-Западным фронтом вместо заболевшего Рузского. Передав дела новому начштаба Юго-Западного фронта генералу Драгомирову, он прислал письмо Брусилову:

«Дорогой Алексей Алексеевич,— писал он. — Во всем и в полной мере согласен с вами. Всегда и неизменно найдете во мне необходимую поддержку. Дай вам бог силы противоборствовать во благо и на славу России...»

Брусилов спрятал было письмо в ящик стола, потом вынул его оттуда и разорвал на мелкие клочки. «Человек умыл руки. Что до этого армии. Сейчас надо действовать».

— Соедините меня с начштабом фронта генералом Драгомировым.

Говорил только Драгомиров. Брусилов задал один вопрос и больше не открывал рта. Среди бесчисленных оговорок, уверений в глубоком уважении ясно звучало одно: командующий фронтом непреклонно стоит на том, что наибольшая опасность грозит нам на левом фланге у Черновиц и Коломыи и его новый начальник штаба вполне разделяет эту точку зрения.

Впервые Саенко и чины штаба видели Брусилова таким гневным. Он хлопнул дверью оперативной, пронесся мимо оробевших ординарцев и вестовых к себе в комнату, сорвал со стены полушубок и, не давая помочь себе, срыву натянул его на худые плечи, нахлобучил на лоб папаху и выбежал во двор. Ему подвели коня, он поднял его с места в галоп и ускакал в поле, синевшее под лучами солнца...

Вестовой и дежурный адъютант последовали за ним в отдалении.

Нужно спешно принять меры. Нужно ответить Радко-Дмитриеву, умолявшему воздействовать на Иванова... Все попытки убеждения и доказательства исчерпаны... Дальнейшее вмешательство в дело чужой армии не только не поможет командарму 3-й, а окончательно все испортит. Можно посоветовать Радко-Дмитриеву только одно — обратиться лично к генерал-квартирмейстеру Данилову в ставку для доклада верховному главнокомандующему об истинном положении дел... Но, конечно, и это ни к чему не приведет. Николай Николаевич не любит Иванова, но побаивается его. Иванов любимчик Александры, льстивый угодник и молитвенник. Царь привык советоваться с ним...

Бог мой, до чего все это гнусно. Чтобы войти в игру с такими партнерами, нужно уметь передергивать карты. Нас этому не

научили, и учиться поздно. Будем выполнять свои прямые обязанности. Если бы все войска, направленные Ивановым в 9-ю армию, были своевременно переданы Радко-Дмитриеву, он мог бы перейти в наступление, не ожидая сосредоточения против себя всех сил врага. Он разбил бы его головные части и своевременно устранил бы грозившую фронту опасность.

— Но хуже глухого тот, кто не желает слушать,— вслух произносит Брусилов. — Сейчас у меня на орудие не больше двухсот выстрелов... В сущности, огнестрельных припасов хватит только на одно сражение. Ни о каких активных действиях мечтать нельзя. Неминуемый разгром 3-й армии грозит выходом неприятельских сил в мой тыл. Первая задача — оттянуть с гор все склады и тяжести назад в долину. К этому надо приступить, не мешкая. И как можно более скрытно... не только от врага, но и от нашего командования... Второе — подготовить линию обороны. Это наше самое больное место. Мы шли на поводу у немцев. Они издевались над окопной войной, уверяли, что никогда не применят ее. Мы слепо им поверили. Теперь они зарываются так, что их не выбьешь, а мы едва укрываемся в жалких канавках. В мирное время никто не учил солдат этому искусству.

Он вспоминает, как еще зимой в Карпатах, в ответ на его приказ основательно окапываться ему простосердечно донесли, что выполнить это требование «не представляется возможным»...

VIII

Они подъезжают к оборонительной линии. Работа над нею начата еще в феврале месяце. Здесь расположены резервы, войска милиционного характера, мужики почтенного возраста. Кадровых офицеров нехватает, их заменили прапорщиками последнего призыва.

Еще издали Брусилов замечает, как лениво идет работа, как неравномерно и вяло поднимаются лопаты, выбрасывая на поверхность лоснящиеся под солнцем комья грязи.

— Здорово, братцы! — кричит Алексей Алексеевич, соскакивая с коня.

На приветствие откликаются растерянно и испуганно.

Приезд командарма застает людей врасплох. И начальники частей, и начальники работ, и прапорщики, и солдаты, торопливо оправляя на себе гимнастерки, выползают из канав, собираются в кучки, не решаясь подойти ближе. Кто-то побежал за высшим начальством.

— Продолжайте работать, продолжайте работать! — прыгая с одного бугра на другой, повторяет Брусилов.

Он расстегнул полушубок. Мартовское солнце пригревает уже по-весеннему, иногда только с гор несет студеной свежестью снегов.

У одной из траншей Алексей Алексеевич останавливается.

В глубине окопа, прислонясь спиной к стенке, стоит солдат с русой всклокоченной бородой и старательно разжигает кремнем длиннейший конопляный жгут. В зубах он зажал «козью ножку». Лопата валяется у его ног ослепительно играет солнце на отточенном лезвие.

Наклонившись, Брусилов весело кричит:

— Что, брат, не разжечь? Трудов много — толку нет. Возьми-ка спички.

Солдат поднимает бороду, закатывает вверх глаза и столбенеет. Трут выпадает из его руки вместе с огнивом. Ладони прилипают к бедрам. Неуклюже, торопко он поворачивается лицом к генералу.

— Возьми же коробок,— все так же весело повторяет командарм,— сподручней будет.

Солдат нерешительно протягивает узловатую черную руку. Коробок падает из его неловких загрубелых пальцев, он нагибается, поднимает его, да так и остается, прихлопнув коробок зажатым кулаком по бедру.

— Кури, закуривай,— обогряет его Алексей Алексеевич.— да живо! Работа не ждет. Тебя как зовут?

— Клименчук, вашество.

— Белорусс?

— Так точно.

— Работа у тебя ладится, как я вижу.

Брусилов легко прыгает в окоп, похлопывает по стенкам, оглядывается.

Сверху за ним наблюдает кучка солдат.

Запыхавшийся командир переминается с ноги на ногу, не смея дать знать о своем прибытии.

— Копать нужно еще глубже и шире.— серьезно, по-деловому продолжает командарм: — объяснять незачем, сам понимаешь. Чтобы человек с головой ушел и еще вот на столько...

Брусилов поднимает лопату, показывает ногтем на рукояти, сколько еще к человеческому росту надлежит прибавить. Солдат понимающе кивает головой.

— Если уже в прятки играть, так чтобы не видно было,— переходя на шутку, добавляет Алексей Алексеевич: — попусту головой рисковать глупо. У нас с тобой по одной голове. Убьют — кто нас заменит?

— Это точно,— отвечает солдат и легко

перехватывает из рук командующего лопа-
ту: — вот я в немецких траншеях был —
так там, примерно, в этом месте...

Брусилов кивает головой:

— Саенко, голубчик, подтяните меня.

Поднять его не стоит труда. Солдат снизу придерживает его за ступню.

— Слышали?—строго обращается командарм к вытянувшемуся перед ним офицеру. — Умница белорусс! Специалист своего дела. А с вами у меня будет серьезный разговор. Вы в машине? Я сяду к вам. Едем в штаб. Саенко, поручаю вам своего коня...

IX

Было решено: царь и великий князь Николай Николаевич выедут из ставки в среду, девятого апреля вечером, и приедут на старую пограничную станцию Броды в четверг утром. Оттуда Николай Николаевич, царь и несколько человек свиты проследуют в автомобилях во Львов, а прочие с графом Фредериксом отправятся по железной дороге. Таким образом царь увидит весь путь, по которому в августе проходила 3-я армия, и поля сражений. Ночь он проведет во Львове, а утром через Самбор, где находится Брусилов, приедет в Перемышль.

Царь радовался этой поездке. Царица писала ему, что она не одобряет его плана, и особенно того, что Николай Николаевич будет ему сопутствовать.

«...Когда Аня сказала другу по секрету о твоем намерении и твоем маршруте (так как я просила Его особых молитв за тебя),— писала Александра,— он, странным образом, сказал то же, что и я,— что в общем он не одобряет твоей поездки и «господь пронесет, но безвременно слишком рано, теперь ехать, никого не заметит, народа своего не увидит, конечно, интересно, но лучше после войны». Он не советует брать с собою Н. Он находит, что всюду тебе лучше быть одному, и с этим я вполне согласна...»

Царь, однако, стоял на своем.

Девятого государь выехал в Броды, пересек старую границу и вступил в новые свои владения. Было жарко и ветрено. Поднятая машинами пыль била в глаза. Дважды государь останавливался и выходил осматривать позиции первых августовских боев. Бесчисленные кресты на братских могилах стояли шпалерами, покрытые, как саваном, белой придорожной пылью, покосившиеся, убогие...

Царь призакрыл глаза. Он незаметно помахал рукою по груди, мелко и часто крестясь.

В половине шестого дня на пригорке царя встретил наместник края граф Бобринский. С пригорка открылся великолепный вид на Львов. Было много цветов, садов, памятников старинных костелов, чистые улицы, оживленная толпа, приветствующая царский поезд, триумфальные арки и даже городовые, на стоящие русские городовые, отдающие честь рукой, затянутой в белую перчатку.

В огромном манеже, превращенном в православную церковь, архиепископ Евлогий отслужил благодарственный молебен и произнес речь. Все пришли в умиление. Николай взволнованно покашливал, теребил усы, переминался с ноги на ногу. Было много знакомых улыбающихся лиц. Густо пахли букеты цветов в руках у местных дам, одетых в белые кружевные платья.

После молебна царь посетил лазарет своей сестры Ольги Александровны. Он расцеловался со знакомыми ранеными и сестрами милосердия, как в пасхальную заутреню, потом отправился обедать. Здесь ему доставил несколько неприятных минут председатель Государственной думы, толстяк Родзянко. На вопрос государя: «Думали ли вы, что мы когда-нибудь встретимся во Львове?»

Родзянко ответил:

— Нет, ваше величество, не думал. И при настоящих условиях, очень сожалею, что вы, государь, решили предпринять поездку в Галицию.

— Почему? — спросил озадаченный Николай, потянувшись рукой к усам.

— Да потому, что недели через три Львов, вероятно, будет взят обратно австрийцами, и нашей армии придется очистить занятые ею позиции.

Византийские глаза Николая потемнели, тусклый огонек вспыхнул и померк. Он процедил сквозь зубы:

— Вы всегда говорите мне неприятные вещи и пугаете меня, Михаил Владимирович.

Родзянко вобрал голову в ватные плечи, попытался подобрать живот, руки прилипли к фалдам длинного кителя, глаза преувеличенно-преданно обратились к государю.

— Я не осмелился бы, ваше величество, говорить неправду. Земля, на которую вступил русский монарх, не может быть отдана обратно. На ней будут пролиты потоки крови, а удержаться здесь мы не в силах...

Николай резко повернулся. Он вышел на балкон к ожидавшей его толпе. Он был раздражен и напуган. Голос его вначале дрожал. Толпа внизу на площади, не слыша его слов и не понимая его, кричала «ура».

X

Из Львова царь выехал в Самбор, в штаб Брусилова. Командарму дано было знать, что его величество соизволят со своею свитой отобедать у его высокопревосходительства. После этого отбудут в Старое Место. Там будет произведен высочайший смотр 3-му кавказскому армейскому корпусу. Этот корпус, недавно переведенный в Старое Место и числящийся за 8-й армией, находился в резерве главнокомандующего. Он был в блестящем состоянии, пополнен, хорошо обучен. За него можно было не беспокоиться... Беспокоило и возмущало другое.

Сознание своего бессилия угнетало Брусилова. Эти окладистые бороды, браво закрученные усы, светлые, преданностью увлажненные глаза, эти груди, увешанные крестами, эти нарочито бодрые голоса — как они ему опротивели!.. Он привык к ним, сжился с ними за свою долгую военную службу, он иначе не мог себе представить русского генерала, сановника, приверженного. Он сам, нередко с юмористической горестью, глядел на себя в зеркало, пенял на то, что не достаточно осанист.

— Берейтор,— повторял он словцо, пущенное про него в высоких сферах, и удивленно пожимал плечами, потому что кличка ничуть не оскорбляла его.

До войны он был уверен, что знаком хорошо только с кавалерийским делом. Академии он не кончил. Много читал, много думал о предстоящей войне, о России. Но все это, по его убеждению, не давало ему права считать себя полководцем. Может быть, поэтому все эти бороды, усы, крестоносные груди не вызывали в нем тогда такого омерзения, как сейчас.

«Как они могут быть спокойными, благодушными перед лицом врага? Как могут они не замечать своей отсталости, своей безграмотности! Ведь есть же среди них умные, талантливые люди!

Последний разговор с Алексеевым запомнится навсегда. Брусилов уважал этого человека, доверял его знаниям и опыту. Поэтому, может быть, так было больно... Службист. Господи! Неужели я такой же... только не замечаю этого. Вздор! Вздор!

Брусилов ожесточенно трет седеющий бобрик своих волос. Он не любит в себе этих припадков самоуничижения. Он знает свои недостатки, но он не службист, нет. Он даже плохой служака... Из всех наград, полученных им, он любит только вот этот белый крестик — не тот на шее, а на груди.

— Чепуха! — говорит он, подписывая бумаги,— чепуха... мусор!

К чему это относится? К орденам, или к бумагам?

Около одиннадцати утра прибыл первый свитский поезд, через час бесшумно подошел к платформе императорский. Царя встретил Брусилов, чины его штаба и почетный караул из 1-й роты 16-го стрелкового полка, шефом которого был царь. Командарм отрапортовал о состоянии вверенной ему армии и доложил, что 1-й стрелковый полк, как и вся стрелковая дивизия, за все время кампании отличалась беспримерной доблестью.

— Особенно должен отметить,— добавил командующий,— блестящие действия 1-й роты, находящейся здесь в почетном карауле. Она только на-днях вышла из боя, уничтожив две роты противника.

Царь пожал руку Брусилову и нерешительно огляпулся на Николая Николаевича. Верховный, вытянув шею, почтительно заметил:

— Рота достойна награды, ваше величество.

— Всех!—бормотнул Николай полувопросительно и протянул руку за крестами.

За обеденным столом Брусилов сидит по правую руку его величества. Царь обращает свою речь к командующему армией. К генералу, не знавшему еще ни одного поражения, полководцу, завоевавшему эту землю.

Государь говорит медленно, четко и без запинки. Все любезно улыбаются, кроме командарма.

— В память моего приезда к вам,— говорит Николай и приподнимает свой фужер, приглядывается к бегущим вверх и лопающимся пузырькам яблочного кваса,— я жалую вас, дорогой Алексей Алексеевич, своим генерал-адъютантом.

Улыбки на лицах еще выразительней. Звенят фужеры. Брусилов подымается с трудом, точно у него отекли ноги. Слова его невнятны, он благодарит его величество, он награжден не по заслугам...

Двусмысленность этой фразы мало кто понял. Но многим не понравился тон, каким она была произнесена.

— Самомнение,— говорит своему соседу Воейков — пренеприятный субъект.

— Берейтор,— вторит ему сосед.

XI

Далеко не так приятно и спокойно прошли для царицы дни разлуки с мужем. И то, что царь в ставке, и то, что, судя по его письмам, он «пришел к полному согласию с Николашей по многим серьезным вопросам», а, следовательно, вышел снова из

под ее влияния, и то, что он встретился с пьяницей Веселкиным и, очевидно, выпивает с ним, и то, что слухи о назначении комиссии по делу Сухомлинова и ее расследованиях ходили по городу в явно преувеличенных размерах,— все раздражало и усугубляло подозрительность царицы.

Дважды она встречалась с Распутиным и подолгу беседовала с ним. Распутин настаивал на том, что пора сменить «Николашку» и взять командование самому царю.

— Будет меня папаша слушать — осенит его благословение божие,— говорил Распутин. — Место его среди войска, а твое при министрах. Я тебя научу. Я на воле живу, мне видней, какой человек чем дышит... Пора тебе им показать, что ты царица. У тебя ума хватит.

Эти речи были приятны царице и одновременно пугали ее. Как пойти наперекор всем? Как заставить всех этих сановников, кичливых, взбрных, ленивых, подчиниться ее требовательной воле? Как, наконец, уговорить царя? Ведь он же больше всего любит свой царскосельский уют, свой сад, свои семейственные досуги...

— Друг мой, у меня нехватит сил на это.

Распутин смотрел на нее тяжелым, блестящим взглядом. Сидел в тени, под косым, мреющим светом лампад, длинные и прямые волосы его свисали на щеки; белой рукой поглаживал бороду, белая шелковая рубаха матово переливалась, скрадывала костистые плечи.

Аня Вырубова лежала в постели, на высоко взбитых подушках, румяное круглое лицо ее побледнело, осунулось за время болезни, она дышала со свистом, восторженно и благоговейно поддакивала старцу.

— Вы должны, вы должны, Alice. Вы должны выполнить святое предначертание.

— А ты помаленьку, помаленьку, мамочка,— вразумлял царицу Распутин; — старика Горемыкина приласкай, он послушает, пусть возьмет крепче своих министров... Кого нужно награди... Ты подумай только, на ком будет вина. На тебе вина будет. На тебе! Папаша помазанный — он ни за что не в ответе, он блажен духом, а тебе бог сердце дал — камень. Тебе бог дал разум змия. Он тебя спросит, кому помогла о камень опереться? Кого разумом своим наставила и спасла? Что ответишь?

И положил руку на похолодевший лоб царицы, проговорил назидательно:

— Я у тебя один. Со мной все тебе дастся. Поганцев усмиришь, трон спасешь, войну ко благу кончишь. Приедет папаша — позовешь меня. Поговорим. Ну, прощай! Иду. К завтрому утру сыну твоему полегчает.

Царица, задохнувшись, припала к его руке. Вырубова рванулась с подушек, крикнула:

— И меня, и меня благослови!

XII

Игорь Сможич ставил себе задачей геройски сражаться за родину. Но первый же настоящий бой, в котором ему пришлось участвовать с преображенцами, воочию убедил его, какой он по существу ничтожный офицер и воин. Только попав адъютантом к командиру особого отряда генерал-адъютанту Похвистневу, Игорь понял, что такое истинное ремесло воина.

— Ты не командир,— сказал ему в первые же дни его службы генерал Похвистнев: — за тобой не пойдут солдаты,— ты сам идешь за ними...

— Я никогда не прятался за чужие спины,— вспылил Игорь,— я не из тех офицеров, которые ползут сзади

— Да, ты отважен, как должен быть отважен солдат,— с улыбкой возразил генерал.— Ты не жалеешь своей жизни. А помнишь, что сказал Суворов: «военные добродетели суть: отважность для солдата, храбрость для офицера, мужество для генерала». Так вот, храбрости-то в тебе и нет.

Игорь до боли сжал кулаки, ногти впились в кожу ладоней, глаза заволоклись красным туманом незаслуженной обиды.

— Да, да,— невозмутимо продолжал Василий Павлович,— не смотри на меня волком, а постарайся раз навсегда запомнить: храбрый человек тот, кто, предвидя опасность, идет на все и увлекает за собой других с полным сознанием ответственности за выполнение поставленной задачи. А задача эта всегда преследует одну цель: преодолев опасность, сделать ее для врага смертельной.

Генерал улыбнулся и потрепал Игоря по плечу.

— Не горюй,— добавил он.— У нас в корпусах и военных училищах не учат храбрости, и ты не виноват. А многих ли генералов ты назовешь мужественными?

— А что такое мужество? — не без вызова, но внутренне пристыженный, спросил Игорь.

— Мужество в том, чтобы принять решение и уже не отступать от него и довести до конца.

Похвистнев горько улыбнулся.

— О, это самое трудное для русского генерала в наше время. Мужеством в полной

...ре обладает у нас только один генерал — ...русилов. Он старше меня всего на два го... Мы с ним однокашники. Я его помню ка...-пажом... Вся его карьера прошла на ...их глазах. Он шел вперед уверенно и без ...кой помощи. Он всегда знал, чего хотел. ... никто не подозревал в нем мужества. ...беды в то время ему давались сравнитель... легко — он не выходил из обычного ряда. ...нче ему суждено свершить великие дела ... не миновать беды... Мужества у нас не ...ощают.

Исподволь овладевал Игорь искусством ...командира в боевой обстановке.

— Умей принимать разумные решения,— ...ставлял его Похвистнев,— не увлекайся, ... думай. Холодно взвесь, а бей горячо.

Не сразу дошла до сознания Игоря жесто...кая мудрость боя. Не сразу усвоил он и ...твердо запомнил, что умение принимать ра...умные решения дается только тем команди...рам, которые привыкли к системе в работе ... никогда ничего не делают наобум, умеют ...пользоваться опытом войны. Опыт восьми ...месяцев войны был им упущен. Надо было ...наверстывать.

— Опыт войны сбережен твоими солдата...ми по крохам,— учил Василий Павлович,— ...умей собрать эти крохи, и ты избегнешь ...многих ошибок и сбережешь боевую отвагу. ...Поговори о задаче предстоящего боя с унтер...офицерами, с рядовыми. Поговори так, как ...если бы тебе надо было под пахоту очистить ...участок земли. По-хозяйски. Ведь ты же ...хозяин позиций, занятых врагом.

И еще много раз повторял Похвистнев:

— Помни: самовлюбленный невежда — ...слуга поражений.

Ах, как все это было ново Игорю, как ...трудно и... как увлекательно.

Он не хотел быть слугой поражений. Он ...жаждал чести быть воистину храбрым. Со ...всею присущей ему страстью он стал этому ...учиться.

XIII

Отряд Похвистнева, отличившийся в зим...ней кампании на Карпатах, был переброшен ...Брусиловым на правый фланг 8-й армии ...как наиболее устойчивый. В его задачу вхо...дило прикрывать левый, наименее защищен...ный фланг 3-й армии Радко-Дмитриева и ...действовать совместно с 10-м ее корпусом. ...Похвистнев не скрывал от начальников час...тей всю сложность и смертный риск, на ка...кие они идут. Десятый корпус 3-й армии, ...растянутый кордоном и обессиленный в пре...дыдущих боях, без резервов, без пополнений не мог быть надежным боевым товарищем. А именно сюда, по данным разведки, стягивались силы противника для главного удара.

В личной беседе с Похвистневым Брусилов высказался напрямик:

— Постигнуть высшие соображения главного командования мне не дано. Но для меня неоспоримо — нам готовят разгром. Радко-Дмитриев просит помощи. Я могу ему протянуть только свою правую руку. И эта рука — ты. Надеюсь на тебя, Василий Павлович.

И поцеловал своего однокашника и младшего товарища в губы.

Похвистнев ответил:

— Мог бы мне этого не говорить. Когда прикажешь — ударю.

Отряд Похвистнева первый принял на себя атаку германцев. Он вышел из окопов, как один человек, опрокинул первые ряды атакующих, прорвался к деревне, где стояли немецкие резервы. Но соседний полк с правого фланга соседней 3-й армии не принял боя, артиллерия не поддержала. Гоня перед собою бегущих немцев, отряд ворвался в деревню, попав под пулеметный огонь. Люди падали, ползли, извивались и застывали неподвижно. Игорь видел, как вперед выбежал его генерал. С револьвером в руке, он повел остаток своих людей в обход деревни, огородами. Они бежали по вязким грядам, спотыкались, падали, бежали снова. Игорь догнал генерала. Несколько офицеров последовали за ним.

— Назад! — крикнул Похвистнев и остановился.— Назад, по своим местам!

Игорь слышал топот бегущих, задыхающихся людей, видел падающих товарищей, пламя, кровь и запрокинутое, любимое лицо, с желтыми стертыми зубами, золотую коронку у края вспененных губ, раздробленное плечо.

Похвистнева положили на шинель. Надо было бежать, неся драгоценную ношу. Раненый стонал, захлебывался кровью. Его строгие глаза подернулись пленкой. Игорь наклонился над генералом, спрашивая его—может быть, лучше остановиться, положить на землю? Василий Павлович не отвечал, не слышал.

Все офицеры были перебиты. Генерал смертельно ранен. Солдаты сбегались жалкими кучками. Кругом леса, отвесные скалы, ручьи, и за каждым камнем — подстерегающий враг. Остатки отряда оказались в мешке. Надо было искать звериные тропы, чтобы спастись. Игорь повел своих людей ощу-

пью. Они продирались в лесной чаще трое суток без пищи, неся на руках умирающего командира...

Третья армия была выбита из окопов и должна была отступать на всем протяжении стапятидесятикилометрового фронта. Противник вклинился в разрыв между брусиловской армией и армией Радко-Дмитриева. Командарм 8-й стянул к своему правому флангу все, что только мог, и возможно медленней стал отходить от рубежа к рубежу. То, что он предвидел, свершилось.

XIV

Восьмая армия не оставила противнику никаких трофеев. Штаб армии перенесли в Броды. Брусилов отдал приказ по армии: далее отходить нельзя, мы на нашей границе, тут надо держаться во что бы то ни стало.

— Я верю в свою армию. Надеюсь, и армия мне верит. Я переживал с нею все ее невзгоды, понимаю, как ей пришлось трудно, но настает час, когда надо забыть о себе, жертвовать собою за родину...

Призыв любимого командарма был услышан. Войска стойко удерживали фронт. Армия приводила себя в порядок, закапывалась глубже, укрепляла оборону, подтягивала резервы и вооружение.

Солдаты чинили бельишко, амуницию, писали домой письма, пели грустные и веселые песни, вживались в лагерные будни. В офицерском собрании, наскоро задрапированном зеленым каленкором, по вечерам пиликали вальсы и крутились пары, гундосили граммофоны и подпевали подпоручики, звенели стаканы и хлопали пробки. Между линейками в роще мелькали женские платья, в темноте позванивали шпоры, звенел смех...

В Бродах, в штабе армии кипела работа. Как в часовом механизме, завод приводит в движение сначала маленькое колесико, а оно уже подхватывает зубцы большого колеса, и секундная стрелка успевает обежать положенный круг, в то время как минутная все еще неподвижна, так и в штабе уже чувствовалось приближение боевой страды, тогда как в расположении войск еще царило затишье. Горячо шла работа по снабжению армии, по обучению прибывающих пополнений, совершенно неподготовленных. Эта работа сопровождалась бесконечной перепиской со штабом фронта и питающими базами. На запросы вместо винтовок и недостающих офицеров присылались ответы с разъяснениями и отказами. Тогда собирали винтовки, взятые у австрийцев и немцев. Корпуса, дивизии, полки рапортовали, что патронов к трофейным винтовкам не имеется, что в строю на полк всего лишь пять-шесть кадровых офицеров, что присланные прапорщики наскоро и плохо обучены, что кадры унтер-офицеров пополняются учебными командами в недостаточном количестве.

Штаб армии помочь беде не мог, настойчиво требовал от командиров корпусов, дивизий, полков самим выходить из положения, на ходу воспитывать младший командный состав, экономнее расходовать огнестрельные припасы.

Но всего больше задавал работы главнокомандующий фронтом. Он закидывал командарма бесконечным количеством приказов, разъяснений, противоречивых директив и ворохом неприятных телеграмм. В них излагается ряд ошибок, которые, по мнению Юзфронта, были допущены штабом армии.

В телеграммах дипломатично винили не самого командарма, а его начальника штаба. Драгомиров, сменивший Алексеева, уже был отчислен в резерв. На его место назначили генерала Саввича, служившего раньше в корпусе жандармов. Саввич с увлечением «допекал» Брусилова.

— Еще один барьер! — смеясь, говорил Алексей Алексеевич своему начштаба Ламновскому.—Их не оставляет надежда, что я в конце концов сломаю себе шею. Но ведь недаром я когда-то считался одним из лучших кавалеристов и на состязаниях получал призы... Авось, вывезет и на сей раз.

Но прошло время, когда нельзя было отделаться шуткой. Саввич пересолил. Он позволил себе делать Брусилову выговор. «Общая линия действий вашего высокопревосходительства,— писал он,— вызывает сомнение в их целесообразности, в связи с задачами, стоящими перед Юзфронтом».

Одновременно с этой телеграммой пришла другая от верховного. Николай Николаевич благодарил Брусилова за удачное отступление 8-й армии и просил не терять присущей ему бодрости в дальнейших действиях.

— Поди тут, разберись! — с горечью говорил Алексей Алексеевич Ламновскому.— Любит — не любит, плюнет — поцелует, к сердцу прижмет — к чорту пошлет... Нет,— резко оборвав, закончил Брусилов,— к чорту — я и сам сумею уйти. Этому надо положить предел. Пишите великому князю, что на основании последней телеграммы Иванова, я считаю для себя неуместным оставаться на своем посту, к пользы делу, как командующий армией принести не могу. А потому прошу меня отчислить...

Ламновский, тяжело передохнув, отер лоб пот. Он знал, что спорить с командармом

бесполезно, что сказанное им не отменяется. Но он не мог представить себе армии без Брусилова. Он сознавал, что уход Брусилова — катастрофа.

— Алексей Алексеевич,— едва проговорил он. — Алексей Алексеевич!..

— Выполняйте мое поручение,— остановил его Брусилов и склонился над очередными бумагами.

Когда текст телеграммы был готов и трепетной рукой начштаба положен на стол перед командармом, в кабинете несколько секунд стояла тишина.

Брусилов внимательно прочел текст, подписал его, пристукнул преспанье и только тогда поднял глаза на Ламновского.

— Садитесь, дорогой Иван Федорович,— произнес он по-будничному просто,— вы взволнованы. Верьте мне, я не меньше вас огорчен необходимостью пойти на крайнюю меру... Оставлять армию я не хочу. Оставлять армию в такую минуту, когда она в особенно тяжелом положении, бесчестно. Если моя телеграмма этого не скажет между строк верховному — значит, бесчестье у нас считается ни во что. Тогда я воистину не имею права возглавлять армию.

— Поставить на карту... — попытался было возразить Ламновский.

— Солдат ставит на карту свою жизнь ежечасно, дорогой Иван Федорович. Воевать — значит, ставить на карту все. Но ведь карта эта — Россия. На нее проиграть нельзя.

XV

Из ставки пришел ответ. Верховный категорически отказывал в смене командарма. Он благодарил его за боевую службу, но предписывал неукоснительно подчиняться велению главнокомандующего.

Брусилов понял, что предложение выполнять приказы главнокомандующего вызвано, несомненно, жалобами Иванова.

Надо было ехать к нему объясняться.

Брусилов сбирает вещи в походный несессер. Он не любит поручать это кому-нибудь другому. Приятно самому укладывать эти необходимые пустяки: граненые с серебряными крышками флаконы с тройным одеколоном и туалетным уксусом, мохнатые полотенца, зубную пасту, бритвенный прибор, зеркальце, ножницы для ногтей... Что еще? Ах, да,—носовые платки, головную щетку, гребенку...

— С этими пустяками,— говорит он,— у меня свя[illegible]ы самые приятные воспоминания о моей юности, о Кавказе, о матери... о производстве в офицеры, о жене... Они мне сопутствовали всюду... В них есть что-то особенному интимное... Вы не находите, Иван Федорович?

— Пожалуй... да... я как-то над этим не задумывался,— смущенно отвечает Ламновский.

— Да и не стоит думать.— смеется Алексей Алексеевич,— это помимо нас, и у каждого свое... свой пунктик, как говаривал мой дядя. Интересно, какой пунктик у нашего почтенного Николая Иудовича?.. Дал же бог ему такое отчество!

Для Иванова появление командарма 8-й не могло быть неожиданным. Но бородатое лицо главнокомандующего выражало явное смущение, когда Брусилов вошел в его кабинет.

Брусилов предстал перед ним одетый по форме, при всех орденах, по-деловому серьезный.

Николай Иудович, напротив того, преодолев смущенье, повел себя простецки:

— Алексей Алексеевич, родной мой! Да что же это вы? Да за что же это вы на меня, старика, обижаетесь? Ума не приложу. Уж я ли к вам не всей душой. Да садитесь, садитесь, бросьте эту официальность, не нам с вами считаться... Ну вот так, выкладывайте. Начистоту, начистоту... И как вы могли только подумать. Ай-яй-яй!..

Иванов поглаживал бороду, кивал головой, улыбался, лукавые глазки его обволакивали собеседника самым сердечным благорасположением.

— Ведь я же на кого сетовал?—восклицал он.— Кому ставил на вид? Вашему штабу, бумажным этим людишкам. Им бы на все отписываться, по всякому поводу мудрствовать.

— Позвольте вам заметить, ваше высокопревосходительство,— холодно остановил его Брусилов,— мой штаб находится под моим непосредственным начальством. Сам по себе он ничего делать не может, ни от чего отписываться не смеет. Я сам обязан наблюдать за действиями и работой моего штаба. Не отвечающих своему назначению лиц я устраняю. Однако смею доложить вам, что на сей раз таких лиц не усматриваю. Начальник штаба генерал Ламновский и весь штаб работают хорошо. Если же они заслужили неудовольствие главнокомандующего, то в этом опять-таки виноват я.

— Ну, знаете, Алексей Алексеевич, это уж, простите мне,— гордыня. Прямо скажу— гордыня,—начинает сыпать слова Иванов, но его снова прерывает сдержанный голос Брусилова:

— Исходя из этих соображений, я просил верховного освободить меня от командования

армией. Его императорское высочество почтил меня благосклонной телеграммой — вот она...

Командарм протягивает Иванову телеграфный бланк.

— Признаться, ее последняя фраза меня несколько смутила. Она подтверждает мои сомнения в возможности продолжать службу под руководством вашего высокопревосходительства. Если мои возражения на иные приказы Юзфронта рассматриваются вашим высокопревосходительством не как стремление помочь вам в трудном и общем для нас деле, а как своеволие и сознательное неподчинение...

— Да господи боже мой! Да ничего подобного,— опять вскидывает руки, ахает, качает из стороны в сторону головой Иванов.

Но Брусилов неумолимо идет к своей цели.

— Если это так, повторяю я, то кто же может дать мне гарантию в том, что вообще все мои действия не вызывают сомнений и неудовольствия Юзфронта.

— Да не так! Не так, заверяю вас. Откуда у вас такие мысли?

Иванов прижимает к груди руку, всем туловищем тянется через стол к Брусилову:

— Еще недавно я слышал от его величества самые лестные о вас отзывы. Помилуй бог! Какие сомнения? Какое неудовольствие?

Он крестится:

— Вот вам святая правда. Никаких!

— В таком случае вашему высокопревосходительству не трудно будет ответить мне прямо: пользуюсь ли я вашим доверием? И что вы имеете лично против меня?

Иванов широко улыбается, откидывается на спинку кресла, вынимает большой клетчатый носовой платок, звучно сморкается, вытирает платком усы, говорит удовлетворенно:

— Ну вот — так бы давно следовало... С этого бы и начали, отец родной. Так бы нам, старикам, и поговорить по душам. А то напугал, напустил холоду,— ваше высокопревосходительство, ваше высокопревосходительство... Дослужились мы оба вровень до этаких чинов, как будто бы и считаться нечем... А я, видит бог, своей службишкой отягощен. И не впору мне такая власть... А уж вами, Алексей Алексеевич, помыкать так—я помыслить совестно. Хоть сейчас берите у меня власть, берите. Садитесь на мое место — только спасибо скажу. Я по-честному вам откроюсь: боюсь этой войны, не в добрый час начали ее. Только бы удержаться, к себе не допустить, а все эти Галиции — к чему они нам? Большое недоверие имею...

— Это вы о своем недоверии — в ответ на мой вопрос. Так прикажете понять?—с усмешкой спросил Брусилов.

Иванов увернулся, но ответил. Вспомнил зачем-то японскую кампанию, намекнул на какие-то серьезные обстоятельства, диктующие власти решительные меры, перескочил на любимый свой конек—артиллерию, на происки Думы...

Уже зажгли электричество, уже доложили, что подан обед, а главнокомандующий то горячится, то благодушествует, но так и не возвращается к вопросу, поставленному Брусиловым.

За обедом присутствует генерал Саввич. Алексей Алексеевич раньше с ним не встречался. Это настоящая лиса с пушистым, заметающим след хвостом и вкрадчивыми движениями. «Он и этого бородача перехитрит»,— думает Алексей Алексеевич и нарочито в его присутствии заявляет после обеда Иванову твердо, тоном, не допускающим возражений.

— Должен сказать вам, Николай Иудович, что ваше гостеприимство, ваша милостивая беседа, ваше доброе вино могут расшевелить самое черствое сердце и дают мне право думать, что в дальнейшем недоразумения, какие имели место между нами до этого дня, не повторятся. Не так ли? — значительно глянув в сторону Саввича, добавляет он.

Иванов задерживает его руку в своих горячих пухлых ладонях.

— Конечно, конечно!

Саввич смиренно склоняет набок голову. Командарм садится в машину. Ему настойчиво желают успехов во всех его начинаниях.

XVI

— Моим начинанием может быть только одно — наступление,— говорит Брусилов.— Они не заставят меня топтаться на месте. Кто бы и что бы ни говорил, моя армия будет наступать. Незачем сколачивать, учить, вооружать людей, если их не хотят вести к победе. Конюх седлает коня не для того, чтобы он стоял в стойле.

Командарм знает,— его армия сдала первый экзамен на выдержку, отступив за Буг. Второй экзамен — умение перевооружаться и приготовиться к бою на виду у противника и при самых скудных материальных возможностях. Этот второй экзамен тоже будет сдан. Войска пополнились. Большая часть дивизий доведена до пяти-семитысячного состава. Люди, которым нехватило вооружения, обучаются в тылу своих частей и старательно питаются хорошими щами и жирной кашей.

Они выглядят молодцами и охотно возьмутся за ружья, когда придет их черед. Противник последнее время лениво занимается перестрелкой. Чудесно! Надо только не упустить время и взять инициативу в свои руки. Тогда и третий экзамен — бой, победный наступательный бой — будет выдержан.

Немцы неуклонно нажимают на наши Северо-Западный и Западный фронты. Пали пограничные крепости Новогеоргиевск и Брест-Литовск. Наши армии стремительно откатываются на восток. Этому нужно положить конец. Уж не тем ли способом, какой предлагает Иванов? Отсиживаться и ждать.

— «Большое недоверие имею...» К чему ваше высокопревосходительство? К своим способностям? Боже избави! К моей воле? К русскому солдату? К силе сопротивления России? Вы полагаете, что у вас есть основания не доверять нам? Но никакие ваши недоверия и старанья не помогут. Я буду наступать.

Как же развернем мы боевые действия? Самое слабое место — это наш правый фланг. Между ним и левым флангом Западного фронта — все расширяющийся разрыв. В образовавшейся щели болтается только наша конница и кавалерийский корпус соседней армии. Никакого серьезного значения для обороны участка в семьдесят верст, да еще сплошь заболоченного, они иметь не могут. Совершенно ясно — противник большими силами всех трех родов оружия хлынет именно сюда для охвата нашего правого фланга.

Собрать большие резервы на этом участке невозможно. Распоряжением верховного командования около половины 8-й армии переброшено на север. Задерживаться дольше на Буге не имеет смысла. Необходимо до решительного броска вперед оттянуть своевременно правый фланг на Луцк—Ровно. Опираясь на «железную» дивизию, фронт получит достаточную устойчивость, чтобы задержать врага на Стубеле. У Деражны и севернее нужно сосредоточить 7-ю и 11-ю кавалерийские дивизии и Оренбургскую казачью. Но этого мало. Иванов обязан усилить меня еще одним корпусом. Тогда я сумею перейти в короткое наступление, нанести сильный удар противнику с охватом его левого фланга.

Новый корпус я сосредоточу у Степани. Так!..

Само собою, немцы дремать не станут. Все их усилия будут направлены к тому, чтобы выйти на мой правый фланг и в свою очередь постараться отбросить нас обратно на восток.

Ну что же! Три пехотных и одну кавалерийскую дивизии двинем на Колки, этого будет достаточно, чтобы парировать маневр германцев. На всякий случай одну дивизию возьму в резерв, в мое распоряжение на линии Клевань—Олыко. Так будет крепко!

Брусилов встал и прошелся по комнате. Как всегда, в минуты душевного и умственного напряжения, он чувствует во всем теле необычайную легкость.

Вести наступленье всем фронтом. Так, как давно задумано, взвешено, решено. Подготовить прорыв оперативного значения, осуществив его во многих пунктах и одновременно. Спутать карты противника. Обмануть его. Враг знает: обычно мы сосредоточиваем ударную группу исподволь, передвижение наших войск от него не скроешь. Он во-время стягивает резервы, изготавливается, и наша замахнувшаяся рука повисает в воздухе. Мы никогда не пробовали навалиться на врага всеми фронтами. Грубейшая ошибка. В результате этой ошибки на участке, который атакуется нами, враг всегда сильнее нас и в техническом и в людском отношении. Как же не понять такой простой вещи? Но осуществить такую операцию может только главнокомандующий... Ну, что ж! Значит, надо добиваться своего назначения на этот высокий пост!

Брусилов сдвигает брови. От этого глаза его с немеркнущей искрой в широких зрачках становятся еще пристальней, еще зорче.

— Значит ли это, что я хочу власти, что я тщеславен?

Седеющий ус Алексея Алексеевича шевелится. Пустяки! Ему свойственны серьезные недостатки, но тщеславия у него нет. Да и может ли оно быть в работе?

— Это необходимо для спасения России,— снова нахмурясь, громко говорит он.—И я этого добьюсь, чего бы мне это ни стоило.

И уже совсем по-домашнему громко, так, чтобы его услышали за дверью:

— Саенко, милый, распорядись-ка насчет чаю.

И когда адъютант входит вслед за денщиком, несущим на подносе стакан чаю в серебряном подстаканнике, Алексей Алексеевич с улыбкой замечает:

— Чудесный чай! Помнишь у Тургенева кто-то из его героев говорит:—«Чай должен быть крепким, горячим и сладким, как поцелуй возлюбленной»... Вполне разделяю это мнение.

I

Лето царь проводил в Царском Селе в кругу своей семьи, под неусыпным наблюдением царицы. Распутин не прекращал своих «бесед» с Александрой. Царица все более укреплялась в необходимости выполнить свое «предназначение», указанное ей старцем. Ей нужно было как можно скорее устранить все препятствия и первое из них — ненавистного «Николашку». В его руках была фактическая власть — войско, с его именем была связана необходимость вести войну до победного конца.

— Его нужно убрать как можно скорее. Он преступник,— твердила Александра.— Он готов повторять любую гнусность обо мне и нашем друге, лишь бы уронить твой престиж и выдвинуть себя. Я знаю.

Подвыпивший великий князь Дмитрий Павлович в компании офицеров своего полка сбрехнул, что он с приятелями, которых очень много, скоро разделается с Гришкой. Офицеры подняли бокалы за благополучное уничтожение «грязного мужика».

Слушок о «патриотическом тосте» дошел до Воейкова, а там и до царицы. Царю этот слушок представили как подготовку к дворцовому перевороту.

Николай пришел в ярость. С ним это редко случалось, но в раздражении он поступал, как взбесившаяся лошадь, скачущая напропалую через плетни и овраги.

— Я его не пощажу,— повторял он.

Дмитрия Павловича вызвали на «поправку» в Петроград, а участь Николая Николаевича была решена бесповоротно.

Четвертого августа, после доклада, царь заявил военному министру Поливанову, что он намерен вступить в верховное командование армии.

— Когда армия в трудном положении, я считаю себя нравственно обязанным присоединиться к ней и взять на себя руководство дальнейшим ведением войны,— вставая, торжественно произнес Николай.

Поливанов, сутулясь, склонил голову.

— Я могу только изумляться, государь, величию и мужеству вашего решения. Но смею заметить, что ваше величество берет на себя задачу, превосходящую силу человека, ибо положение страны требует ныне большого к себе внимания и непрерывного общения вашего с правительством...

Поливанов шил белыми нитками. Он был плохим царедворцем — царь видел его насквозь. Министр призакрыл глаза и упрямо смолк.

— Министры будут приезжать ко мне в ставку,—помедля, возразил Николай.—Я все хорошо и детально обдумал. Мое решение твердо.

II

Слухи о смене верховного ползли по столице и разносились в туманных намеках газетами по всей стране. Одиннадцатого августа представители всех фракций, за исключением крайне правых и левых, собрались на квартире Родзянко и пришли к соглашению о необходимости «организовать страну при помощи думского законодательства». К этому заключению присоединилось и большинство членов Государственного совета. Так образовался «прогрессивный блок», тотчас же приступивший к выработке резолюции.

Предварительно блок послал Родзянко к царю своим парламентером. Председатель Думы «умолял» государя не подвергать свою священную особу тем опасностям, в которые она может быть поставлена последствиями принятого решения сменить верховного... Московская городская дума подхватила резолюцию «блока» и потребовала «создания правительства, сильного доверием общества и единодушного, во главе которого должно стоять лицо, облеченное доверием страны».

Трудовики, эсеры, меньшевики обещали членам блока «поддерживать все прогрессивные их устремления». Представители революционного пролетариата — большевистские депутаты—давно уже были лишены голоса и угнаны в заполярье.

Шестнадцатого августа военный министр доложил своим коллегам о предстоящих переменах в высшем командовании. Всполошившиеся не менее членов блока министры испросили приема у царя. Их приняли 20-го в девять часов вечера в Зимнем дворце. После короткого сообщения Горемыкина выступили один за другим министры — Кривошеин, князь Щербатов, Харитонов, Сазонов, Самарин и Поливанов. Они указали на то волнение, какое может охватить страну, когда она узнает, что царь уехал из столицы, от своего правительства, в армию, сместив великого князя, точно попавшего в опалу за последние неудачи на фронте.

Министры говорили смиренно: они умоляли, убеждали, настаивали. Горемыкин, распустив губы и белые бакены, моргал красными века-

покорно кивал головой. Хвостов фыркал и смотрел на царя собачьими глазами, готовый загрызть любого по первому требованию. Царь изящно постукивал пальцами по золотому портсигару. Глаз он не подымал, неопределенно бормоча: «Я подумаю, мне об этом доложат»... Министры, не шевелясь, смотрели на него. Тогда, опираясь ладонями о малиновое сукно стола, готовясь встать и безразлично глядя вперед на золоченые двери, император сказал:

— Я выслушал ваши соображения... и остаюсь при своем мнении.

❄

28-го произошла решительная схватка. Представители общественности и министры двинулись в последнее наступление.

За подписью восьми министров, среди которых четверо — министр иностранных дел Сазонов, финансов — Барк, обер-прокурор священнейшего Синода Самарин и министр внутренних дел князь Щербатов — были особенно ему ненавистны, Николай получил письмо. Умоляя, министры писали, что решение царя сместить Николая Николаевича «грозит России, Вам и династии Вашей тяжелыми последствиями». Письмо заканчивалось угрозой: «На заседании от 20-го вочию сказалось коренное разномыслие между председателем Совета министров и нами в оценке происходящих внутри страны событий и в установлении образа действия правительства. Такое положение во всяком случае недопустимо, а в настоящие дни гибельно. Находясь в таких условиях, мы теряем веру в возможность с сознанием пользы служить Вам и родине».

❄

Письмо министров царь прочел в автомобиле, отвозившем его на Елагин остров во дворец к Марии Федоровне. Равнодушно пробежав каллиграфически переписанный ультиматум, Николай разорвал его и, следя за уносимыми ветром клочками, сказал своему дежурному флигель-адъютанту лейтенанту Саблину:

— Какое мальчишество... они думают запугать меня своей отставкой... точно мало найдется таких же дураков, как они... Еще сегодня мне передавали, что блок выдвигает премьером Родзянко, а он один стоит их всех вместе...

— Если прибавить к нему Гучкова в качестве министра внутренних дел, а Милюкова в роли иностранных дел,— подхватил угодливо Саблин,— то получился бы винегрет, от которого стошнило бы самого Гаргантюа.

— И этакую пакость мне преподносят каждый день! — морщась, сказал Николай.

Министры, с мнением которых не посчитались, подали прошение об отставке. Отставку их не приняли, Государственную думу прикрыли, и члены Думы, требовавшие «министерства доверия» и принимавшие угрожающие резолюции, смиренно, с криками «ура» разошлись по домам.

III

Любимый учитель и командир, смертельно раненный, умер, вынесенный из боя на руках своих солдат. Их вывел из окружения Игорь. Он сумел сохранить боеспособность и дисциплину отряда, не дав ему рассеяться. Отряд с боем прорвался через фронт врага, неожиданно атаковав с тыла его окопы, и у Сана присоединился к отступающей армии Радко-Дмитриева.

Потрясенный ужасом разгрома армии, сраженный личной скорбью по своему учителю Похвистневу, Игорь поехал в ставку, где должен был отдать завещание Похвистнева в собственные руки Николая Николаевича. Тут-то и началось то, что всколыхнуло под ногами Игоря, казалось бы, незыблемую почву. Странное отношение верховного к действиям генерал-адъютанта Похвистнева, игра интересов вокруг событий, вестником которых прибыл Игорь, наконец награждение Игоря офицерским георгием не столько за самый его боевой подвиг, сколько за то, что делало этот подвиг «полезным и выгодным» кому-то,— все это наполнило наболевшее сердце поручика сомнениями и тоской, ударило по лучшим его чувствам и заставило усомниться в себе.

Предложение Коновницына вступить в содружество офицеров, возглавляемое великим князем Дмитрием Павловичем, поставившее себе целью уничтожить Распутина, «опозорившего трон и пошатнувшего устои государства российского», оказалось той соломинкой, за которую жадно ухватился Игорь.

Ему предлагалось взять на себя ответственную задачу. Он должен был воспользоваться тем, что его временно прикомандировали к штабу Петроградского округа, и тем, что брат его назначается товарищем министра и вхож в известные круги. На Игоря возлагали обязанность произвести возможно полную разведку вокруг «известной особы» с тем, чтобы можно было наметить время и место решительного удара. Самый удар должен был нанести человек, избранный сообществом. Игорю необходимо было пойти туда-то и туда-то, встретить того-то и того-то и действовать согласно полученным директивам. «И никак не торопиться,—добавлял Коновницын,—а то я тебя знаю—вспыхнешь, кинешься, очертя голову, и все пойдет прахом... Сейчас нам важен не медведь, а его берлога».

Игорь долго и трудно думал над этим предложением. Оно открывало ему дорогу к боевому действию и вместе с тем в нем было что-

то мелкое, затхлое. Что именно, Игорь определить не мог... Он знал, что не подготовлен судить здраво о политических событиях и тем более разгадывать их причины. Политические убеждения он понимал как следствие моральных принципов, незыблемых от века. У Игоря был абсолютный слух на лживость и своекорыстие в человеке, как у иных бывает он в музыке. Игорь решил итти ощупью, но по слуху. На сей день для него это был единственный доступный ему способ найти самого себя, свое место в жизни.

IV

Петроград встретил Игоря дождем и ветром. Частый противный косой дождь бил в поднятый верх извозчичьей пролетки. Встречные пешеходы под зонтами и в калошах жалко ежились. На Неве гудела сирена. В квартире матери, на Таврической, Игоря встретил старик лакей — Антон, оставшийся на лето стеречь вещи. У Антона болели зубы. Он ходил с подвязанной щекой, хмурый, и пахло от него гвоздичным маслом. В комнате сестры Ирины на письменном столе лежало нераспечатанное письмо из действующей армии, очевидно, от Васи Болховитинова, полученное после отъезда Ирины сестрой на фронт. В комнате Олега царил невообразимый хаос: под столом стояла батарея бутылок из-под шампанского, коньяку и ликеров. На столе валялись две пары лакированных полуботинок, жестяные коробки с трубочным табаком, сигарные ящики и пустой опрокинутый сифон. Вчера было воскресенье — отпускной день, и Олег развлекался по-своему.

Игорь раздраженно хлопнул дверью, приказал подать себе умыться и, не выпив кофе, предложенного Антоном (Антон пил кофе во все часы дня), отправился на службу. Он был откомандирован временно в штаб Петроградского округа, представителем Преображенского полка.

В штабе толкалось много народу. Шныряли озабоченно гвардейские прапоры, бегали писаря и вестовые, слышались раскаты здорового смеха. У двух попавшихся Игорю на глаза прапорщиков-преображенцев на щегольских френчах белели значки пажеского корпуса. Одному из них Игорь крикнул раздраженно: «Окопались!» И только тогда сообразил, что это глупо, когда вышел на площадь. Дождь хлестал ему в лицо, извозчик ждал у подъезда. Делать больше было нечего. Начальства своего он не застал, начальство, как ему доложили, бывало редко — дело шло само собою под руководством штабных писарей.

— Черт знает что такое!—крикнул Игорь дождю, ветру, порядкам в штабе и самому себе.

Он полистал в записной книжке, назвал извозчику один из тех адресов, которые были указаны в письме Коновницына. Извозчик повез его в Измайловские роты. Там у серого казенного вида дома Игорь вылез из пролетки, приказав дожидаться, и поднялся на второй этаж.

— «Иван Павлович Кутепов»,— прочел он на медной дощечке и позвонил. «Что бы ни было, каков бы ни был этот Кутепов — не упускай ничего,—сказал он себе.—Надо завести блокнот, приучусь записывать, а то память может подвести».

Минуты через две за дверью что-то царапнуло, дверь приоткрылась, в узкую щелку, за цепочкой, Игорь увидел из темноты глядящие на него два припухших глаза.

— Вам кого?—спросил женский неприветливый голос.

— Мне полковника Кутепова.

— Пожалуйте карточку.

«Да что она не видит, кто перед ней»,— подумал, сдерживая себя, Игорь, брезгливо отчеканивая сообщенный ему пароль:

— Я от Ивана Ивановича. А карточка моя — вот.

Прошло еще некоторое время, наконец дверь перед ним распахнулась. Сняв шинель, Игорь в сопровождении женщины прошел из темной передней в зальцу. Женщина оказалась толстой, расплывшейся кухаркой в синем засаленном переднике над вспученным животом. Пройдя вперед, она обдала Игоря букетом лука и лаврового листа. В столовой Игорь увидел сидящего за обеденным столом военного в белом кителе. Перед военным стояла тарелка, на тарелке лежал аппетитный, залитый сметанным соусом бочок куропатки. Военный, видимо, только что принялся завтракать.

— А-а,— протянул он, вытирая легким взмахом салфетки пышные усы и чуть приподнимаясь из-за стола,— милости прошу!

Когда он опустил салфетку, Игорь увидел русую, разделенную надвое холеную бороду и на широких плечах кителя полковничьи погоны. Перед ним был лейб-гвардии Литовского полка полковник Кутепов, один из главных руководителей сообщества.

— Прошу садиться,— сказал он с благодушной улыбкой, открывшей великолепные зубы.—Вы застаете меня за завтраком, не посетуйте. Еще прибор!—крикнул он продолжавшей стоять возле двери толстой женщине.

Игорь отказался от завтрака. Он присел к боку стола, внимательно наблюдая хозяина. Полковник взялся за нож и вилку.

— Напрасно,—воскликнул он,— много потеряете! Глафира — исключительная повариха, своего рода художник. Я люблю хорошую кухню. А вы?

Игорь смущенно помялся. Он никогда не задумывался над этим вопросом, но сейчас был голоден и с удовольствием бы поел. Застенчивость и желание соблюсти приличие заставили его отказаться от завтрака.

Кутепов ел удивительно красиво и невольно вызывал зависть. Каждое его движение было точно, легко и непринужденно. Когда он жевал, красивое лицо его не делалось, как это бывает у многих людей, туповато-сосредоточенным. Напротив того, оно озарилось легким светом испытываемого удовольствия, глаза начинали блестеть возбужденно и весело, точно каждый проглоченный кусок был чудесным открытием. Пальцы, державшие вилку и нож, были нежны, как у женщины, длинные и холеные ногти блестели розовым лаком.

— Куропатка божественна,— уверенно молвил Кутепов после нескольких проглоченных кусочков.—Стакан!—крикнул он снова кухарке,— и достань бутылку Мозеля. Вы предпочитаете белое или красное?—обратился он к Игорю.—Рекомендую Мозель. Весьма неплохое винишко, хотя и немецкое. Его у нас теперь сохранилось мало.

Кухарка подала узкую высокую бутылку и тонкий в сверкающую стрелку стакан. Игорь успел приметить, что сервировка у полковника была тщательно, со вкусом подобрана. «Что за странный субъект,— думал Игорь,— в нем что-то изнеженное, сластолюбивое и вместе очень уверенное в себе, твердое.. а рот совсем, как... у кого же? Дай бог памяти, еще недавно... ай... ну, конечно, совсем как у Сонечки — жадный, с бесстыдно вывернутыми губами...» Игорь невольно вспыхнул, раздраженно шевельнул плечами.— «Однако он не собирается начинать разговор...»

Кутепов только изредка бросал незначащие фразы, очевидно не желая нарушать то состояние прислушивающегося к себе удовольствия, в каком он находился.

— Мне писал Коновницын, мой товарищ по Пажескому корпусу,— начал, наконец, выведенный из терпения Игорь.

Но полковник с улыбкой перебил его:

— Одну минуту. Я сейчас кончу, и мы поговорим на свободе. Кофе подашь в кабинет,— приказал он кухарке, убиравшей тарелки.

— Она у меня пятый год,— сказал он, когда кухарка вышла, и потянулся за сыром.— Я вам отрежу кусочек. От Соловьева—швейцарский.

Точным движением он отрезал тыльной стороной ножа тонкий лепесток и положил его на тарелку перед Игорем. Другой лепесток, чуть запрокинув голову, призакрыв голубоватые выпуклые веки, поднес к губам и понюхал.

— Сыр обаятельный,— произнес он таким тоном, точно говорил об актрисе.—Да, пять лет,— проводя кончиком языка по небу, продолжал Кутепов.— Я заметил, что вас поразил ее вид. Она неряха, урод, но незаменима. Даже на Гастона от Кюба ее не променяю. Она смотрит мне в глаза, следит за каждым глотком, изучила все мои привычки. К тому же у меня бывают дамы, я холост, и никто из них не заподозрит, что я могу иметь связь с этим монстром.

Полковник улыбнулся, сверкнув зубами.

«Он знает, что улыбка красит его»,— подумал Игорь неприязненно. Голова чуть кружилась от выпитого натощак вина, откровенности хозяина казались излишними, дурного тона.

— Денщиков не держу,— откусив сыра и глотнув вина, продолжал Кутепов.— Хамы, суют нос куда не надо. Глафира нема, как рыба. Она ведет запись моих приемов. Деловых и интимных.

Улыбка снова осветила лицо полковника.

«Женщины, наверно, без ума от его улыбки,— решил Игорь.—Фу, до чего все это противно...»

Кухарка, толкнув ногою дверь, внесла кофе в кабинет. Кутепов встал из-за стола, захватив с собою фарфоровую доску с куском слезящегося сыра, и жестом пригласил Игоря пройти вперед.

Игорь остановился пораженный. Все стены кабинета были увешаны женскими портретами. Их было больше сотни — писанных маслом, пастелью, акварелью, карандашом, снятых всеми способами, во всевозможных манерах, во всех видах. Тут были дамы в бальных и вечерних туалетах, и девушки в беленьких институтских передничках, и особы неопределенного возраста в неопределенных маскарадных костюмах. Большинство из них,—Игорь не мог не признать,— были хороши собой. Трое или четверо, совершенно обнаженных, казались соседними с картин. На письменном столе лежал под стеклом гипсовый слепок женской груди. Прекрасная мраморная копия роденовского «Поцелуя» стояла в углу на гранитном цоколе.

— Музей!—заметив недоумение Игоря и весело скаля зубы, воскликнул Кутепов.—На-

мять моих увлечений. Это еще не все. Но, разумеется, лучшее из моей коллекции.

Полные губы его раскрылись в жадной и обнаженной улыбке.

Игорь с внезапно подступившей к горлу спазмой брезгливости отвел от него глаза.

— Есть прелюбопытные экземпляры,—добавил Кутепов после паузы, валясь в низкое кресло и расставя мускулистые стройные ноги.— стоит рассказать... Но сейчас давайте побеседуем о деле... Итак, вы могли бы установить слежку за этим прохвостом.

Чтобы не выдать свою неприязнь, Игорь смотрел в сторону, на один из портретов. Кутепов оборвал начатую фразу, стукнул каблуками об пол, мастясь поудобнее, и пробормотал чуть картавя, растягивая слова:

— Что, хорошенькая? А? Не правда ли? Это одна из последних.

V

На совещание, которое состоялось на квартире Кутепова через неделю после знакомства с ним Игоря, собралось несколько молодых гвардейских офицеров, два капитана академии Генерального штаба и один молодцеватого вида генерал-майор. Открыл совещание Кутепов. Он сказал с обычной своей обворожительной улыбкой, что не смотрит на это собрание близких друг другу лиц как на официальное совещание, но просит всех высказаться запросто, поделиться друг с другом настроениями в полках, на фронте, в обществе и выслушать обещавшего прибыть к нему члена Государственной думы Пуришкевича, который только что вернулся из своей поездки по фронту с санитарным поездом своего имени.

— Он хочет высказать нам, русским офицерам гвардии, кое-какие свои опасения,— сказал Кутепов, с улыбкой поглаживая пышный ус.

Молодые офицеры молчали. Они хмуро поглядывали друг на друга с таким видом, точно спрашивали, чего, собственно, от них хотят, когда и так все ясно. Оба капитана академии заявили, что они хотели бы выслушать сначала его превосходительство. Генерал-майор вспыхнул, дернул шеей и, неожиданно вскочив с места, гаркнул:

— Да что же, господа! Кабак! Говорить не о чем!—и так же неожиданно сел, видимо поняв, что горячиться незачем.—Когда прикажут,— мы готовы,— добавил он, нахохлившись.

— Можно сказать с уверенностью, что большинство офицерства стоит на нашей точке зрения,— начал один из капитанов.—При нынешних условиях войны не кончишь. Армия разваливается. То, что знает офицерство, начинает доходить до солдата. У нас полагали — смена верховного вызовет недовольство. На поверку вышло так, что теперь уже никто ни за что не держится. При таком настроении всякая крайняя пропаганда неминуемо увлечет низы к анархии. Нужно принять меры. И чем скорее, тем лучше.

Капитан под конец речи стал повизгивать, под глазом у него задергался какой-то мускул, лицо пошло пятнами.

— Конечно, мы знаем, откуда все это идет,— начал второй капитан. Он чуть заикался, говорил с явным немецким акцентом, пощипывал рыженькую бородку, тянул слова, чтобы скрыть заикание.— Теперь говорят всюду. Распутин в пьяном состоянии похвастывает, что прогонит великого князя, прогонит Самарина и великую княгиню Елизавету Федоровну. Это крайне опасный нападок. Он сможет принять размеры колоссальные. Но кто станет писать опровержения? Никто!

Капитан поднял палец, скосил на него глаза.

— Единственный есть способ.— сказал он решительно,— это обелить себя категорическим действием. Виноват он или нет — все равно, надо кончать. Я сказал все.

— Какого чорта!—неожиданно раздался из-за спины Игоря чей-то хриповатый басок. Игорь оглянулся. В дальнем углу он увидел худенького, маленького, неказистого офицера, очевидно пришедшего позже всех.

— Вот тут говорили — неблагополучно. Распутин виноват. И прочая. Надо кончать... У нас в армии каждый день это слышишь. А толк какой? И с кого начать? Почему с Распутина? У нас на фронте артиллерии, пулеметов против немцев одна четвертая часть да и к тем снарядов нехватает. Разоруженные войска тают, как воск на огне. Снаряды посылают то ли из Америки, то ли из Японии — они либо малы, либо в пушку не лезут, и приходится их отправлять к бабушке, а самим сидеть без снарядов, с берданками. А берданки — чорт-те какие! Три-четыре раза выстрелил, и затвор к монаху. А задние ряды вовсе без винтовок. Это война — я вас спрашиваю? В этом Распутин виноват?

Офицер пригнулся, упершись руки в расставленные колени. Лицо офицера было темно, бородато, глаза горели зло. Он сверлил ими улыбавшегося Кутепова.

— Ты не улыбайся!—неожиданно прикрикнул он.— Ты известный бабник, и на побоишься хлопнуть кого надо — это я знаю. А вот почему же ты не говоришь прямо всем этим молодым людям,— офицер махнул черной кистью руки в сторону Игоря,— не говоришь, что тут не один Распутин виноват, а вся клика.

с нею дражайший полковник в первую очередь. Пускай бы ехал в Данию цветы сажать.

— Мархлевский! Прошу тебя,— начал было Кутепов, делая строгое лицо, но офицерик перебил его, точно отмахиваясь от мухи и внезапно широко и по-детски улыбнувшись:

— Ладно! Конспирируйте. А только скажу честно—надоело! Надоели разговорчики и всякие дипломатические намеки. Ясно — или мы должны почиститься, или нас вычистят, уж это будьте покойны. И не поштучно, а оптом. Я солдата своего знаю и люблю, и он ко мне — с уважением, но, видит бог, если не сегодня-завтра начнет меня бить, так я слова не скажу — за дело!

— Тебя бы и сейчас побить не мешало,— сдержанно возразил Кутепов,— хорошо, что здесь все свои и привыкли... Но вот Игорь Никанорович, он несомненно удивлен...

Игорь отвел глаза от Мархлевского со странным чувством. Что-то в нем близко было Игорю. Его горячность, прямота, правдивость. Но вместе с тем что-то казалось нелепым, даже неприятным. Этот его намек на государя и особенно признание какой-то своей вины перед солдатами...

«Чем же мы-то виноваты перед ними?»— спросил себя Игорь, чувствуя, что от этого вопроса ему долго теперь не отделаться.

— Нет, отчего же...—начал Игорь.

Он знал, что все на него смотрят испытующе, что настала минута выказать себя в надлежащем свете.

— Я понимаю горячность капитана Мархлевского. Я сам недавно из действующей армии, и у меня также болит. А когда больно, то иной раз крикнешь громче, чем должно...

Кутепов закивал одобрительно, генерал-майор сочувственно хмыкнул.

— Но криками и паникой делу не поможешь,— продолжал Игорь. Лицо его становилось все жестче. Он с трудом сдерживал себя, чтобы не горячиться, не размахивать руками, не походить на Мархлевского.

— В сущности, чего боится капитан? Того, что его будут бить за отсутствие снаряжения или за то, что какой-то прохвост сознательно посылает не те снаряды? Или что Мясоедов шпионил, а Сухомлинов потворствовал этому? В этом мы с вами виноваты, капитан Мархлевский? Или в том, что честно защищали родину, иногда голыми руками? Или в том, что за нашей спиной грязный мужик проделывает свои грязные дела и прохвосты пляшут под его дудку? Нет, капитан Мархлевский. Я решительно отказываюсь причислять себя к этой клике. И меня никто бить не посмеет. Не за что. Бить буду я. Потому что это мой долг перед моей совестью, моим государем и моей родиной.

Игорь говорил сидя, вытянувшись, положив кулак на стол перед собою. Он только начал спор с Мархлевским, чувствуя, что не сумеет его здесь окончить. Это его мучило. Он искоса недовольно поглядел на Кутепова, когда тот поднял свои холеные руки и хлопнул в ладоши. Гвардейские офицеры сочувственно его поддержали. Мархлевский подошел к Игорю, сказал, глядя на него подобревшими глазами:

— Ничего-то вы не поняли. Но я рад с вами познакомиться,— и протянул жесткую, загорелую руку.

Игорь не успел ответить. В комнату быстрым шагом, поскрипывая сапогами, вошло еще одно новое лицо.

VI

Вновь прибывший был подвижен, одет в полувоенную форму чиновника Красного креста. На узеньких серебряных погончиках его красовались золотые звезды действительного статского советника. Штатский генерал этот показался Игорю одновременно и смешон и любопытен. Совершенно голый череп его, конусообразно сплюснутый, матово поблескивал. Поблескивали сквозь пенсне черные живые глазки. Блестели черные брови и бородка, точно смазанные чем-то жирным. Блестели голенища ладных, хорошо пригнанных сапог. Мелко и быстро кивая головой в ответ на приветствия, он прошел к столу и, остановясь, поправил на носу пенсне, от резких его движений съехавшее на сторону.

— Господа,— сказал он резким, крикливым голосом,— я должен извиниться перед вами. Я только что с заседания главного управления Красного креста. По обыкновению, пришлось ругаться. Без этого у нас в России не выполнишь ни одного путного дела. Главный медицинский инспектор Евдокимов — мерзавец. Голова пухнет от безобразий.

«Забавное начало,— подумал Игорь,— мне говорили, что Пуришкевич шут, но шут не веселый какой-то...»

Пуришкевич сделал паузу, взял со стола серебряную пепельницу — нагая женщина, плывущая на гребне волны,—поднес ее к глазам, повертел, рассыпая окурки.

— Я счастлив, что вижу перед собою цвет русской молодежи — представителей гвардии, стражу престола и лучших традиций русского воинства.

Пенсне блеснуло, съехало набок. Депутат поправил его, схватился за карандаш в се-

ребряной оправе, лежащий перед ним на столе.

— Увы, сегодняшний день нас не радует. Отцы не справились со своей задачей. Очередь за вами. Только вы можете остановить коней, несущих нас в бездну. Враг проник в наш дом.

Пуришкевич отбросил от себя карандаш, схватил что-то невидимое в воздухе.

— Берите его за шиворот и выводите на лобное место.

Руки оратора взлетели вверх и тотчас же с размаху ударились ладонями об стол.

— В течение года войны я был политическим мертвецом — я молчал. Я полагал, что все домашние распри должны быть забыты в минуту войны. Но сегодня я нарушаю обет молчания. Я кричу вам о вашей обязанности. Живой свидетель настроения русской армии, я заявляю — авторитет и обаяние царского имени в солдатской массе поколебался. И причина тому одна — Григорий Распутин.

— Позор!—крикнул какой-то молодой голос из-за спины Игоря.

Заскрипели стулья. Генерал сердито крякнул.

— Да. Позор!—подхватил Пуришкевич.— Это то слово, которое я хотел от вас услышать. Все загажено и заплевано. Этот гад, этот хлыст забирает что ни день, то больше силы. Он назначает и смещает сановников. Все чистое, что порою дерзает возвысить свой голос у царского трона против Распутина подвергается немедленной опале. В силе Мессалина — Анна Вырубова, прощелыга-аферист дворцовый комендант Воейков, приспешник Григория.

— Позор!—снова крикнул молодой голос.

Кто-то, тяжело задышав за спиною Игоря, вскочил со стула.

— Убить! Его нужно убить немедленно!

Игорь оглянулся. Он увидел пухлое, румяное мальчишеское личико, искаженное судорогой страха и ярости. Это был, очевидно, только что произведенный прапорщик. Игорь поднялся, налил в стакан воды, поднес его юноше.

— Успокойтесь...

Юноша пил воду, стуча зубами о край стакана. Напившись, он тяжело вздохнул, благодарно глянул на Игоря. Игорь отвел глаза, поспешил отойти. Перед ним стоял, он сам, таким, каким был всего лишь год назад. Ему было стыдно себя, стыдно людей, сидящих вокруг. Он взглянул исподлобья на Мархлевского. Тот сидел в сторонке, согнувшись, усмешка скользила по его губам.

«Где же наша вина во всем этом?»—упрямо вернулся неприятный вопрос, и тотчас же с необычайной ясностью Игорь увидел: виленский лазарет, себя на койке и своего соседа, читающего смешную книгу «Герметическая медицина». «Да, господи ты боже мой! Ведь это же он и есть. Тот лохматый капитан с больной головой. Как же я сразу не узнал его? Мархлевский! Он самый».

❄

Выходили от Кутепова по одному, по-двое, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания. Игорь задержался, желая выйти с Мархлевским, который о чем-то говорил с хозяином дома. Но когда Мархлевский уже спустился по лестнице, к Игорю подошел бледный, на редкость красивый молодой человек в учебной форме пажа и попросил уделить ему несколько минут внимания. Очевидно, он явился на совещание последним. Игорь его раньше не заметил.

— Мы знакомы с вами,— сказал он тихим, но многозначительным голосом.—Я князь Юсупов. Мы встречались у Дмитрия Павловича. Он говорил мне о вас на этих днях. Я вижу, что вы торопитесь, и не задержу вас, но очень прошу позвонить во дворец и условиться с великим князем о дне встречи. Все эти сборища я считаю излишними и не рекомендую подвергать себя риску по пустякам.

— Но в чем же риск?—нетерпеливо перебил его Игорь. Высокомерный и безапелляционный тон Юсупова вызывал раздражение.

— А знаете ли вы, что Распутин охраняется сыщиками целых трех учреждений? И никто не поручится, что среди присутствующих не было такого, кто бы сегодня же не доложил ему о нас. Его охраняют шпики министерства императорского двора — по желанию императрицы, шпики от министерства внутренних дел и шпики — от кого бы вы думали?

— Не имею представления.

— Шпики от банков, махинации которых Распутин поддерживает. Вот почему тот, кто серьезно намерен уничтожить Распутина, не должен сам итти в руки зверя.

— Я не вижу, однако, оснований,— перебил его Игорь сухо,— почему бы мое здесь присутствие изобличало меня в злостных намерениях... Вряд ли кто-нибудь из собравшихся способен на выполнение акта, а возмущаться никому не запрещено. Кто только теперь этим не занимается!

Юсупов держался прямо, подтянуто, как

подобает юнкеру перед офицером, но он был старше Игоря годами, значительно выше стоял по общественному положению, и какая-то неприятная нотка превосходства звучала в его голосе:

— Вы ошибаетесь. Здесь найдутся дельные люди.

— Вы думаете?—в тон ему подхватил Игорь.

— Убежден. Один из них перед вами.

От неожиданности Игорь чуть подался назад.

— А другой,— можете положиться на мою скромность,— все в том же тоне продолжал Юсупов,— другой — вы сами.

Он протянул Игорю руку. Игорь невольно пожал его холеные пальцы, не успев ни возразить, ни возмутиться.

— Итак, не забудьте позвонить Дмитрию Павловичу,— будничнo-небрежно сказал Юсупов на прощанье и, четко повернувшись на каблуках, пошел к выходу.

VII

— Каков наглец?—бормотал Игорь, последним выбегая на улицу и растерянно оглядываясь по сторонам.— Кто дал ему право? Что за тон?

Спустились сумерки, ветер поддувал под шинель, сверху сыпало что-то холодное. Игорь сделал несколько нерешительных шагов. Сердце билось учащенно, бестолково.

— Эх! Шут с ними со всеми! Как решил, так и будет!—выкрикнул он упрямо и зло.

— А вы всегда думаете вслух?

Игорь дернулся в сторону. Рядом шлепал по лужам Мархлевский.

— Плохая привычка для заговорщика.

— Вот те раз!—обрадовался Игорь.— А я вас искал, хотел выйти вместе. Представьте— узнал вас не сразу, а помню хорошо. Вы тот самый капитан, что лежал со мной рядом в виленском лазарете.

— Тот самый,— добродушно согласился Мархлевский.— Я узнал вас тотчас же... Вы мало изменились с тех пор, возмужали немного... А я тогда лежал пластом, кикиморой небритой, правда и сейчас у меня щетинка...— Капитан, посмеиваясь, провел рукой по шершавой щеке.

— Как странно мы встретились,— помедля, снова заговорил Игорь,— никак не ждал... в таком месте... при таких обстоятельствах...

— А вы все еще мучаетесь?—быстро метнул на него взглядом Мархлевский.

— Да. Мучаюсь. И вам не верю, что вы не мучаетесь тем же. Иначе, зачем бы пришли вы к Кутепову.

— Вот те раз!—добродушные складки пошли гулять по обтянутым щекам Мархлевского. —Кутепов — мой давний приятель, однокашник по Первому корпусу и Павловскому училищу. Вместе вышли в Литовский полк, да я вскоре был отчислен — пошел в глухую пехтуру на Дальний Восток, застрял в капитанах. А он так и остался столичной штучкой и обогнал меня чином... Вы меня извините, но ходить к такому пошляку со своими мучениями — это уж смешно.

Игорь даже не нашел что ответить, так сразили его слова капитана.

— В таком случае, зачем же было сидеть, слушать других и самому выступать?

— А я люблю слушать. И говорить люблю. Вы этого не заметили в лазарете? У меня тогда голова болела зверски. Да и теперь нет-нет побаливает... Оттого и сослан в тыл.

— Все это не резон,— угрюмо перебил его Игорь.

— Нет, как же! Резон есть. Мне нравятся смелые люди. Я уверен, что смелый человек, при всей его глупости, на что-нибудь дельное да пригодится. Надо только его подзудить маленько.

— Значит, по-вашему, все, что говорили,— вздор.

— Что вы! Помилуйте! Сущая правда, а не вздор.

— Ну?

— Ну и хорошо, что заговорили. Даже такой зубр и закостенелый черносотенец, как Пуришкевич, и тот в колокола ударил. Вот и Кутепов мой — хоть и дурак, а и тот засучил рукава. Я его шире размахнуться подбиваю. Шире валяй! Повыше!—Мархлевский рассмеялся.

— Не понимаю я вас,— упрямо огрызнулся Игорь.

— Чего же не понять? В евангелии, кажется, ясно сказано: «Придет час, когда и камни заговорят». Вот они и заговорили.

Игорь схватил Мархлевского за рукав шинели.

— Вы, действительно, считаете нас младенцами?

Мархелевский произнес серьезно:

— Большинство из вас — политические младенцы. А Пуришкевич—политический шарлатан.

— Благодарю.

Игорь прибавил шагу. Он боялся своей несдержанности, где-то глубоко в душе не хотел ссоры с Мархлевским.

— Да вы не сердитесь,—добродушно убеждал его капитан, не умея соразмерить свой шаг с походкой Игоря,—он был мал ростом и коротконог.— Вы и тогда на меня сердились и теперь. А право, не за что.

Игорь смягчился, попытался итти медленно, в ногу.

— Вы совершенно правы — в политике я очень несведущ, но мне кажется, что каждый честный человек...

— Бросьте, милый,— задушевно перебил его Мархлевский.— Стоит ли говорить! Кричи — не кричи, а революция все равно сметет все это к чорту.

Игорь приподнялся и заглянул соседу под козырек.

— Вы революционер?—спросил он пытливо и требовательно.

Мархлевский усмехнулся.

— В лазарете вы меня за толстовца приняли,— ответил он,—а теперь революционером величаете. А я ни то, ни другое. Хотел бы замуж, да маменька не велит,— добавил он дурашливо и горько.— У меня мать чудесная. Такой другой не сыскать. Мы с ней вдвоем живем. И кофе пить очень любим. Но все-таки, скажу вам,—перебил он себя,—я настолько умен, что кое в чем разбираюсь и на пуришкевическую глупость не пойду.

— А я пойду,— холодно ответил Игорь и взял под козырек.— Честь имею!

VIII

Двадцать третьего сентября царь прибыл из ставки. Царица сообщила ему о назначении Хвостова министром внутренних дел, а Константина Никаноровича Смолича — его товарищем, как о деле решенном. Царь подмахнул указ. Вырубова благословила Константина Никаноровича иконкой. Баронесса фон Флеше в своем особняке на Каменноостровском проспекте дала блестящий раут, первый в этом сезоне. Константин Никанорович был нарасхват. Он принимал дела, знакомился со служащими, перемещал, увольнял, назначал, вел переговоры с нужными людьми, ездил за информациями к Вырубовой, имел свидание с Распутиным, представлялся царю и царице. Он был упоен своим могуществом.

Все эти обстоятельства и дела не давали Игорю возможности подойти к старшему брату вплотную и разговориться на свободе. Однако все же ему удалось кой к чему приглядеться и вывести свои заключения. Константин Никанорович встретил его весьма благосклонно. Чин поручика гвардии, полученный вне очереди, георгиевский крест, молва о личном подвиге Игоря — все способствовало тому, чтобы товарищ министра отнесся к младшему брату со вниманием. Игорь же не только не успел, но и не хотел высказываться перед братом начистоту. Неизменно вежливый по отношению к брату, он не был ни навязчив, ни холоден. Он заходил только тогда, когда его звали, оставался ровно столько, чтобы не показаться лишним. На рауте у баронессы Игорь перезнакомился со множеством людей, так или иначе вершивших распутинскую политику. Воспитанный, сдержанный, строгий, не бросающий слова на ветер молодой преображенский офицер и георгиевский кавалер всем понравился. Фон Флеше очень сочувственно отозвалась о нем Константину Никаноровичу.

— Из него выйдет толк,— сказала она убежденно.— Он себе на уме, скрытен и чрезвычайно приятен в обращении. Совсем на английский лад.

Дважды Игорю удалось встретиться с министром внутренних дел Хвостовым. Министра залучила к себе баронесса, чтобы сблизить с Константином Никаноровичем. Хвостов, с обычной своей жизнерадостностью, расспрашивал Игоря о фронте и предвещал успехи. Улучив минуту, Игорь, заранее предвкушая удивление министра, сказал ему как бы невзначай:

— Недавно ваше имя с большой надеждой упоминалось в обществе офицеров у полковника Кутепова.

Тень испуга прошла по круглому лицу Алексея Николаевича, углы пухлого рта дернулись вверх в неясной фальшивой улыбке, на светлые глаза легла непроницаемая тень.

— А, вот как!—воскликнул он с наигранным добродушием.—Вы знакомы с милейшим Иваном Павловичем! У него бесподобная коллекция хорошеньких женщин. Счастливец! Передайте ему мой привет.

И тотчас же откатился от Игоря, мягко семеня ножками.

«Трус!—злорадно и горько подумал Игорь.— В какой гнусный вертеп я попал».

Манусевич-Мануйлов встретил Игоря как старого доброго знакомого.

— Ба! И это тот самый юноша, с которым я познакомился на Каменноостровском в день манифеста. Вы были тогда так счастливы, что, глядя на вас, я обрел свою молодость. Недаром месяц войны засчитывается за год. Вы стали взрослым.

Иван Федорович говорил легко, с улыбочкой, по обыкновению кидал слова точно бы на ветер.

«С ним надо держать ухо востро»,— подумал Игорь, невольно, однако, поддаваясь игривой напористости Ивана Федоровича.

С живостью капризной женщины, не привыкшей ни в чем себе отказывать, Манусевич тотчас же завладел Игорем. Это был странный припадок расположения, пока что бескорыстного. Суеверный жест игрока, когда, поддавшись внезапному вдохновению, он ставит на «темную» лошадку.

Ощущение нежности к этому строгому юноше приятно щекотало нервы. Его влекло излить ему свою душу. Он повез его к Лерме.

— Я познакомлю вас с очаровательной, необыкновенной женщиной, известной певицей. Мы с ней большие, большие друзья.

Игорь, никогда не видавший Лерму, достаточно был о ней наслышан. Он согласился принять приглашение, им руководило какое-то неясное предчувствие, какое бывает у охотника, идущего на крупного зверя.

Лерма сочно расцеловала Игоря, разглядывая его бесстыдным взором опытной женщины.

— Да он хорошенький! Прелесть какой!

В гостиной сидел еще один человек, назвавший себя Альбертом Альбертовичем Пельцем. Он оказался молодым, очень застенчивым берейтором из того манежа, где Лерма брала уроки верховой езды.

«Недаром мне все здесь напоминает конюшню»,— зло подумал Игорь.

Манусевич сыпал словами, забавлял анекдотами, но от Игоря не ускользнула его повышенная нервозность, и он ничуть не удивился, когда, распрощавшись с певицей, Иван Федорович принялся уговаривать Игоря поехать с ним в клуб поужинать и там, сидя за столиком, признался ему:

— Я люблю эту женщину. Я все готов отдать ей. Вы молоды, вы еще не знаете, что такое последняя любовь. Помните Тютчева:

О ты, последняя любовь,
Ты и блаженство и безнадежность...

Игоря коробило от того, что этот маленький, шустрый человечек цитирует его любимого поэта в заплеванных стенах кабака. Но он молчал, потягивая, сквозь стиснутые зубы, шампанское.

— У меня путаная, пестрая жизнь,— откровенничал Манусевич. Блестящие глаза его стали матовыми.— Я давно утратил веру в людей. Я и в себя мало верю. Но ей я верил. И она меня предаст. Вы видели этого мальчишку Пельца. Он торчит у нее ежедневно. Он молод, чорт побери! Вы тоже молоды,— скажите мне, неужели молодость может заменить ум, богатство, успех?

Игорь молчал.

— Я ревную. Это смешно, но я ревную,— исповедывался Манусевич.—Какое это омерзительное чувство. Я это говорю только вам. Вы случайный дорожный спутник... Нам слезать на разных станциях и больше не встретиться. Я желаю вам всяческого счастья, и боже сохрани вас от ревности. Но скажите, что же делать мне с этим Пельцем?

Игорь решил испытать Манусевича:

— Вызовите его на дуэль.

— Вы думаете?

Иван Федорович даже несколько смутился. Но хитренькая привычная улыбочка тотчас же дернула его губы.

— Увы! Это не для меня!—воскликнул он.—Я не привык вверять свою судьбу случаю. Я решил другое.

Быстрым движением Манусевич отодвинул стакан и, положив локти на стол, нагнулся к Игорю.

— Я пойду к вашему брату и попрошу арестовать Пельца.

— По за что же?

— Мало ли за что можно арестовать теперь человека с немецкой фамилией,— небрежно сказал Иван Федорович.

— И брат, не разобрав дела, арестует его?

— Ну конечно,—испытующе весело подхватил Иван Федорович,—в порядке взаимного одолжения.

— Какая гадость!

Это восклицанье вырвалось у Игоря случайно.

«Этот офицерик не так прост, ему что-то надо,— решил Иван Федорович.— Своего брата он презирает. Зачем же, в таком случае, надел маску? Что заставляет его поддерживать связь с Константином Никаноровичем и его средой? Честолюбие? Карьеризм? Нет — не похоже».

Едва эти догадки мелькнули в живом воображении Манусевича, как он уже уверенно потянул нить за удачно пойманный конец.

— Ах, друг мой,— сказал он ласково, во всю ширь глаз глядя на Игоря,— вы чистый, благородный воин. В руках ваших меч, перед вами враг, и вам остается одно — сразить его. Верьте мне,— мы лишены этого счастья здесь, в тылу. Жизнь запуталась и «связь времен распалась»... Я не хочу оправдываться, я, может быть, защищаюсь презренным оружием, но иного у меня нет, и иным я владеть не умею. Я действительно поступлю с Пельцем так, как сказал. Ваш брат,— я не хочу клеветать на него,— он умный, культурный, государственный человек, но он действительно исполнит мою просьбу. Почему? Да потому, что если у меня есть враг, то у него их сотня, и я помогу ему разделаться с ними. Он это знает. Константин Никанорович реальный политик. Он хочет быть капралом, раз он взял палку. Вот почему он сторонник Распутина.

Глаза Манусевича стали еще круглее и ласковее. Игорь крепче сдавил пальцами ножку

фужера. С каким наслаждением он плеснул бы шампанское в лицо этому прохвосту...

Иван Федорович догадывался о его желании и внутренне торжествовал. В его план отмщения Хвостову входил новый персонаж.

— О Распутине,— продолжал он медленно, смакуя каждое слово,— толкуют у нас вкось и вкривь. Вы, конечно, знаете, что я к нему близок. Не стану скрывать — я его доверенное лицо, и благодаря мне ваш брат занимает теперь пост товарища министра.

Он сделал паузу, наслаждаясь произведенным эффектом. Игорь был бледен. Чтобы скрыть нервное движение руки, он поднял фужер и залпом выпил шампанское.

— Ваше здоровье!—подхватил Манусевич и, в свой черед, пригубил из своего фужера.—Григорий Ефимович мужик умный и упрямый. Но я упрямее его.

Он пьяненько засмеялся.

— Назначение Хвостова прошло волею Распутина, но помимо меня,— пояснил Манусевич.—Распутин скрыл от меня это назначение. Тем хуже для него. Он поплатится за это.

— Как?

Это восклицание было лишним. Очевидно шампанское ударило в голову. Игорь провел рукой по лбу. Лоб был холоден и влажен. Он оглянулся по сторонам. Ресторан гудел от пьяных голосов. Было жарко, накурено, гнусно. Несколько раз во время разговора к Манусевичу подходили какие-то люди развязного вида, говорили что-то о своих газетных делах, сообщали новости и, смеясь, переходили к другим столикам.

— Его ставленник воздаст ему за меня с лихвой,— после паузы со вкусом ответил Манусевич.— Милейший Алексей Николаевич Хвостов человек не глупый, но с зайчиками. Он ненавидит старца, хотя и поднялся с его помощью. Еще больше он не любит своего товарища министра. Константин Никанорович ему навязан — он глаз Распутина. Я примирю Хвостова с вашим братом. В благодарность за это ваш брат упрячет Пельца.

Манусевич торжествующе прихлопнул ладонью по столу. Игорь мучительно старался понять сложный узор его интриги. Это не давалось ему. Он морщил лоб, боясь выдать свое смущение. Но Манусевич не спешил рассеять туман: он выжидал. Игорь теперь для него совершенно ясен. Дергать незачем — пусть сам идет на крючок. Иван Федорович не ошибся. Игорь решительно, отбросив настороженную сдержанность, приступил к нему:

— Говорите прямо, как вы хотите отплатить Распутину. При чем тут примирение Хвостова с Константином Никаноровичем?

Игорю противно было называть его братом.

— Помилуйте!—с деланным удивлением возразил Манусевич.— Да ведь примирение это может состояться лишь в том случае, если Константин Никанорович заслужит доверие своего принципала и докажет ему свою преданность, предав в его руки старца.

— Но разве он на это отважится?

— Безусловно. Вся вина падет только на Хвостова. Ваш брат останется в стороне и будет даже иметь основание пенять Распутину за его неосмотрительность и нежелание целиком довериться его охране.

Игорь резко взмахнул рукой и опрокинул фужер. Какие-то тупые молоточки ударяли его по вискам, нервный холодок шел по спине. Он чувствовал такое напряжение, точно готовился к прыжку в глубокую пропасть. Сейчас должно свершиться то, что, наконец, приведет его вплотную к намеченной цели. Кончится этот отвратительный маскарад, это выслеживание зверя по гнилым болотам. С него довольно. И незачем ждать, незачем ходить на какие-то глупые совещания. Он сделает все один. Вырвать только из горла и этого прохвоста, что ухмыляется перед ним, последнее: где, когда и как он собирается предать Распутина.

И внезапно, перегнувшись через стол, буравя Манусевича глазами, Игорь заговорил горячим шопотом:

— Если вы решились разделаться с Распутиным, хотя бы из корыстных целей, то и этого достаточно, чтобы я вам сочувствовал. Гадину нужно уничтожить. Вы умный человек и должны понять. Скажите мне, как вы это сделаете?.. Доверьтесь мне!

Он схватил Ивана Федоровича за рукав визитки.

— Мне кажется,— заговорил вкрадчиво Манусевич.— что вы меня не совсем верно поняли. Дело обстоит не столь трагично. Уничтожать почтенного старца я лично не собираюсь. Достаточно, если его побьют маленько...

— Побьют?

Игорь тяжело передохнул. Возбуждение прошло. Он вытер со лба холодный пот, попытался улыбнуться. Несомненно, этот прохвост водит его за нос. Черт с ним!

— Мне кажется, вы выбрали страшную тему для шуток. Я лично не расположен их больше слушать, тем более, что уже поздно...

Он оглянулся, ища глазами лакея. Шампанское ударило в ноги. На сегодня и впрямь довольно. Впредь надо знать, с кем имеешь дело.

Манусевич огорченно вскрикнул:

— Помилуйте! Какие шутки! Не заставляйте меня раскаяться в моей откровенности. Все, что я вам сказал,— чистейшая правда и абсолютная тайна...

Он удержал Игоря за руку и тотчас же сам вскочил с места:

— Стойте! Я вам достану сейчас живого поручителя. Он подтвердит мои слова и подробно изложит наш план действия. И махнув кому-то из посетителей, что стояли у игорного стола в другой зале, крикнул:—Снарский! Михаил! Поди сюда! Скорее! Тебя ждет шампанское.

IX

Каждый раз, возвращаясь домой после всех этих встреч и разговоров, Игорь чувствовал себя запачканным. Снимая хаки, стягивая сапоги, принимая ванну, испытывал блаженство человека, смывающего с себя нечистоты.

Сколько раз Игорь в бессонные ночи хотел послать все к чорту, вернуться в полк, в действующую армию. Он запутывался все больше. Все труднее было ему разбираться в том, что он видел и слышал. Он перечитывал свои добросовестные записи в блокноте и все меньше понимал, зачем они ему нужны. Чего он хотел достичь этим упорным сыском? Кого изобличить? Кому открыть глаза? От кого требовать отчета? «Так, значит, прав Похвистнев, что нам осталось только одно—честно умереть. Или признать свою вину, как говорит Мархлевский. Какую вину? Перед кем? А если я грешен, то укажите мне мой грех, и я сам искуплю его. И разве нет у меня права поступать по вере моей? Ну и поступай! Поступай же, чорт тебя дери совсем! Чего же ты медлишь? Чего же ты тогда сомневаешься? Иди и делай».

Нет! Кончать! Кончать скорее, благо представляется подходящий случай.

Манусевич и Снарский рассказали Игорю в тот вечер план расправы с Распутиным. Он был чрезвычайно прост. Михаил Снарский, сотрудник «Нового времени», и очевидно, агент охранного отделения, приставлен был Константином Никаноровичем, по рекомендации Манусевича, к Распутину в качестве его телохранителя и развлекателя. Он должен был ездить со старцем по ресторанам и другим злачным местам и стараться, чтобы для кутежей его отводились такие помещения, откуда не достигали бы ушей посторонних пьяные скандалы. Сам Снарский жил в глухом Казачьем переулке, в том его колене, что выходило на Гороховую, где находилась квартира Распутина. Старец частенько пользовался мансардой Снарского для своих оргий. По плану Манусевича, Снарский должен был за счет министерства внутренних дел устроить у себя оргию в назначенный день и час. Начальник охранного отделения Комиссаров, замаскировав своих агентов, обязан был при выходе Распутина из подъезда напасть на него с ругательствами и привлечь своими криками внимание дворников и случайных прохожих. Последние препроводят Распутина в участок для составления протокола. Агенты тем временем незаметно скроются на автомобиле, а протокол о дебоше старца и о нарушении тишины и порядка полиция препроводит министру Хвостову как лишнюю улику и повод к высылке Распутина за пределы столицы...

Выслушав Снарского и выйдя с Манусевичем из клуба, Игорь потребовал от Ивана Федоровича, чтобы тот сообщил ему день и час, когда они предполагают выполнить задуманное. Игорь говорил решительно. Он дал понять, что иначе примет свои меры. Манусевич казался встревоженным. Он долго уговаривал Игоря не ввязываться в опасную затею, но втайне потирал руки от удовольствия. Брат товарища министра, гвардейский офицер, опознанный у подъезда квартиры Снарского с боевым оружием;— какой прекрасный козырь в умелых руках против Константина Никаноровича, если тот вздумает показать когти.

— Милый мой друг,— говорил Манусевич растроганным голосом,—вы так молоды! Вся жизнь у вас впереди. Оставьте нас в нашем болоте.

Но доведя Игоря до подъезда его дома, Иван Федорович сдался. Он дал честное слово, что как только Константин Никанорович распорядится с арестом Пельца, так тотчас же день расправы с Распутиным будет установлен и сообщен Игорю.

— Только, умоляю вас.— крикнул Манусевич, когда Игорь уже поднимался по лестнице,— не применяйте оружия. Ну, дайте ему по морде... Ну, выбейте ему зубы. Этого будет вполне достаточно... Стоит ли из-за какой-то гнусной мрази ставить на карту свою карьеру.

X

Через три дня Пельц был арестован. Константин Никанорович, хотя и мог принять в этом деле самостоятельное решение, предусмотрительно подсунул его Хвостову и, кстати, изложил ему задуманный план избиения Распутина. Алексей Николаевич весело смеялся. Ему понравилась затея. Он распорядился выдать аванс на оргию и сам пожелал проверить, все ли будет выполнено в точности.

— Только, милый Константин Никанорович,— сказал он, смеясь,— предупредите там

этих молодцов, чтобы не переусердствовали. Пусть бьют, но не до бесчувствия.

— О, само собой,— лукаво отвечал Смолич.—Они его будут бить в перчатках, чтобы не замарать рук.

Жизнерадостный министр на этот раз остался доволен своим товарищем. Он дружески пожал руку Константина Никаноровича и сказал благодушно:

— А что касается этого Пельца... то я не возражаю. Арестуйте молодчика временно, до разбора дела батюшинской комиссией...

Тут же был назначен день и час расправы с Распутиным.

— Завтра по окончании спектакля в Казачьем переулке.

Узнав об этом от Манусевича, Игорь отправился к Кутепову. Он считал своим долгом сообщить руководителю сообщества о своем решении. Сухо и обстоятельно он изложил Кутепову положение вещей. Он прочел ему все свои заметки из блокнота. Он передал свои разговоры со Штюрмером, Хвостовым, Манусевичем, Снарским. Он сообщил полковнику точные данные о том, что Распутин замешан в шпионской организации, действующей через Мануса, что каждый шаг государя известен врагу, что десятки высоких лиц,— он перечислил их имена,— ведут интригу за сепаратный мир, и Распутин поддерживает их. Игорь говорил, как следователь и прокурор. Он сидел на стуле, положив на колени руки, пальцы его вздрагивали, глаза все жестче впивались в красивое лицо Кутепова, нетерпеливо поглаживающего холеную бородку.

— Ни минуты нельзя медлить,— закончил Игорь.— В наших руках верный случай разделаться с прохвостом. Облаву организовали другие — тем лучше. На наше сообщество не может пасть подозрение. Не нужно об этом оповещать никого. Я один выполню все. Я имею на это исключительное право. Разрешите мне им воспользоваться.

Он смолк и встал, вытянувшись, как офицер перед своим командиром. Все душевные силы его были напряжены, так же как мышцы его лица и тела.

Кутепов невольно последовал примеру Игоря. Он поднялся со своего мягкого глубокого кресла.

— Я запрещаю вам, поручик, итти на этот акт,— проговорил он начальнически твердо.— Что вы затеяли, что вы придумали?—закричал он.—Откуда такая поспешность? Кто вас просил?

Он бегал, размахивая руками, не в силах собрать мысли.

— Поймите же вы, наконец, что так нельзя. Только разведка и документы! Документики, молодой человек, а не героические жесты. Документов побольше и поострее. Незачем примешивать сюда политику. Не вашего это ума дело. Побольше картинок, похабщины, сенсации. Принесите нам протокол о скандале в Казачьем переулке. Позовите фотографа. Публика любит все это. Только это ей импонирует. Если мы бросим ей этот жирный кусок, она поймет нас и будет аплодировать убийству. Ваших политических разоблачений никто не напечатает. Ни одна газета. Вы замешали сюда чуть ли не всех министров. Всех приближенных государя. Это же революция! Вы ее хотите? Ну, Вырубову,— чорт с ней! Ну, Головину. Ну, Штюрмера наконец! Сухомлинова можно — благо он уже сидит. Какого-нибудь Мишку Рубинштейна... Но не Мануса. Он же крупная величина. Дернешь его,— неизвестно кто за ним потянется. Вы абсолютно не поняли своей задачи. Вы производите серьезное, положительное впечатление, а поступаете, как ребенок. Так нельзя, дорогой мой! Ваша энергия чрезвычайно похвальна. Она будет учтена по достоинству. Придет час, мы воспользуемся вами, как должно. И вот вам моя рука — когда надо будет кончать, мы кончим. Верьте мне! Я сам благословлю вас и дам в руки разящий меч.

Кутепов протянул руку. Игорь невольно пожал ее и молча пошел к выходу.

XI

Некоторое время он шел по тротуару, не замечая дороги.

— Побольше картинок, похабщины, сенсации,— повторил он слова Кутепова.— Слушаюсь, господин полковник! Я позову фотографа и сниму вас в голом виде в обществе ваших любовниц. Назидательное зрелище для молодых героев. О, гнусный клопомор! Чем он лучше Распутина! И я шел к нему со своим гневом, с моей болью. Какой же я дурак!

Он вышел на Невский, спустился вниз по Морской, почувствовал, что чертовски голоден, и вошел в низенький ресторанчик Перца. Стоя у высокой стойки, он выпил подряд два больших запотелых рюмки водки, закусил горячим растегаем с паюсной икрой. Его возбуждение сразу улеглось. К чорту Кутепова и его «содружество»! Теперь все ясно. Он купил у газетчика «Сатирикон» и снова пошел вверх по Невскому, замешавшись в медленно двигающуюся толпу. Стишки в «Сатириконе» какого-то Жана Нуара заинтересовали его.

Где-то в прошлом затерянное счастье...
Вместо солнца, любви и цветов,
Видит он лишь открытые пасти,
Ряд гнилых, почерневших зубов...

«Да, это похоже на меня,— подумал он,— я тоже, как этот дантист, забрался пальцами в зловонный рот и перестал видеть солнце, любовь, цветы... А они существуют. Вот оно— солнце. Вот они—цветы».

Он остановился у огромной сверкающей витрины, за которой цвели, точно и не прошло лето, пышные кусты цветов; из открытой двери магазина сладостно веяло запахом роз. Ему захотелось унести с собой все это богатство красок, это душистое лето. Но когда бледная молоденькая продавщица предложила ему на выбор огромные корзины цветов, он вспомнил, что у него нет никого, кому бы он мог послать эти цветы, и ему стало грустно и почему-то стыдно. Смущенно он выбрал из вазы темнокрасную, почти черную розу. Продавщица обвернула конец стебля в белую папиросную бумагу, и он понес цветок перед собой, неловко отставив локоть.

«Какая блажь пришла в голову.— думал он,— еще встречу знакомых, черт знает что подумают». И растерянно оглянулся. Он стоял перед раскрытой дверью какого-то магазина, и на виду у всех пеленал злополучную розу в жесткие страницы «Сатирикона». На него смотрела со смущенной улыбкой девушка, которой он, очевидно, заступил дорогу.

— Простите, ради бога.

Какую-то долю секунды его глаза задержались на лице девушки. Она прошла мимо, опустив голову. На ней была маленькая фетровая шляпка с голубым перышком. В памяти всплыла большая движущаяся ветка, полная сиреневых гроздьев, мелькнули смеющиеся, девичьи лица, звякнуло три удара вокзального колокола... Псков, поезда, уходящие в разные стороны, милые девушки, которым он помог вскочить на подножку тронувшегося вагона...

«Это одна из них, одна из них...» Он рванулся вслед за голубым перышком. Он сам не знал, чего хотел. Он расталкивал прохожих, не замечая отдающих ему честь юнкеров. Он видел только то появляющееся, то исчезающее голубое перышко, которое надо было догнать во что бы то ни стало. Он догнал его, когда девушка пересекала Невский против памятника Екатерины и пошла сквером к Александринскому театру.

«Вот она сейчас скроется в подъезде театра»,— с ужасом подумал Игорь и поравнялся с девушкой. Она шла, семеня темносиними туфельками, плотно прижав локти к талии; сумочка раскачивалась у ее бедра. Девушка казалась очень маленькой, очень хрупкой. Игорь дышал прерывисто... Она услышала за собой его дыхание, испуганно подняв мохнатенькие брови, оглянулась. Он ждал и боялся этой минуты, но когда глаза его встретили ее удивленный взгляд, ему стало мерзко за свой наглый поступок. Он готов был провалиться сквозь землю и уже подался назад, а губы произносили сами, помимо его воли:

— Умоляю вас... не примите... мы с вами знакомы...

Голос звучал хрипло, едва внятно. Нелепые слова трудно было разобрать. Девушка передернула плечиком, смешливые огоньки побежали по ее большим, глубоко сидящим карим глазам, уголок строго поджатых губ дрогнул, и тотчас же все ее скуластенькое лицо пунцово зарделось.

— Это я... тот самый... помните?—бормотал Игорь, почему-то сдергивая с головы фуражку, пригнув плечи, как человек, готовый принять заслуженную отповедь.—Вы прибежали с подругой на вокзал... в руках ветка сирени... а поезд уже отходил... И я помог вам... Это было на псковском вокзале, в мае, в городе Пскове...

Он улыбнулся жалко и тотчас увидел на лице девушки ответную улыбку. Она его узнала, теперь не было сомнения. Щеки ее все еще горели, но губы раскрылись приветливо и смущенно. Она проговорила, прикрыв ресницами смеющиеся глаза:

— Да... я помню... это было очень мило с вашей стороны. Мы с Саней ужасно испугались, что поезд уйдет...

Они стояли друг против друга под памятником Екатерины, не смея больше встретиться взглядами, не зная, что сказать дальше.

«Сейчас уйду, раскланяюсь и уйду»,— думал Игорь, но не двигался с места, все еще держа в руках фуражку.

— Я вас задерживаю,— наконец, пробормотал он.

— Нет... отчего же... Я иду в театральное училище... это тут... — она неловко махнула назад сумочкой.

— Тогда разрешите... Я провожу вас...

У него вязли на языке эти пошлые слова, но он был бессилен придумать что-нибудь другое, не мог распрощаться и отойти. Она засеменила впереди него, ее голубое перышко колебалось на уровне его носа. Его охватила такая острая печаль, точно вот сейчас должно случиться что-то непоправимое. Он не знал, что именно, но твердо знал, что ему нельзя не следовать за этим голубым перышком, что оно неминуемо исчезнет для него навсегда, если он не сделает какого-то чрезвычайного усилия, не скажет чего-то значительного, чего-то, идущего от сердца. Они миновали Александринку, вошли в узкий и гулкий Чернышов переулок. Девушка не оглядыва-

валась, не замедляла шагу, не пыталась заговорить. Внезапно она остановилась у широкой двери большого желтого здания. Игорь снова увидел ее карие глаза под мохнатыми бровями.

— Ну вот, я пришла,— сказала она нерешительно, видимо не зная, подать или не подавать руки.

— Так скоро... — испуганно пробормотал Игорь и тут только вспомнил, что не назвал себя.— Боже мой!—торопливо заговорил он: я забыл представиться... Меня зовут Смоличем, Игорем Никаноровичем... вам все равно, конечно, но мне очень хотелось бы, чтобы вы запомнили мое имя... Игорь Никанорович Смолич... мне это страшно важно... видите ли...

Он окончательно смутился, замолк, чувствуя, что больше не сумеет произнести ни слова.

Девушка смотрела на него еще с большим испугом и удивлением. Если бы он мог наблюдать, он заметил бы, как она взволновала, какая у нее появилась милая беспомощная улыбка, когда она ему ответила:

— Я хорошо помню ваше имя... Вы брат моей подруги Ирины Смолич... Я и с вашим братом знакома, Олегом... Меня зовут Любой Потаниной...

Теперь он взглянул на нее во всю ширь глаз. Так это она, та самая девушка, о которой ему писала Ирина. Боже мой, как же это может быть! Откуда такое чудо?

— Вы Люба Потанина?

Она улыбнулась смущенно и вместе лукаво.

— А вы долго пробудете в Петербурге?

— Я? Долго... Нет, не знаю...

Она кивнула перышком, протянула руку.

— Ну, прощайте...

Он схватил ее маленькие пальцы, помял их в своей похолодевшей ладони, все еще не веря, что пришла пора расстаться, все еще не зная, как сказать самое главное, что обязательно нужно сказать.

Когда он поднял глаза, девушки уже не было. Он рванулся к тяжелой двери и тотчас же отскочил. Несколько смеющихся девушек выбежало ему навстречу.

XII

Игорь полон был встречей с Любой Потаниной.

Он закрывал глаза, он не мог представить себе ее черты. Только голубое перо на шляпе— вот все, что хранила его память. И еще чудесное имя — Любовь!

Все это только приснилось и никогда не повторится... Нет. Какой вздор! Люба Потанина живет здесь, в этом городе. Он не знает ее адреса, но всегда может его узнать. Он встретится с ней. Ее подруга называла ее мышонком. Она совсем крохотная, но в ней ничего нет мышиного. Ее глаза смотрят прямо и внимательно. Если ей рассказать все, что он пережил за эти дни,— она поймет. Но говорить этого — не надо. Ее не должна касаться эта грязь. Он сейчас пойдет и убьет — и все будет кончено раз и навсегда. Жизнь станет легка и прекрасна...

В половине одиннадцатого Игорь встал со скамьи в Летнем саду и пошел в Казачий переулок. С этой минуты он приказал себе не думать о Любе Потаниной. Она не должна была следовать за ним сюда. Он шел размеренным шагом, точно рассчитав расстояние и время. Таким же шагом стал прохаживаться по переулку. Переулок был глухой, прохожие попадались редко. Вскоре только Игорь да несколько подозрительных субъектов остались сторожить подъезд. Терпение еще не иссякло, но Игорь все чаще поглядывал на часы. Ровно в час ночи прекрасная темносиняя машина свернула с Загородного в Казачий. Игорь вгляделся в сидящих. Но там не оказалось того, кого он ждал. В автомобиле сидели Хвостов и Константин Никанорович. Рядом с шофером находился еще какой-то плотный господин в котелке. Машина лизнула фарами левую сторону тротуара, два подозрительных субъекта отделились от стены дома и побежали к дверце каретки. Машина убавила ход. Субъекты сняли шапки, что-то сказали. Константин Никанорович махнул им в ответ рукой, и автомобиль, загудев, свернул с Гороховой и скрылся. Казачий переулок снова погрузился в глухую мглу.

Игорь поднял глаза вверх — в мансардных окнах было темно.

«Однако же недаром приезжал Хвостов,— обнадеживающе подумал Игорь.— Все идет своим порядком. Терпение!»

Он опять зашагал к Загородному. Пальцы невольно нащупали в кармане боевой кольт. Он показался теплым, гладким, живым существом, которое не выдаст в нужную минуту. Скорее бы все кончилось!

Кто-то неслышно приблизился к Игорю, проговорил хриплым славленным голосом:

— Разрешите прикурить.

Игорь невольно достал коробок, чиркнул спичкой. Желтая мгновенная вспышка осветила усатую физиономию с красным носом и пышными усами. Это была типичная жандармская физиономия, осененная широкой фетровой шляпой.

Только сейчас Игорь понял, зачем нужно было этому типу попросить огня. Пусть! Чорт с ними! Он не собирается скрывать свои намерения...

У фонаря на углу Загородного Игорь снова

посмотрел на часы. Было без семнадцати минут два. Никакой театр не мог задержать компанию так поздно... Очевидно, мерзавец поехал еще куда-нибудь. Но Игорь решил ждать до утра. Этой ночью все должно кончиться.

Опять какой-то субъект вынырнул из тьмы.

— Разрешите узнать, господин офицер, который час?

— Убирайтесь к чорту!

Старец не приехал к Спарскому. Предприятие Манусевича в той версии, в какой оно было доложено Хвостову и рассказано Игорю, провалилось. Но зато блестяще удалось в другом варианте — так, как оно и было задумано хитроумным Иваной Федоровичем. Он предоставил филерам Константина Никаноровича сторожить подъезд дома, где жил Спарский, сколько им заблагорассудится. Он поручил одному из них установить личность брата товарища министра, присоединившегося добровольно к терпеливым сторожам Казачьего переулка. С веселыми добавлениями, с прибауточками он сообщил Распутину, как предполагает избить его министр Хвостов и как преданно охраняет его осведомленный об этом гнусном намерении товарищ министра Смолич.

Наутро начальник охранки Комиссаров доложил министру Хвостову, что всю ночь квартира Спарского была погружена во мрак и никакой оргии не состоялось. Запрошенный по сему случаю журналист Михаил Свирский сообщил, что Распутин в тот вечер был крайне занят делами и выезжал в Царское Село.

Вскоре, однако, министру удалось установить истину. Он узнал, что в ту ночь Распутин, Спарский, Манусевич-Мануйлов и Лерма с хором цыган весело прокучивали выданный на «оргию» аванс в отдельном кабинета Палас-театра.

XIII

Проснулся Игорь в два часа дня с мучительным сознанием, что его жестоко одурачили. Манусевич разыграл его, как последнего дурака. Пристав, явившийся на вызов охранника в Казачий переулок, потребовал у его благородия документы и, конечно, доложит о случившемся Константину Никаноровичу. Филер получил хорошую затрещину, но что толку?

В три часа Игорь, узнав номер телефона, звонил Любе Потаниной.

Сначала к трубке подошел швейцар, потом Игорь слышал, как швейцар крикнул: «Барышню Любу к телефону», слышал, как по ступенькам застучали каблучки, как девичий голос зазвенел: «Кто спрашивает?»

— Говорит Игорь Никапорович Смолич, тот офицер... Это вы, Любовь Прокофьевна?

Что-то зашуршало в мембране и после безмерно долгого молчания донесся едва слышно все тот же знакомый и вместе чужой голос:

— Нет... ее нет дома...

И аппарат выключили.

Игорь остался стоять перед телефоном. Он не повесил трубку на рычаг, а просто выпустил ее из рук. Трубка повисла на зеленом шнуре и долго качалась вдоль стены из стороны в сторону.

Вечером, получив все нужные справки и документы в управлении Генерального штаба, Игорь был у Мархлевского.

Он сидел в маленькой квартирке капитана среди множества книг, расставленных по полкам вдоль стен, и пил кофе, приготовленное матерью Мархлевского. Кофе было чудесное, но Игорь сознавал только, что оно очень горячее и что его нужно пить медленными глотками. Мархлевский радушно улыбался. У него оказались чудесные серые глаза.

— Итак, вы мне все-таки не сказали, зачем вам понадобилось возвращаться на фронт? — спрашивал капитан, сочувственно глядя на своего нежданного гостя.

— И вы все это прочли? — не отвечая на вопрос, глядя на ряды книг, спрашивал Игорь.

— Читать нужно мало, но с выбором,— тоже не отвечая прямо, сказал Мархлевский.

Так они беседовали, вполне удовлетворенные обществом друг друга. В комнатах было тепло и уютно, всюду чувствовалась заботливая рука хозяйки.

— Нет, какой же я революционер,— говорил Мархлевский, неопределенно улыбаясь.— Вот был у меня в полку очень интересный человек, прапорщик Потанин, настоящий революционер... Его ранили, с тех пор его не видел... Я завидую таким людям...

— Самое трудное на фронте — это бездействие, ожидание.

И внезапно, очень жестко и серьезно, сжав брови:

— Самое главное — враг на верху. Этого нельзя перенести, с этим надо покончить. Прежде всего. Да, прежде всего!

Через час Мархлевский проводил Игоря в переднюю. Когда гость опоясался ремнями, подтянул кобуру, привесил шашку с красной ленточкой, хозяин подал правую руку для пожатия, а левой быстро притянул к себе за шею Игоря. Они братски поцеловались, не сказав друг другу на прощание ни слова.

Мархлевский так и не узнал, зачем посетил его этот замкнутый в себя гвардейский поручик с печальными детскими губами. Вряд ли знал и сам Игорь, что именно толкнуло его к Мархлевскому.

I

Брусилов лежит на походной койке. Сон не смыкает глаз, они пристально устремлены в непроницаемый мрак. Слух напряжен, до него доносится каждый звук — скрипы, осторожные шаги дежурных, падение дождевых капель за стеною... Если бы не ночь, не звание, не почтенные годы, обязывающие его вести себя степенно, он вскочил бы на коня и ускакал бы в поле... Но надо лежать. Пусть думают, что он спит.

При свете можно было бы увидеть под распахнутым воротом полотняной ночной сорочки худобу его тела, острые ключицы, костистые предплечья, впалую с седыми волосами грудь... Ему шестьдесят два года. Он родился в тяжелую годину обороны Севастополя. И не однажды после над его головою полыхало боевое зарево.

Прожита большая жизнь. Иные в его годы могут подводить итоги и со спокойной совестью уйти на покой. А ему все кажется, что вот только теперь начнется самое главное, ради чего стоило жить.

Большая жизнь... На сторонний взгляд вполне благополучная, гладкая жизнь. Удачная военная карьера, крепкое здоровье, любовь жены, комфорт и уважение и наконец,— нечего скромничать,— заслуженные боевые успехи. Что еще нужно для счастья?

Но его не любит царь, подозревает в чем-то царица, его сторонятся соратники — высший генералитет, чины ставки, с ним преувеличенно вежливы сановники и отчужденно любезны большие барыни, как вежливы и любезны только с человеком чуждой среды. Почему?

Он сын генерал-лейтенанта, потомственный дворянин, племянник и воспитанник богатого и знатного дяди, кончил Пажеский корпус. Никогда не выходил из привилегированной военной среды, ничем не запятнан по службе и в глазах света. Но этот холодок... Он всюду преследует его. Его можно было бы не замечать, если бы он не имел последствий, пагубных для дела, для общего дела. Или холодок этот веет от него самого и отталкивает людей?

С ним заигрывают после галицийских побед думцы — Родзянко, Гучков, шепотком называют его «красным», кто-то имеет на него виды, связывают его имя с каким-то «новым курсом». Но видит бог, он ни красный, ни черный, ни белый... Ему претит вся эта игра, затеянная Рузским с печатью, с союзниками, с общественным мнением. Он служил и служит верой и правдой своему царю и народу. Он видит вещи такими, какие они есть. Если царю бог не дал сильной воли,— воля народа должна притти ему на помощь. Преступно от нее отказываться. С того часа, когда воля монарха отрывается от воли народа, ищет свои личные пути, укрепляет свою личную власть — с того часа властелин вступает в единоборство с народом и неминуемо должен пасть в неравной борьбе. На чьей стороне обязан стоять в такую пору верный слуга народа и царя? За кого обнажить свой меч? За верховную волю народа. Против царя?..

Да. Если царь не в силах выражать власть народа. Тогда царь уже не властелин, а жалкая игрушка личных страстей и мелких интересов своих прихлебателей.

Эти мысли не высказаны вслух. Так отчетливо они дошли до сознания только сейчас. Их никто не мог подслушать. Он не скрывает своих взглядов. По днем, произнесенные громко, они зазвучат по-иному, обыденно. Они дробятся по мелочам в критических замечаниях по тому или иному вопросу. Такая критика в ушах и на уме у каждого мало-мальски здравомыслящего человека. От нее даже в бюрократических сферах уже не шарахаются в сторону. Острословы великосветских гостиных пылче критикуют куда злее. Иные генералы кричат о безобразиях куда громче. Но они свои. С ними посмеются, кой-когда оборвут или снисходительно назовут ворчунами, отечески внушат послушанье, а то и согласятся, бессильно пожав плечами и помянув волю господню...

Иное дело — он. Он чужой. Да. Чужой. Он это сам теперь сознает и утверждает в себе. Со своими подчиненными, с солдатами, с людьми иных профессий он никогда не чувствует себя так человечески разобщенным, как с теми, с кем он на равной ноге по положению и связям.

Но разве ему хотелось бы стать своим? Нет, не хочется.

Может быть, это его нежелание явно бросается в глаза? Какой-то доброжелатель даже намекнул ему об этом: «У вас был такой вид, когда государь пожаловал вас генерал-адъютантом...»

Ах, да чорт с ними! В конце концов безразлично, кто как относится. Пусть бы относились, как хотят, только бы не мешали. Не совали бы палок в колеса. Ведь эти колеса везут вас же самих! Как вы не понимаете? Достаточно им остановиться — и вы полетите вверх тормашками со всеми вашими махинациями. Ничто вас не спасет! Никакие Вильгельмы,

когда народ поймет, на какой позор вы его ведете!..

Брусилов вскакивает с койки. Он не может лежать. Он зажигает лампу. Он пьет холодный крепкий чай жадными глотками.

II

В разрыв между правым флангом Юго-Западного фронта и левым флангом Западного, как и предвидел Алексей Алексеевич, хлынули большие силы австрийцев. Они стремились охватить правый фланг 8-й армии. Собрать на этом участке резервы в достаточном количестве было невозможно: распоряжением верховного главнокомандования около половины войск 8-й армии перебросили на север. Держаться на Буге рискованно. Иванов отдает приказ отходить в наши пределы. Но так, чтобы правым флангом армии дотянуться до города Луцка! Явная чепуха. Нельзя растягивать и без того жидкий фронт перед лицом многочисленного врага.

— Ну, хорошо,— соглашается Иванов,— в ваше распоряжение для усиления угрожаемого участка будет прислан 39-й армейский корпус. Надеюсь, вас это устраивает?

— Никак нет, ваше высокопревосходительство! 39-й корпус составлен из дружин ополчения. Никакой боевой силы они не представляют. Солдаты старших сроков службы, офицеры, взятые из отставки!..

Ни о какой перегруппировке не может быть и речи. Приходится отступать. Но и тут штаб фронта задерживает отступление на целых три дня! Войска стоят на Буге под дождем, в грязи, бесцельно. Противник успевает опередить их на фланге. 39-й корпус должен продвигаться к Луцку. Но корпуса нет, он еще не прибыл к месту назначения. Явился только командир корпуса в единственном числе. Генерал Стельницкий — храбрый решительный генерал. Брусилов просидел с ним до позднего часа, обсуждая план действий. Но все-таки как бы ни был хорош командир, он не может заменить собою отсутствующий корпус.

— Поезжайте в Луцк, ждите там свои части,— сказал ему на прощанье Брусилов.— Если их не опередят австрийцы и они успеют подтянуться к Луцку во-время,— принимайте бой. Пусть думают, что вы собираетесь защищать город. Нам нужно выиграть время. Имейте в виду, что Луцк укреплен только с юга, откуда никакой опасности не угрожает. С запада он открыт врагу. Задержите врага хотя бы на день-два, пока мы не совершим отход. Даже если ваши части не будут еще в сборе, действуйте силами стоящих там трех батальонов и Оренбургской казачьей дивизии...

Стельницкий выполнил приказ, но хитрость его не вполне удалась. Части 39-го корпуса не успели подойти во-время. Исчерпав все возможности, генерал принужден был спешно отходить по дороге Луцк—Ровно и только в Клевани — в двадцати верстах от штаба армии, он встретил первые эшелоны своего корпуса. Прямо из вагонов он их кинул в огонь.

— Удастся ли им, еще не обстрелянным, не спаянным, не знающим своего начальства, задержать противника на Стубеле? Австрийцы уже показались севернее моего правого фланга и в Александрии — в пятнадцати верстах отсюда.

Не одевался, Алексей Алексеевич присел к столу и взглянул на карту краем глаза. Он раз и навсегда запретил себе возвращаться к тому, что уже обдумано и решено. Сейчас время отдыха. Но все-таки...

Вчера вечером он послал на Александрию три роты дружины ополчения и конвойный сводный эскадрон. Сейчас ушла следом за ними Оренбургская казачья дивизия.

— Из рук вон слабое прикрытие тыла, но что делать? Иного выхода нет. Еще более угрожаем Стельницкий.

Ему в помощь направлена 4-я стрелковая дивизия. Опираясь на нее, корпус должен задержать врага на Стубеле. Да. Правый фланг временно обеспечен. У Дережны и далее к северу сосредоточены три кавалерийские дивизии. Все складывается так, как намечено много еще тогда, после встречи с Ивановым.

Он наскоро одевается и звонит. Кто из адъютантов у него сегодня дежурным? — Ах, да. Этот новенький... преображенец. Бедный Похвистнев его очень хвалит в своем посмертном письме, но что-то в нем меня раздражает. Странно... что?

Дверь скрипнула. На пороге молодой, подтянутый, свежий, несмотря на поздний ночной час, штабс-капитан. Белый крестик в его петлице. Он совсем не похож на Саенко, милого, всегда улыбающегося, не по летам раздобревшего сластену. Этому не приходится делать замечания. Он точен, исполнителен, умен. Но взгляд рыжих глаз — пристрастный, требовательный. Так смотрит глубоко любящий, недоверчивый и мнительный человек. «Не обманешь?»—точно спрашивает он.

— Соедините меня с начштабом фронта!

— Слушаюсь!

Четкий поворот налево кругом, скрип половицы, и штабс-капитан за дверью.

«Я к нему несправедлив,— думает Алексей Алексеевич.— Требовательность к себе, собственное достоинство, вдумчивая исполнительность — хороший офицер. Но что-то мешает мне, не дается в нем. Что? Неужели этот его пристальный взгляд?..»

«Очень неприятно, когда от тебя ждут чуда, вот в чем дело,— неожиданно приходит догадка.— Этот молодой человек ждет от меня чуда. Похвистнев был чрезмерен в своих суждениях и наболтал, вероятно, обо мне всякого вздора».

— Ну как? Готово?

— Так точно. Начальник штаба фронта у аппарата.

Брусилов встает, в лице его веселое оживленье человека, готового к бою. В глазах острый огонек — они поймали и держат намеченную цель, она от них не уйдет. Но голос звучит отеческой теплотой:

— Спасибо, голубчик. Так ты не уходи, побудь здесь, я еще поговорю с тобою...

Из аппаратной несутся четко произнесенные слова приветствия:

— Говорит Брусилов. Простите, что потревожил вас в такую позднюю пору, но обстоятельства так сложилась...

III

Месяц назад Игорь вернулся из Петрограда в Преображенский полк, входивший в состав Северо-Западного фронта и участвовавший в боях под Брестом. После сдачи крепости полк отошел к Вильне. Там его застал Игорь. Гвардейцы изрядно были потрепаны и мало чем отличались теперь от армейцев. Кое-кого из товарищей недосчитывались — об убитых не вспоминали, карьеристы в большинстве улетучились по штабам, остались зеленая молодежь и ревнители полка. Игоря встретили равнодушно, кое-кто не мог простить его отщепенство, службу в отряде Похвистнева и боевые заслуги. Георгиевский крест тоже расценивался двусмысленно.

— За крестиком бегал,— говорили о нем.

Но в роте, в которой он временно заменил ротного командира, выбывшего по ранению из строя, к нему скоро привыкли, и офицеры и солдаты даже успели его полюбить. Он был уже далеко не тот чопорный строевик, каким его знали до службы в отряде. Игорь с головою ушел в подготовку своих людей к предстоящим боям. Уроки Похвистнева, майская боевая страда, лютая горечь отступления оставили глубокий след, пошли на пользу. О Петрограде хотелось забыть, вычеркнуть из памяти все и всех, даже неясный, болью и нежностью разрывающей сердце образ маленькой девушки с голубым перышком на шляпке...

— Отрезано. Раз и навсегда. Никакой любви, никакой привязанности, никакой поэзии, никаких отвлеченностей, идей,—только фронт, война.

Думая так, Игорь знал, что лжет, но и это сознанье заглушал в себе. И вскоре с облегчением почувствовал, что повседневная работа захватила его целиком. Вот тогда-то его вызвал к себе командир полка генерал-майор Дрентельн и сообщил в чрезвычайно любезной форме, обидно подчеркивающей его отчужденность, о полученном от командарма восьмой письме.

— Генерал-адъютант Брусилов просит меня временно откомандировать вас в его распоряжение. Если не ошибаюсь, отряд, в котором вы служили, числился в восьмой армии? Очевидно, командарм хочет его заново восстановить. Ну что же, я ничего не имею против. Вы у нас гастролер, извините мне это слово и верьте, что отнюдь не ставлю вам это в вину. В конце концов, где бы мы ни находились, мы все служим под знаменами его величества. Ваша воинская доблесть неоспорима, и мне грустно терять такого офицера. Официальное разрешение уже получено из штаба корпуса, и могу вас порадовать, вы включены в списки к очередному производству — в штабс-капитаны. Как видите, мы вас не забываем.

Дрентельн подал руку. Игорь пожал ее, с трудом подбирая какие-то бесцветные слова признательности за отеческое внимание.

От него ждали, очевидно, изъявления преданности родному полку, протеста или хотя бы видимого огорчения по поводу неожиданного откомандирования в армию. Но Игорь не чувствовал ни печали разлуки, ни радости от ожидания нового. И проводы вышли кислые, несмотря на шампанское. Только в вагоне Игорь задумался над тем, что его ждет в штабе брусиловской армии. Любопытство его ожило, он вспомнил похвистневскую характеристику Брусилова:

— Мужеством в полной мере обладает у нас только один человек — Брусилов. Ему суждено свершить великие дела и не миновать беды. Мужество у нас не прощают.

IV

Явившись в дрянной городишко Ровно, куда несколько дней назад переехал штаб армии, Игорь, пешком по грязи, добрался до помещения штаба. Во дворе, миновав часового и гудевшую на газу машину, он оглянулся, соображая, в какую дверь ему толкнуться, и тотчас же услышал чей-то громкий, отчетливо произносивший каждое слово голос явно чем-то возмущенного и имеющего власть человека.

— Безобразие! Гнусность непростительная! Кто вам дал право забывать о тех, кто выносит вас вперед на своих плечах?

Игорь пошел на голос и остановился в недоумении. В нескольких шагах от него за углом каменного двухэтажного дома, в котором, очевидно, помещался штаб армии, стояла группа в пять человек. Один из пятерых, выше остальных ростом почти на голову, стоял навытяжку. Шинель его была туго перетянута в талии бле-

ным ремнем, вся военная амуниция ладно
гнанная, подчеркивала могучую ширину
ди, щеголеватость широко развернутых
ч, безукоризненную выправку обер-офице-
, так не идущую сейчас к тому выражению
иженности, какое все отчетливей высту-
ло на красивом молодом лице. Несколько по-
ль от этого офицера переминался с ноги на
гу тоже, видимо, обескураженный, полков-
к с багровыми щеками, заросшими ершистой
одой. Перед этими двумя офицерами стояли
е трое: один из них — генерал, в калошах,
ней бекеше и фуражке, надвинутой по са-
е уши, другой молодой — поручик, знако-
мый, с прекрасными золотистыми усами,
крученными в острую стрелку. Третий стоял
ред обер-офицером и, подняв голову, гне-
, но без жестов и видимого раздражения от-
тывал его. Этот третий виден был Игорю в
офиль. Он был ниже ростом остальных, худ
как-то по-особенному в сравнении с другими
всех пропорциях миниатюрен, но ни худоба
, ни малый рост отнюдь не являлись сами
себе отличительным его признаком. На ге-
ральских золотых погонах поблескивали се-
бряные вензеля. Вне всякого сомнения, это
был сам командующий армией Брусилов.

Игорь впился в него глазами. Гнев этого че-
овека, показавшегося Игорю с первого взгля-
очень будничным и даже каким-то совсем
типично военным и вовсе не высокопревос-
ходительным, был так глубок, так не по-на-
альнически искренен, что невольно заставил
Игоря подобраться и духовно себя проверить.

— Как смели вы забыть,— веско и неумо-
имо звучало каждое слово командарма и точ-
но бы продолжало присутствовать в сыром
оздухе даже после того, как было произнесено,— как смели вы не знать, что солдат дол-
жен быть в первую голову сытым! Ваша рота
вчера не имела горячей пищи, не имела хлеба,
сухарей, тогда как соседние всем этим были
обеспечены. Значит, можно было обеспечить!
Значит, отговорки ваши — ложь? Значит, вы
какой офицер!

Последнее слово упало особенно тяжело и не-
умолимо. Игорь торопливо облизал кончиком
языка мгновенно запекшиеся губы.

— Ваше место в канцелярии — писарем —
списываться! — после короткой паузы и сов-
ем спокойно, как о чем-то давно решенном,
акончил Брусилов.— Я вас отрешаю от долж-
ности.

И именно потому, что это было сказано спо-
йно и в глазах говорившего уже не было
ева, а смотрели они куда-то мимо обер-офи-
ера, вперед, видели уже что-то другое, имен-
о это придало последним словам его то впе-
атление непререкаемости, какое лишает чело-
ека возможности протестовать, спорить или
просить пощады. Все поняли, что вопрос решен
и больше говорить не о чем. Брусилов отверн-
улся от обер-офицера, продолжавшего стоять
навытяжку, и медленно направился к дому,
занятый своими мыслями. Игорь не успел от-
скочить в сторону, вытянуться, приложить ру-
ку к козырьку, когда увидел совсем близко
поднятые на него и внимательно приглядываю-
щиеся глаза,— большие, очень светлые, но не
цветом, а изнутри идущей ясностью.

— Кто такой?

В замешательстве и волнении Игорь затруд-
ненным, охрипшим голосом отрапортовал о
своем прибытии.

— Ну что же, отлично! — приняв рапорт
по форме и отдав честь сказал приветливо Бру-
силов.— Мы ведь однокашники! — и, протя-
нув руку, задержал в своей узкой ладони ла-
донь Игоря: — Не обижайся, буду говорить —
ты. Сейчас мне некогда — уезжаю. Пока
устраивайся, как дома. Саенко тебе поможет.
Знакомьтесь!

Генерал, оказавшийся начальником штаба
армии Сухомлиным, чопорно отдал честь, но
руки не подал. Саенко, весело улыбаясь, по-
трясе руку нового товарища. Брусилов сел в
машину, за ним полез и Сухомлин. Игорь сно-
ва встретился с командармом только через два
дня.

V

На этот раз Алексей Алексеевич вызвал его
к себе в кабинет. Игорь уже знал весь распо-
рядок дня командарма. Рабочий день его начи-
нался с шести утра. До половины весьмого,
после короткой прогулки верхом, он работает
один, знакомится со сводками и донесениями
корпусных штабов, пишет письма, приказы по
армии, потом завтракает у себя же в кабинете.
После завтрака выслушивает начальника ште-
ба, принимает доклады оперативного отдела,
беседует с вызванными к нему лично коман-
рами корпусов, дивизий, полков, с начальни-
ками интендантской службы, представителями
Союза городов и Земского союза. По всего боль-
ше времени у него уходит на разъезды, ин-
спектирование войск, проверку дорожных и
фортификационных работ, на беседы с офице-
рами и солдатами на передовых линиях, на
личное руководство операциями. Каждое мел-
кое поручение, данное им чинам штаба или
алъютантам, было у него на счету и на па-
мяти. Он молча подымал глаза на человека,
который должен был выполнить задание, но
почему-либо замешкался,— ни одного вопро-
са, ни возмущения, ни крика, но одного этого
взгляда было достаточно, чтобы человек по-
чувствовал себя непоправимо виноватым.
Пройдет много дней, а командарм не обра-
тится к нему ни с чем, точно забудет об его
существовании.

— Вы не можете себе представить, до чего это ужасно,— говорил Игорю Саенко и даже морщился, как от зубной боли: — я два раза попадал в такое положение, и врагу не пожелаю!.. По вы не думайте, что у Алексей Алексеевича это система или там какой-нибудь педагогический прием. Вовсе нет! Ему действительно непонятно, как можно не выполнить вовремя и точно то, что по сути дела должно быть исполнено. Такой человек просто теряет для него цену... он не сердится на него, нет, а человек этот перестает быть нужным. Вы понимаете? Это ужасно! Перестать быть нужным Алексею Алексеевичу это, это...

Саенко не мог подобрать слов, но по растерянному выражению его добродушного по-бабьи румяного и округлого лица Игорь понял, насколько действительно такое состояние непереносимо.

Вот почему, вызванный впервые в кабинет командарма, он шел туда со смешанным чувством тревоги и любопытства. Это душевное состояние мешало Игорю сосредоточиться на основном, на главном,— на предмете предстоящего разговора с Брусиловым. Он уверен был, что вызвали его в штаб армии как единственного из офицеров похвистневского отряда, оставшегося в живых и способного сделать обстоятельный доклад о действиях отряда, о людях и о возможностях его формирования заново. «Но кто же может заменить Похвистнева? — мелькала раздраженная мысль.— Интересно знать, где найдет Брусилов генерала, равного Василию Павловичу?» А за этой мыслью бродила другая: «Кто же такой сам Брусилов? Злой он или добрый? Случайный удачник или действительно талантливый полководец? И в чем же заключается эта талантливость?»

В таком взбаламученном состоянии духа Игорь подошел к двери кабинета и раньше чем войти приостановился и по привычке оправился. Взрыв веселого смеха, раздавшегося за дверью, заставил его отступить и озадаченно оглянуться.

— А вы, ваше благородие, ничего, вы входите,— уловив его замешательство, сказал следовавший за ним вестовой; — вас просили не мешкая...

На лице вестового — молодцеватого, кавалерийской выправки унтер-офицера, сияла ответная звучавшему из-за двери смеху улыбка. Он распахнул перед Игорем створку и пропустил его впереди себя.

Игорь еще раз подтянул на спине гимнастерку и вошел в кабинет.

VI

Был предобеденный час, час обязательного отдыха командарма и чинов его штаба. Алексей Алексеевич считал, что перед тем как садиться за стол, человек должен «вытряхнуть из головы все мысли». Сейчас он сидел на корточках и звонко смеялся. За ним полукругом стояли чины его штаба и тоже — кто громко от всей души, кто легонько из вежливости — вторили его смеху.

На полу стояло блюдечко, налитое до краев молоком, а около него суетились, каждый по-своему, два существа — белый шпиц и ощетинившийся еж. Шпиц лаял, прыгал, то наступая, то отступая, розовая пасть его и черный пятачок носа были влажны от пены, хвост напряженно задран кверху упругой спиралью. Еж медленно и неуклонно стремился к своей цели — он не прятал своей треугольной блестящей мордочки, а только фыркал свирепо и даже как бы с презрением шевелил вздыбившимися иглами. Шпиц приходил все в большую ярость. Он мог бы, конечно, в одно мгновение вылакать молоко из блюдца, опередив ежа, потому что был гораздо проворнее своего противника, но сейчас ему было не до молока, ему надо было сразить неправдоподобное существо, посмевшее с ним соперничать. Он пытался цапнуть противника за нос, но перед ним тотчас же вместо носа вырастали иглы. Он предпринимал фланговую атаку, но и там встречала его вздыбленная неуязвимая щетина. Заходил с тыла — но тыл был защищен столь же основательно. Шпиц выбивался из сил, все его маневры оказывались тщетны, а еж семенил ножками и катился-катился все ближе к блюдечку.

— Да ты лакай! Ты еще успеешь съесть!— смеясь, понукал шпица Сухомлин,— ведь этакая упрямая собачонка!

— Э, нет,— возражал Алексей Алексеевич,— тут дело в самолюбии. Ведь молоко-то было поставлено для шпица. Как же можно стерпеть и не выгнать нахала? Он теперь не отстанет! Он пойдет на все! Смотрите! Смотрите!

Брусилов поднял глаза, как бы приглашая присутствующих разделить с ним живой интерес к развернувшимся событиям, и взгляд его остановился на Игоре.

— А, Смолич! Идя, иди сюда поближе! Видишь, видишь? Я так и знал! Вот молодец!

— Форсирование проволочных заграждений! — подхватил кто-то из штабистов.

Шпиц ринулся к ежу и, пригнув к полу вспененную пасть, подкинул врага на воздух. Еж откатился в сторону и замер, свернувшись в клубок. Пена на собачьей морде покраснела, на носу выступили капельки крови. Но шпиц не чувствовал боли, он был в чаду боевого азарта. Он уже не отскакивал от противника для разбега, он подкидывал его раз за разом все дальше откатывая от блюдца. Штабисты смеялись.

— Замечательно! — хлопая себя по бедрам, восклицал Сухомлин.— Совсем, как у нас! Хоть пиши крыловскую басню!

— Шпиц озлеет! Факт!

— Ну положим! не так-то легко!

— Давайте пари!

Игорь, увлеченный, как все, смеющийся, как все, не заметил, что тоже присел на корточки рядом с Брусиловым и, возбужденно размахивая руками, выкрикивал:

— Так, так, так его!

— Нет, довольно, господа! — неожиданно раздался спокойный и потому сразу среди общего шума услышанный голос.— Игра зашла слишком далеко.

Брусилов схватил шпица на руки. Шпиц визжал, вырывался, даже пытался укусить державшие его руки. Но Алексей Алексеевич прижал его крепко к своей груди и, медленно поглаживая, приговаривал успокаивающе:

— Полно, полно, дурак... этакий дурак, окровавился весь, а что толку? Молоко разлил, еж невредим. Никакое, брат, геройство ни к чему не ведет, когда кидаешься в драку с негодными средствами.

— Нет, почему же, позвольте, Алексей Алексеевич...— начал было все еще возбужденный кто-то из штабных офицеров.

Шпиц повизгивал жалобно на руках командарма, розовым языком слизывая капельки крови с черного носа.

А тем временем еж подкатился к луже и, посапывая, стал невозмутимо слизывать молоко. Шпиц залаял обиженно, с подвизгом. Алексей Алексеевич прикрыл ему глаза ладонью и пошел из комнаты.

— Вот вам два характера,— на ходу говорил он.— У каждого свой образ действий, каждый прав по-своему, а главное — не умеет иначе... Но ведь это зверушки, имейте в виду, Петр Сергеевич,— обратился он к одному из штабных.— Вы, кажется, изволили сравнивать их с нами и немцами... Ведь мы-то — разумные животные! Нам бы к своему характеру и повадкам можно бы кое-что и позаимствовать... не все же шпицами бегать, задрав хвост!

Когда все вошли в столовую, Брусилов поднял брови, шевельнул усами, в глазах его еще ярче блеснули искорки юмора.— А мы уже у места назначения. Садитесь, прошу вас! — Сев во главе стола, он мягким и свободным жестом развернул накрахмаленную салфетку и заложил конец ее за борт гимнастерки.— Саенко, милый, не теряй золотого времени, принимайся за дело!

Саенко стал разливать водку. Закуска стояла тут же на обеденном столе, она была разнообразна, каждый потянулся за приглянувшимся кушаньем,— без чинов, не дожидаясь очереди. Алексей Алексеевич положил себе на тарелку нарезанные тонкими ломтиками, густо поперченные и залитые острым соусом сосиски. Потом поднял налитую ему Саенко рюмку водки и опрокинул ее в рот с той особой небрежностью и щегольством, какие свойственны только кавалеристам. «Это у него смолоду осталось,— подумал Игорь и тоже выпил свою рюмку и закусил анчоусом.— Как все просто и ладно у него выходит и как уживается... Право, он веселей и моложе всех нас!.. Но все-таки, зачем он меня вызвал?»

VII

С того дня прошло уже две недели, а только сегодня, и то только потому, так казалось Игорю, что он был дежурным, Брусилов обещал поговорить с ним.

Конечно, его не забыли. В этом двухэтажном доме никто не слоняется без дела. Каждому находится работа, которую нужно выполнить к сроку и с наибольшим старанием. Во всех комнатах,— а их много,— всегда озабоченно снуют, хлопочут, докладывают, выслушивают приказания, что-то записывают в блокноты, отмечают по карте. Множество штаб и оберофицеров строевой, интендантской, инженерной службы, сходятся по-двое, по-трое для тихих каких-то, но, несомненно, тоже деловых переговоров и, как муравьи, неслышно разбегаются в стороны, а на их место появляются другие... И все они стремятся к одному центру, к кабинету командарма, невидимо для глаза, но ощутимо руководятся его волей и потому не сталкиваются, не мешают друг другу, не повторяют одних и тех же движений, как всюду по штабам и министерствам.

«Меня тоже приспособили, как добрую лошадку...» Игорь не сетовал на это, он не любил безделья. Но вся та работа, какую ему давали, сама по себе необходимая, не вполне была ему ясна. Она как-то не укладывалась в привычную норму определенной должности. Что, собственно, он собой представлял здесь, в штабе армии? Он был сюда только откомандирован. Следовательно, для каких-то временных обязанностей.

Его включили в список дежурных при командующем. До какой поры? Ему дают помимо дежурства, которое может нести любой из адъютантов, единовременные задания. Два раза он выезжал на передовые линии для личных бесед с младшим командным составом ополченческих дружин—прапорщиками и унтер-офицерами, о значении в условиях боя сноровки и умения окапываться. Неоднократно ему поручали проверить своевременную доставку пищи в зону боевого охранения.

В течение этих двух недель пришлось Игорю разобраться в одном очень сложном и запутанном деле. Молодому храброму офицеру Макаро-

ву, представленному в свое время к Георгию, угрожала за неповиновение начальству дисциплинарная кара. Из опроса солдат Игорю удалось дознаться, что офицер этот прекрасно разрешил разведывательную задачу, но, вопреки нелепому приказу командира, требовавшего не нарушать пассивной обороны на данном участке, произвел удачную ночную атаку, выбил австрийцев из первой линии окопов и своими действиями обнаружил полную несостоятельность и лживость оперативных данных дивизии, по которым именно этот участок считался наиболее угрожаемым со стороны немцев. Донесение Игоря спасло героя...

Такого рода дела, опросы, разъезды привлекали к себе внимание Игоря, заполняли его мысли. Перед ним все шире раскрывалась жизнь армии — клокочущая, сложная, требовательная. Армия жила по какому-то своему закону — помимо общего воинского устава,— и нарушение этого закона, в самой мельчайшей его доле, сказывалось на всем ходе боевой машины. Что это был за закон, кем он диктовался,— этого Игорь не знал, но, предощущая его, радовался новому способу познания жизни и тем самым полнее и действенней входил в жизнь. Этим он был обязан Брусилову. Но почему? Разве во всех, не связанных друг с другом делах, поручаемых ему, был какой-нибудь заведомый умысел командарма? Вздор! Что он мне — нянька? Воспитатель? Думать обо мне, как о человеке, мог только Похвистнев — такая любовь и забота дается однажды. Брусилов, напротив того, меня вовсе не жалует... едва обращает на меня внимание. Или это его приглашение посмеяться вместе с ним над проделками шпица тоже прием воспитателя? Неужели он такой хитрец?

Игорь прислушался. Быстрые, все приближающиеся шаги, хорошо запомнившиеся Игорю, с легким нажимом на носок, и другие тяжеловесные, размеренные, с сухим постукиванием высокого каблука. В дверях показалась стремительная,— точно и не было бессонной ночи,— фигура Брусилова, и следом за ним начальник штаба.

— Поздравляю, господа! Прекрасный получили подарок! — оживленно, остановясь посреди комнаты и оглядывая присутствующих, заговорил Брусилов.— Нам дают тридцатый армейский корпус с Зайончковским во главе! Пудович и не знает, как он меня одарил! Этот генерал на хвост себе не даст наступить! Он своего добьется!

Алексей Алексеевич рассмеялся и, довольный, потер одна о другую узкие ладони!

— Едкий человек! Дельный человек! Я его считаю одним из способнейших военачальников. И вот ему задача...

Алексей Алексеевич подошел к столу, оперся левой рукой о край его, но не садясь, а только пригнувшись, указательным пальцем провел по карте:

— И вот ему задача! Направление на реку Горынь... сосредоточиться у Степани. Подкинем ему еще седьмую кавалерийскую дивизию — и с богом в наступленье, с охватом левого фланга противника. Стельницкому вести бой на фронта, задерживать австро-венгерцев до тех пор, пока тридцатый корпус не произведет охвата возможно глубже. И Луцк — наш... армия займет по Стыри ту линию, которую мы с вами уже наметили в свое время.

Неожиданно выпрямившись, он обернулся и, меняя тон, сказал, обращаясь к Игорю:

— Ну, Смолич, спасибо! Ты спас мой план! Если бы штабс-капитан Смолич во-время не навел справки об этом молодце Макарове, я должен был бы отказаться от задуманного плана,— обратился Алексей Алексеевич к Сухомлину: — все корпусные оперативные сводки утверждали, что на участке вдоль реки Горынь сосредоточены превосходные силы противника и наступать здесь рискованно. Макаров своей разведкой и лихой атакой свел на-нет и опорочил вчистую всю бухгалтерию господ операторов! А мы едва не похоронили его, а с ним все наше наступленье! Позор!

Игорь красный, счастливый, глубоко передохнул, начал было фразу: «рад стараться...» но его перебили:

— Итак, господа, свяжитесь с Зайончковским, обеспечьте ему скорейшую переброску и... спать. Завтра у нас дел по уши. Покойной ночи!

Брусилов попросил вестового подать ему чаю покрепче и обратился к Игорю:

— А ты садись. Поговорим... извини меня, буду писать, но это мне не помешает... привычно.

Он придвинул кресло к столу, взял листок чистой бумаги, обмакнул перо в чернила. Игорь бесшумно опустился на стул у дальнего края стола.

VIII

— В первых числах мая,— начал Брусилов замедленно и тихо,— я получил письмо от Василия... от Похвистнева... я уже говорил, кажется... «Предсмертную волю»—так было написано. Он уверен был, что не выйдет целым из боя... (длительная пауза, но перо не движется по бумаге, взгляд ушел за светлый круг настольной лампы). Признаться, я верю в предчувствия... в иные минуты к человеку приходит... (пауза, глаза опустились на бумагу, перо бежит по ней).

— ...В этом письме написано было о тебе...

Игорь подобрал под стул ноги, сжался.

— Он просил меня как товарища, которому верит, обратить на тебя внимание... взять к себе на службу после его смерти. Не станем разбираться, почему именно он нашел нужным просить меня об этом. В свое время я задал себе этот вопрос и пришел к выводу...

Снова томительное молчание.

— ...что в этой просьбе я отказать ему не имею оснований. В конце концов,— Алексей Алексеевич оглянулся на Игоря с добродушной и вместе лукавой улыбкой,— у каждого родителя своя фантазия!

На этот раз тишина не нарушалась очень долго. Брусилов углубился в письмо. Игорю показалось даже, что разговор закончен. Хватит с него и того, что сказано. Причина вызова ясна. Живи у меня и учись. Эта мысль не задела самолюбия... но ему не разрешали встать и уйти. Может быть, о нем забыли?

Брусилов закончил письмо. Подписал его, пристукнул пресспапье, запечатал в конверт, но адреса не поставил. Откинувшись на спинку кресла, вытянув руки ладонями о край стола, он смотрел перед собою на карту, прищурясь, точно припоминал, что еще нужно сделать...

— Честно говоря,— неожиданно раздается его голос,— я не был уверен, что ты мне нужен. Да и я тебе так же... Особенно после твоей поездки в Петроград и всего прочего... Кто тебя направил к Кутепову?

Острый взгляд, резкий поворот головы.

— Коловинцын,— бормочет Игорь.

Брусилов закрывает глаза, морщины у переносицы и под усами глубже, губы плотно сжаты и — сквозь стиснутые зубы:

— Сволочь!

Это слово точно снимает тень с его лица, глаза снова глядят строго, но ясно, морщины разглаживаются:

— Ты хорошо сделал, что уехал.

И с нескрываемым презреньем:

— Они и меня тоже... пытались...

Усмешка переходит в грустную улыбку. Он покачивает головой.

— Как у нас все... набекрень... А причины твоей поездки в Петроград?

Теперь он не смотрит на Игоря, но слушает внимательно.

— Я думал... мне казалось, что это единственный выход, что убийство Распутина наш долг перед народом, которого...

Его перебивают так решительно и твердо, точно говорят: «довольно болтать глупости».

— Народ на войне. Здесь. Не там... с этими...

И тотчас же становится ясно, что раскрываться перед этим человеком незачем.

— Надо прислушаться здесь. Здесь! Брусилов стучит согнутым пальцем по карте, голос его тих.— Здесь ты услышишь, как бьется сердце народа... Оно бьется ровно. И разум ясен, и рука сильна. Она ударит, когда надо и кого надо. Наше дело помочь опытом и знанием своего ремесла. А не решать по-своему. Не суетиться без толку. Только с чистыми руками и чистой совестью можно руководить армиями, вести людей к победе. Послать человека на смерть... для этого нужно верить, что так велит честь народа. Верить и знать. А чтобы знать — надо слушать.

Он взял конверт с запечатанным письмом, написал на нем адрес и протянул письмо Игорю:

— На вот... Выедешь сейчас же. Направление тебе дадут. Передашь лично в руки комкору тридцать — Зайончковскому. И останешься там до конца задачи. Распоряжайся собой — как знаешь. С богом!

IX

Еще не доехав до Степани, Игорь уже знал, что войска Стельницкого стойко выдерживают натиск врага, что ополченцы, двинутые из вагонов прямо в бой, не отстают от испытанных солдат.

— Мужички, мужички, а тоже охулки на руку не положат, пятки маслом не мажут,— отзывались о них встречные раненые из 4-й стрелковой.

И похвала эта звучала как убеждение в собственной силе.

По тому неуловимому для глаза, но достигающему до искушенного войною слуха, особому бойкому движению по дорогам в прифронтовой полосе, по интонации голосов, выкрикивающих все те же ругательства, по шмяку и хлюпанью сотен ног, завязающих в осенней грязи, но не замедляющих шага, по торопливому, без видимой нужды, гону тачанок, провиантских фур, штабных машин — можно было безошибочно угадать, что дела на фронте идут хорошо и, главное, что все верят в то, что не могут не итти хорошо. Это ощущение дающегося в руки успеха, сознанье, что дело спорится, проглядывало во всем.

Игорь тотчас же воспринял, почуял в воздухе это веянье доброй вести и совсем забыл о давешних своих переживаниях. Даже заслонивший все, увезенный с собою из штаба образ Брусилова не умалял теперь значительность и полноту собственных ощущений. Да, мир, как в детстве, снова полон дивных и, самое главное, благих чудес! Наперекор грязи, туману, холоду, даже наперекор смерти, которая, может быть, уже глядит в глаза...

«Шпь, как бухает там... как гвоздит... скорее бы, скорее доехать, войти в круг, приложить и свою руку...»

Машину подбрасывало на ухабах и рытви

ках, заливало грязью, брезент сорвало с петель, он бился, хлопал над головой, какие-то расхлябанные гайки пронзительно скрежетали, воняло дрянным бензином, лицо, шея были мокры, ноги и руки окоченели и ныли, их все никак нельзя приспособить поудобнее, но в душе пело: «Ах, славно! Вот повезло!»

В низких и душных двух комнатах, в которых расположился штаб комкора 30, Игоря встретил зычный говор нескольких перебивающих друг друга и тоже каких-то взбодренных, стремительных голосов. Табачный дым клубами висел под закопченным потолком, пахло угарцем от клокочущего ведерного самовара, трещали, щелкали, как пистолетные выстрелы, дрова в русской печке, шипела и благоухала яичница на огромной сковороде, звякали тарелки и стаканы, расставляемые по столу хозяйской женщиной. Господа офицеры — и те, что сидели, и те, что стояли,— постукивали об пол каблуками зашлепанных грязью сапог, размахивали руками, и сразу трудно было разобрать, кто из них главный. Комната была освещена двойным светом: белесо-мутным, идущим из крохотных оконец, заставленных горшками цветов, и подсиненовато-желтым — от закопченной лампы. Приглядевшись, Игорь различил сидящего в углу под образами лысоватого генерала с короткими усами, тонким носом и сжатыми губами. Его острые, приметливые глаза оглядывали присутствующих с явным удовольствием.

— Ну как, господа? Кумекаете? — произнес он посмеиваясь.

И тотчас же с разных концов раздались еще более энергичные возгласы одобрения и смех. Игорь уже с уверенностью подстел к столу и, отрапортовав, протянул письмо командарма сидящему под образами генерал-лейтенанту.

Зайончковский вскрыл конверт, пробежал глазами письмо, удовлетворенно кивнул головой и поднял смеющиеся глаза на Игоря.

— События опередили вас, молодой человек,—сказал он,—но письмо Алексея Алексеевича как нельзя более кстати. Он точно подслушал меня.— И обращаясь к сгрудившимся у стола офицерам — все это были, как теперь рассмотрел Игорь, пожилые штаб-офицерских и даже генеральских чинов люди,— сказал:— Алексей Алексеевич предлагает мне взять на себя атаку Луцка.— И снова — к Игорю: — Я только что дал о том же приказ по корпусу, вот он...— генерал взял со стола листик бумаги, далеко отодвинул его от глаз в свету лампы, и с видимым удовольствием прочел: «На вас, мои доблестные войска, возложена почетная задача взять Луцк, так как четвертая стрелковая дивизия выполнить ее не может». А? Как вам это покажется? Как это подействует на моих молодцов?

Присутствующие снова засмеялись, затопотали, выражая полное свое удовольствие, которое им, это сразу чувствовалось, хотелось продлить как можно дольше. Они повторяли на разные лады:

— Выполнить не может, это факт!

Хозяйка подала шипящую яичницу. Потирая руки, довольные, все разместились за столом.

Зайончковский жестом руки пригласил Игоря занять свободное место. Кое-кто кивнул приветственно головой, несколько голосов оживленно спросили:

— Ну как Алексей Алексеевич? Не собирается к нам?

— Но почему же, собственно, в вашем приказе говорится о стрелковой дивизии? — оглушенный всем этим шумом, смехом, неожиданным сообщением об атаке Луцка, спросил у соседа своего Игорь.— Если не ошибаюсь, четвертая дивизия находится в составе тридцать девятого корпуса...

— Да, как же, помилуйте,— подхватил сосед-полковник.— Донесли, что затрудняются штурмовать город! Луцк хорошо укреплен, защищен превосходящими силами, и четвертой с ними не справиться!

— А Стельницкий час назад сообщил об этом Алексею Алексеевичу!— крикнул из своего угла под образами Зайончковский.— Я тотчас же был поставлен в известность, разумеется... ну и не замедлил прийти на помощь...

Взрыв смеха покрыл его слова, рюмки звякнули.

— За успех, господа!

— Вся штука в том, что наши части значительно дальше от Луцка, чем войска тридцать девятого корпуса! — опять приступил к Игорю сосед-полковник.— Нам придется форсировать Стырь, а подходить к Луцку с севера — то есть с самого неудобного участка...

— Телеграмма вашему превосходительству! — оборвал его еще более высокий, чем остальные, голос из глубины комнаты.

Зайончковский, приподнявшись, нетерпеливо протянул через стол руки. Игорь обернулся. За его спиной остановился молодой офицер.

— Давайте, давайте! — проговорил комкор и, стоя, прочел телеграмму, потом сжал ее в кулаке и живыми, острыми глазами обвел присутствующих:

— Подтверждение приказа! Алексей Алексеевич уже все знает.

— Вот это — да! — крякнул чей-то генеральский басок, и стулья и стол с грохотом

отодвинулись, давая дорогу заспешившему комкору.

Чувствуя, что нельзя терять удобную минуту, Игорь пробрался к Зайончковскому и стал на его пути.

— Ну, а вы как, молодой человек? — спросил с подразнивающей улыбкой комкор, угадывая состояние возбуждения и азарта, в каком находился Игорь.— Что собираетесь делать? Обратно в штаб армии?

— Я в вашем распоряжении, ваше превосходительство,— заторопился Игорь,— но мне хотелось бы участвовать в деле.

X

Машина комкора несла Игоря к исходной точке перешедших в наступление частей 30-го корпуса.

Туман поднялся от земли и висел над полями опаловой, все более редеющей дымкой. Сквозь него откуда-то пробившиеся редкие лучи солнца, встающего из-за грузной, кубовой тучи, бежали по бурой стерне. Точно из лейки сыпались крупные капли дождя. Стоявший в отдалении табунок всклокоченных стреноженных лошадей отряхивался от них, звякая боталами. Галки уже не гомонили, а важно разгуливали по сжатой полосе и одним глазом, без страха провожали несущуюся мимо машину.

Артиллерийский, равномерный, приглушенный расстоянием гул, все усиливавшийся по мере того, как машина заглатывала версты, внезапно оборвался. Зайончковский торопливо глянул на часы и приказал остановиться. Он сидел в машине неподвижно, внимательно прислушиваясь. Шофер снял кожаный шлем и тоже слушал. Игорь глянул в ту сторону, откуда недавно еще шли волны артиллерийской стрельбы, и при всем напряжении слуха ничего не мог уловить.

Над полями плыла тишина. Ни дребезг машины, ни содрогание земли от разрывов, к которым уже привыкло ухо, не сотрясали отяжелевшего и казавшегося непроницаемым для каких бы то ни было звуков, насыщенного влагой воздуха. Только запахи. Они казались весомыми, ложились на лоб, на щеки, забирались в ноздри, перехватывали затаенное,— чтобы лучше слушать,— дыхание. Пахло прелым сеном, раскисшим навозцем, лошадиной мочой, горечью полыни... И внезапно, так внезапно, что Игорь дрогнул и невольно подался вперед, до слуха достиг едва уловимый, ни на что не похожий звук. Он шел, от края горизонта и, приближаясь, ширился по окружности точь-в-точь, как растекается и густеет звук, родившийся от скольжения пальца по мокрому краю стакана. И так же, как эта не хитрая, детская музыка, так и возникший сейчас над полями звук, приобретал все более торжественную, органную силу, хотя шел очень издалека. Но все трое, сидящие в машине тотчас же поняли его значение и решающий смысл. Игорь привстал со своего места. Зайончковский осторожно вышел из машины. Шофер приоткрыл рот. Все трое ждали — на какой ноте оборвется эта звуковая волна, догонит ли ее следующая, более мощная, или звук сникнет и ближайшие шумы просыпающейся вокруг жизни заглушат его раньше, чем он оборвется...

Звук расплывался, таял и вновь, все с большим напряжением, возникал, чтобы в свой черед растаять и смениться новой волной, более короткой, более настойчивой...

Игорь шептал — «одна, две, три, четыре...» Зайончковский снова взглянул на часы, снял фуражку, перекрестился и полез в машину.

— Трогай!

Все трое глубоко и облегченно вздохнули. Никто из них не обменивался впечатлениями, каждый затаил их в себе, суеверно боясь нарушить то высокое душевное состояние, в каком он находился.

Машина взревела и круто пошла в гору. Небо стало шире и выше, туман растаял, кубовая туча с востока грузно шла на запад, освобождая путь солнцу. Зайончковский открыл дорожный, висевший у него на груди, кожаный портсигар и с наслаждением затянулся глубокой затяжкой.

XI

Теснимые фланговой атакой, австро-венгерцы стремительно откатывались, кинув свои позиции на Стыри. Когда комкор прибыл на место боя и с высотки оглядел развернувшуюся перед ним далекую панораму, «ура» атакующих пехотных частей уже отгремело, солдаты располагались во вражеских окопах, над левым берегом Стыри задымили костры, кавалерийская дивизия ушла на рысях за отступившим врагом к Луцку. Первое действие закончилось.

Снова хитрая улыбочка залегла на тонких губах Зайончковского, и поздравляя, начальников частей, он говорил подразнивающе:

— Как же, как же! За десять верст слышно было ваше ликование! Но не рано ли? Мне что-то не нравится это поспешное бегство. По логике вещей надо было ожидать более упорного сопротивления... А между тем противник распахнул широко двери на Луцк и, повидимому, не собирается там задержаться. В чем же загвоздка, хотите вы знать? Да в том, что противник не мог усилить отпор в нашем направлении. Не прозевал, а не имел возможности контратаковать!

— Что же вы полагаете?

— Я полагаю, что четвертая форсирует Стырь.

— Это, знаете, улита едет, когда-то будет, а наша кавалерия по ровной дорожке уже в двух переходах, от Луцка...

— Ну верон ки-ки,— поддразнивающе и нарочно коверкая французский язык возразил Зайончковский.

XII

Отдых был недолог. Пехотные части в составе двух дивизий и артиллерийская бригада были двинуты вдоль Стыри в южном направлении на Луцк. Игорь теперь шел в рядах пехотного головного полка, с командиром которого полковником Лохвицким тотчас же сошелся душа в душу. Вообще, все в этот день казалось, и было в действительности, очень бодро и сподручно. Приятно было жмуриться на солнце, приятно было закурить махорочную вертушку, которую ему предложил взводный. Полковник Лохвицкий, не то двоюродный, не то троюродный брат известной поэтессы Лохвицкой, забавно рассказывал анекдоты и, оказывается, лично принимал участие в утренней атаке и рубился шашкой, что совсем уже было замечательно. Дважды за день полк нагонял и вступал в бой с арьергардом противника. Стычки были короткие, но жаркие, именно такие, какие бывают только тогда, когда люди еще дышат победой и, не замечая усталости, с особенной удалью спешат довершить начатое дело. Фланговые атаки полк принимал лежа, разреженной цепью, подпускал врага близко и, оглушив его пулеметной очередью, мгновенно кидался в рукопашную, причем так, что крылья цепи неизменно оказывались гуще центра и тотчас же охватывали противника. Этот маневр, никем не подсказанный, выполненный быстро и ловко, как на учебной площадке, неизменно увенчивался успехом, и Игорь знал, что только вдохновенье победы рождало и этот маневр и его успех. «Вот так бы всегда,— мечтал Игорь после долгого этого дня, лежа у костра, под мелким дождичком, снова затянувшим и небо, и горизонты, уходящие во мрак ранней ночи. Пока квартирьеры рыскали по деревне и искали удобное пристанище, Игорь остановился тут у околицы с солдатами. В котле закипал чай, под дождевыми брызгами потрескивал горячий валежник, солдаты пели песни охрипшими веселыми голосами, то и дело перебивая себя шуткой или каким-нибудь будничным, обиходным замечанием.

— Опять, значит, Брусил наш бородача переупрямил,— раздался чей-то громкий голос, и в свете костра появился высокий солдат с манеркой в руках.

— Да уж не без этого,— откликнулся другой голос, только что мурлыкавший песню: — Брусил — известно, назад его отмахнешь, а он тебя по лбу!

Солдаты одобрительно рассмеялись.

Игорь спросил:

— А что такое брусил? — хотя тотчас же догадался, что речь шла о Брусилове.

— А это, как бы вам сказать, ваше благородие,— охотно начал ближайший к Игорю солдат, следивший за огнем: — оно вроде долбы, отвеска чугунная, а то еще людей так зовут, обязательно которые на своем поставят и напролом идут...

— Ах вот что! — сказал Игорь.— А мне говорили, что бруситъ — значит завираться, пить горькую...

— Злой человек сказал! — резко перебил его тот, что подошел с манеркой и подозрительно вгляделся в незнакомого офицера,— Чем справедливей человек, тем у него завистников больше. Это мы знаем, чьи разговоры! Откуда ветром дует! Только нас ветром не сломишь. Мы как верба — погнемся, а потом и отхлещем...

Внезапно злая его усмешка сменилась довольной улыбкой:

— Вы бы нашего Антона Степаныча послушали. Сейчас только от него... Вот смеется! Кавалеристы из разъезда сказывают: Луцка брать не пришлось, потому что он уже взятый!

— Как так? — вскрикнул Игорь, вскочив на ноги.

— Его четвертая у нас вырвала!

Солдаты засмеялись. Игорь кинулся разыскивать Лохвицкого. У полковника, так же как у Зайончковского, только чинами пониже, собрались в прокуренной горнице господа офицеры и, смеясь, пили водку, на все лады обсуждали сногсшибательную новость о Луцке. Сомнений быть не могло. Солдат рассказал правду.

— Уже, говорят, от Алексея Алексеевича ответная телеграмма получена,— заметил Лохвицкий, добродушно покашливая в ладошку: — едет к нам, господа! Зайончковский рвет и мечет! Только что пронесся мимо, не остановился, крикнул мне: «Передайте вашим молодцам большое мое спасибо! Кабы не они, не видать бы четвертой Луцка, как своих ушей».

— Совершенно правильно сказано! — крикнули хором офицеры и подняли стаканы.— За наше здоровье!

Игорь тоже поднял свой стакан с мутной жидкостью и крикнул:

— Постойте, господа! Маленькая поправка: не видать бы нам Луцка, если бы не Брусилов, наш славный командарм! За его здоровье, господа!

— Ура! — крикнул громко Лохвицкий, обычно по скромности говоривший шопотом, в ладошку.— Ура генералу Брусилову!

— Ура! — подхватили все остальные, и Игорю почудилось, что он снова стоит среди поля и слышит бегущие к нему волны все нарастающего наступленья.

Встретились они снова — командующий армией и штабс-капитан Смолич — на следующий день в Луцке у замка Любарта, под высокой четырехугольной башней, за полуразрушенной зубчатой стеной.

Брусилов только что произвел смотр войскам, занявшим город. Верхом на рыжей англизированной кобыле командарм показался Игорю очень картинным и снова совсем не таким, каким ожидал его встретить.

Генералы Стельницкий, Зайончковский и еще несколько Игорю незнакомых проследовали за командующим. Брусилов улыбался, слушал их. Игорь не сумел разобрать, о чем они говорили. Саенко шопотом рассказывал ему о событиях в штабе. Иванов несколько раз, оказывается, говорил по прямому с Алексеем Алексеевичем, уговаривал его приостановить наступление, не форсировать Стырь. Он предвещал несчастье, чуть не плакал, заклинал именем государя.

Брусилов оборвал, махнув рукой, и прошелся по валу.

— Нет! Каково вышло складно на этот раз!

(Продолжение следует)

Освобождение

Углы азимута,
походных дорог вычисленья,
и парты, и карты,
крылатое время ученья...

— На запад! На запад!
От школы, от песен веселых,
теперь их заменит
войны настоящая школа.

Свидетели горя и счастья
сторонки родимой,
мы снова в походе
и в край белорусский пришли мы.

Тропинка глухая
ведет нас в побитое поле,
и, песню слагая,
колотится сердце до боли.

О Беседи милой
в дни славы
легенду слагает,
что слева,
что справа —
все зорко оно примечает,
и пишет в бою
— не на карте оно донесенья,
а пишет легенду
победы и освобожденья...

Гляди:
не село нас зовет с перекрестка,—
легенда!
А в поле за Беседью
разве березка?
Легенда!
Стоит она в рваной рубашке
одна на погосте,
пробитая пулями тяжко,
и кровь запеклась на бересте.
Стреляли чужинцы,
да чудом она уцелела,
стоит, замерев,
как девчина на месте расстрела.
Не плачь, мое счастье,
Не лей свои слезы,
легенда!

Над Беседью светлой
раскинь свои косы,
легенда!
Тебя не угнали
чужинцы в неволю,
легенда!
Живи же на радость
и людям, и полю.

легенда!
Что сталось с тобою,
сторонка родная под немцем?
Сравняли с землею
селенья твои чужеземцы.
Припасть нам позволь
к ним ко всем по-сыновьи,
родная!
Знамена мы склоним,
омытые кровью,
родная!
Погибших бойцов
назовем поименно,
родная!
Их светлая кровь
на полотнах червонных,
родная!

Идем мы на запад,
а Беседь, как сабля стальная,
меж сосен блистает,
сторонка моя дорогая!
Мы видим сожженные пивы и домы,
сторонка!
И лютым врагам
непременно заплатим за все мы
сторонка!

На запад идем мы,
а Беседь, как сабля стальная,
меж сосен блистает,
сторонка моя дорогая!

Песем пепелищам
мы новые хаты,
победа!
А печкам остывшим
дымок синеватый
победа!

Зерно — закормам,
а зерну — его долю,
победа!
Чтоб сеятель — сеял,
а пахарю — поле,
победа!

Ведет нас вперед
вдохновенный приказ полководца,
Легенду творим мы,
что песнью в веках отзовется.

С боями мы шли
по дорогам разбитым и хмарным,
И славный наш путь
через Друть —
назовут легендарным.

От Волги до Немана
с ветром победы прошли мы,
На Беседь и Птичь,
на родную сторонку пришли мы.
Когда-то ее
мы назвали оставленным раем,
теперь отвоеванным раем
ее называем!

Перевел с белорусского Д. Осин

Два капитана

ЧАСТЬ ВОСЬМАЯ,

РАССКАЗАННАЯ САНЕЙ ГРИГОРЬЕВЫМ[1]

Глава четвертая

ЭТО ТЫ, СОВА?

Нас везли в теплушках, только впереди были два классных вагона, и, должно быть, плохи были мои дела, если маленький доктор с умным, замученным лицом после первого обхода велел перевести меня в классный. Я был весь забинтован — голова, грудь, нога, и лежал неподвижно, как толстая, белая кукла. Санитары на станции переговаривались под нашими окнами: «Возьми у тяжелых». Я был тяжелый. Но что-то стучало, не знаю где — в голове или в сердце, и мне казалось, что это жизнь стучит и возится, и строит что-то еще слабыми, но цепкими руками.

Я познакомился с соседями. Один из них был тоже летчик, молодой, гораздо моложе меня. Мне не хотелось рассказывать, как я был ранен, а ему хотелось, и несколько раз я засыпал под его молодой, глуховатый голос:

— Только я вышел из атаки, вижу бензозаправщики. «Все»,— думаю. Прицелился, нажимаю, бью. «Довольно,— думаю,— а то врежусь, пожалуй». Отвернул — и тут меня что-то ударило. Отошел я от этого места, нажимаю на педаль, а ноги не чувствую. «Ну,— думаю,— оторвало мне ногу». А в кабину не смотрю, боюсь...

Он летал на «Чайке» и был ранен в районе Борушан — гораздо тяжелее, чем я,— так мне казалось. Потом я понял, что ему, наоборот, казалось, что я ранен гораздо тяжелее, чем он.

...Это были коротенькие мирные пробуждения, когда, слушая Симакова — так звали моего соседа,— я смотрел на медленно проходящую за окнами осеннюю степь, на белые мазанки, на тяжелые тарелки подсолнухов в огородах у железнодорожных будок. Все, кажется, было в порядке: санитары приносили и шумно ставили на пол ведра с супом, койка покачивалась, следовательно, мы двигались вперед, хотя и медленно, потому что то и дело приходилось пропускать идущие на фронт составы с вооружением.

Но были и другие пробуждения — совсем другие! Наш поезд был уже не только ВСП,— вот что я понял во время одного из этих томительных пробуждений! Платформы со станками были прицеплены к теплушкам, кухня сломалась, и нужно было ждать станции, чтобы купить молока и помидор. Маленький доктор кричал надорванным голосом и грозил кому-то револьвером. На площадках, на буферах сидели со своими узлами женщины из Умани, Винницы, Станиславa, и «души не хватало»,— как сказал один санитар,— чтобы высадить этих женщин, потрясенных, потерявших все, бесчувственных от горя.

Затерянный где-то в огромной, сплетающейся сетке магистралей наш ВСП уже не шел по назначению, а отступал вместе с народом.

...Большие, синие, твердые, как камни, мухи влетали в окна, и не согнать их было с затягивающих, не менявшихся уже третьи сутки повязок,— вот что увидел я, проснувшись вновь от жары, от тоски. Был полдень, мы стояли в поле. Босоногая девчонка с пучком помидор вышла из помятого квадрата пшеницы, который был виден из моего окна; несколько легко раненых бросились к ней, она онемела и со всех ног побежала назад, роняя свои помидоры.

...Прошло всего несколько дней, как с борта моего самолета я видел то, чего не видел — так мне казалось — ни один участник войны на земле. Но как бы в алгебраических формулах раскрывалась тогда передо мной картина нашего отступления. Теперь эти формулы ожили, превратились в реальные факты.

[1] Продолжение. См. № 1—2 журн. «Октябрь» за 1944 год.

Не с высоты 6 000 метров теперь я видел наше отступление! Я сам отступал, измученный ранами, жаждой, жарой и, еще более — невеселыми мыслями, от которых так же не мог отделаться, как от этих сытых, твердых мух, садившихся с отвратительным громким жужжаньем.

Это было под вечер, и мы, очевидно, уже не стояли на месте, потому что моя «люлька» ритмично покачивалась в такт движениям вагона. Заходящее солнце косо смотрело в окно, и в его красноватом луче был ясно виден пыльный, тяжелый, пропахший потом воздух. Кто-то стонал, негромко, но противно,— даже не стонал, а гудел сквозь зубы однотонно, как зуммер. Я окликнул соседа. Нет, не он. Но где я слышал этот унылый голос? И почему я так стараюсь вспомнить, где я его слышал?

И вдруг школьные парты выстроились передо мной, и, как наяву, я увидел много живых, детских, смеющихся лиц. Урок интересный — о нравах и обычаях чукчей. Но разве до урока, если пари заключено, если рыжий мальчик с широко расставленными глазами держит меня за палец и хладнокровно режет его перочинным ножом?

— Романка! — сказал я громко.

Он замолчал — конечно, от удивления.

— Это ты, Сова?

Он долго топал под койками, пробирался между ранеными, лежавшими на полу, и, наконец, вынырнул где-то среди торчавших забинтованных ног.

— В чем дело? — глядя прямо на меня и не узнавая, осторожно спросил он...

Мне показалось, что он стал немного больше похож на человека, хотя все еще,— как говорила тетя Даша,— «не страдал красотой». Во всяком случае, от его прежней мнимой внушительности теперь ничего не осталось. Он был тощ и бледен, уши торчали, как у Петрушки, левый глаз осторожно косил.

— Не узнаешь?

— Нет.

— А ну, подумай!

Он никогда не умел по-настоящему скрывать своих чувств, и теперь они стали проходить передо мной по порядку или, точнее, в полном беспорядке. Недоумение. Испуг. Ужас, от которого задрожали губы. Снова недоумение. Разочарование.

— Позволь, но ты же убит,— пробормотал он.

Глава пятая

СТАРЫЕ СЧЕТЫ

В старых русских песнях поется о доле, и хотя я совсем не фаталист,— это слово невольно пришло мне в голову, когда в газете «Красные соколы» я прочел заметку о собственной смерти. Я помню ее наизусть:

«Возвращаясь с боевого задания, самолет, ведомый капитаном Григорьевым, был настигнут четырьмя истребителями противника. В неравной схватке Григорьев сбил один истребитель, остальные ушли, не принимая боя. Машина была повреждена, но Григорьев продолжал полет. Неподалеку от линии фронта он был вновь атакован, на этот раз двумя юнкерсами. На объятой пламенем машине Григорьев успешно протаранил юнкерс. Летчики Энской части всегда будут хранить память о сталинских соколах — капитане Григорьеве, штурмане Лури, стрелке-радисте Карпенко и воздушном стрелке Ершове, до последней минуты своей жизни боровшихся за отчизну».

Надо же было какому-то военному корреспонденту,— это я узнал лишь летом 1943 года,— явиться в деревню П., как только меня увезли! Колхозники видели воздушный бой, он расспросил их. Он сфотографировал остатки сгоревшей машины. Ему сказали, что я безнадежен.

Потому ли, что я действительно лишь чудом спасся от смерти, или потому, что впервые в жизни пришлось мне прочитать собственный некролог, но эта заметка произвела на меня оскорбительное впечатление. Мысли мои вдруг разбежались. Катя представилась мне. Не та Катя, которая,— я это знал,— вдруг проснувшись, встает с постели и бродит по комнате, думая обо мне. Нет, другая, мрачная, постаревшая Катя, которая прочтет эту заметку и положит газету на стол, и сделает еще что-то, как будто ничего не случилось, быть может заплетет и распустит косу с неподвижным лицом — и вдруг покатится на пол, как кукла...

— Так,— сказал я.— Бывает.

И я смял газетку и швырнул ее в окно. Романов ахнул. Все время, пока мы разговаривали, он поглядывал в окно,— поезд стоял. Потом подобрал газетку — очевидно ему доставляло удовольствие хоть читать, что я умер, раз уж собственными глазами он убедился в обратном.

— Итак, ты жив! Я не верю глазам! Дорогой...

Это было сказано: «дорогой».

— Черт возьми, как я рад! Это совпадение? Однофамилец? Впрочем, не все ли равно! Ты жив,— это основное.

Он стал спрашивать, куда я ранен, тяжело ли, задета ли кость и т. д. И я снова разочаровал его, сказав, что ранен легко и что

знакомый врач устроил меня в классный вагон.

— Но, воображаю, как будет расстроена Катя,— сказал он.— Ведь эта заметка могла дойти до нее.

Я сказал: «да, могла»,— и стал расспрашивать его о Москве. Романов мельком сказал, что нет еще и месяца, как он из Москвы.

Не только что разговаривать с ним, и притом самым мирным образом, но с первого слова дать ему понять, что между нами ничего не изменилось,— вероятно, именно так я должен был поступить. Но человек — странное существо, это старая новость. Я смотрел на его напряженное, неестественно блещое лицо, и ничто, кроме привычного презрения, перемешанного даже с каким-то интересом, не шевельнулось во мне. Разумеется, он как был, так и остался в моих глазах подлецом. Но в эту минуту он представился мне каким-то давно знакомым, привычным, так сказать, «своим» подлецом.

И он понял, все понял! Он заговорил о Кораблеве — знаю ли я, что, несмотря на свои 63 года, старик записался в народное ополчение и что в «Вечерней Москве» по этому поводу была помещена заметка? Он рассказал — с ироническим оттенком,— о Николае Антоныче, который получил не только новую квартиру, но и научное звание. Какое же? Доктора географических наук — и без защиты диссертации, что, по мнению Романова, было почти невозможно.

— И знаешь, кто сделал ему карьеру? — со злобой, с блеском зависти в глазах сказал Романов.— Ты.

— Я?

— Да. Он — Татаринов, а ты сделал эту фамилию знаменитой.

Он хотел сказать, что моя работа по изучению экспедиции «св. Мариц» впервые привлекла общее внимание к личности капитана Татаринова, и что Николай Антоныч воспользовался тем, что он носит ту же фамилию. И — нужно отдать Романову должное,— он выразил эту мысль как нельзя короче и яснее.

Впрочем, меньше всего мне хотелось разговаривать с ним на эту тему. Он понял это и заговорил о другом.

— Знаешь кого я встретил на ленинградском фронте?— сказал он.— Лейтенанта Павлова.

— А кто такой лейтенант Павлов?

— Вот тебе и на! А он-то утверждал, что знает тебя с детства. Такой огромный, плечистый парень.

Но я никак не мог догадаться, что этот огромный плечистый парень и есть тот самый Володя с детскими синими глазами, который писал стихи и катал меня на собаках Буське и Тоге.

— Да боже мой, к нему отец приезжал, старый доктор!

— Иван Иваныч!

Даже от Романова мне было приятно узнать, что доктор Иван Иваныч жив и здоров и даже служит на флоте. Какой молодец!

Несколько раз Романов упомянул, что он был на ленинградском фронте. Катя осталась в Ленинграде, я беспокоился о ней. Но не хватало еще, чтобы я спрашивал у Романова о Кате!

Вообще теперь, когда он уже немного привык к тому, что я жив, ему смертельно захотелось рассказать о себе. Он уже, кажется, гордился тем, что встретил меня в ВСП, что он ранен, так же, как и я и т. д.

Война застала его в Ленинграде — заместителем директора по хозяйственной части одного из институтов Академии наук. У него была броня, но он отказался, тем более что весь институт до последнего человека записался в народное ополчение. Под Ленинградом он был ранен и остался в строю. Прежнее начальство, которое теперь стало крупным военным начальством, вызвало его в Москву. Он получил новое назначение и не доехал.— под Винницей разбомбили поезд. Взрывной волной его ударило о телеграфный столб, и теперь всю левую сторону тела время от времени начинает «невыносимо ломить».

— Ведь я во сне стонал, когда ты услышал,— объяснил он.— И доктора не знают, что делать со мной, решительно не знают.

— Ну, а теперь признавайся,— сказал я строго.— Что ты соврал и что правда?

— Абсолютно все правда!

— Ну да!

— Ей богу! Вообще, прошли те времена, когда нам нужно было как-то хитрить друг перед другом.

Он сказал «нам».

— Теперь, брат, кончено. У меня одна жизнь, у тебя — другая. Что нам делить теперь? Ты опять не поверишь, но, честное слово, я иногда удивляюсь, вспоминая историю, которая поссорила нас. В сравнении с тем, что происходит на наших глазах, она представляется просто вздором.

— Еще бы!

— И довольно об этом!

Он вопросительно посмотрел на меня. Очевидно не был уверен — согласен ли я, что об «этом» довольно.

☆

Но я был согласен. Не до старых счетов было мне в эти дни! Тоска томила меня. То думал я о том, что стал жалок, беспомощен со своей перебитой ногой перед лицом гигантской тени, которая надвинулась на нашу страну и вот теперь идет за нами, догоняет наш заблудившийся поезд. То госпиталь представлялся мне: день тянется бесконечно, однообразно, сестра в тапочках заходит и ставит на столик цветы, и, боже мой, как я не хотел всей душой, изо всех сил этого покоя, этих цветов на столе, этих бесшумных госпитальных шагов!

То мысль, страшнее которой я уже ничего не мог бы придумать, хотя бы думал день и ночь и снова день, как пишется в восточных сказках, приходила ко мне. Эта мысль была: «я больше не буду летать». Мне сразу становилось жарко, я начинал дышать открытым ртом, и сердце уходило так далеко, откуда, кажется, уже невозможно вернуться.

Глава шестая

ДЕВУШКИ ИЗ СТАНИСЛАВА

Выше я рассказал о том, как раненые бросились подбирать помидоры. Это была минута, когда я с особенной силой испытал горькое чувство отступления. И вот две девушки,— тогда я увидел их впервые,— одетые во что-то штатское, вдруг появились в толпе. Они даже ничего не сделали, а только что-то сказали одному и другому быстро — певуче, по-украински, и раненые молча разошлись по вагонам.

Это были студентки педтехникума из Станислава — обе крупные, черные, с низкими бровями, с низкими голосами и необыкновенно «домашние», несмотря на свою решительную, сильную внешность. Только что присоединившись к нам, они достали воды и бережно роздали ее, по кружке на брата. Они принесли откуда-то — не бог весть что, лукошко калины, но как приятно было сосать горьковатую ягоду, как она освежала!

Почему среди тысяч людей, прошедших передо мной в те дни, я остановился на этих девушках, о которых даже ничего не знаю, кроме того, что одну из них звали Катей?

Потому что... Но я снова забегаю вперед.

☆

Я лежал у окна спиной к движению. Уходящая местность открывалась передо мной, и поэтому я увидел эти три танка, когда мы уже прошли мимо них. Ничего особенного, средние танки. Открыв люки, танкисты смотрели на нас. Они были без шлемов, и мы приняли их за своих. Потом люки закрылись, и это была последняя минута, когда еще невозможно было предположить, что по санитарному эшелону, в котором находилось, вероятно, не меньше тысячи раненых, другие, здоровые люди могут стрелять из пушек.

Но именно это и произошло.

С железным скрежетом сдвинулись вагоны, меня подбросило, и я невольно застонал, навалившись на раненую ногу. Какой-то парень, гремя костылями, с ревом бросился вдоль вагона, его двинули, и он ткнулся в угол рядом со мной. Я видел через окно, как первые раненые, выскочив из теплушек, бежали и падали, потому что танки стреляли по ним прицельно.

Мой сосед Симаков смотрел рядом со мной в окно. У него было белое лицо, когда, одновременно обернувшись, мы взглянули в глаза друг другу.

— Надо вылезать!

— Пожалуй,— сказал я.— Для этого нужны пустяки: ноги.

Но все же мы сползли кое-как с наших коек, и толпа раненых вынесла нас на площадку.

Никогда не забуду чувства, с необычайной силой охватившего меня, когда, преодолевая мучительную боль, я спустился с лесенки и лег под вагон. Это было презрение и даже ненависть к себе, которое я испытал, может быть, впервые в жизни. Страшно раскинув руки, люди лежали вокруг меня. Это были трупы. Другие бежали и падали с криком, а я сидел под вагоном беспомощный, томящийся от бешенства и боли...

Я вытащил пистолет — не для того, чтобы застрелиться, хотя среди тысячи мыслей, сменивших одна другую, может быть, мелькнула и эта. Кто-то крепко взял меня за кисть...

Это была одна из давешних девушек, именно та, посмуглее, которую звали Катей. Я показал ей на Симакова, который лежал поодаль, прижавшись щекой к земле. Она мельком взглянула на него и покачала головой. Симаков был убит.

— К черту, я никуда не пойду!— сказал я второй девушке, которая вдруг появилась откуда-то, удивительно неторопливая среди грохота и суматохи обстрела.— Оставьте меня! У меня есть пистолет, и живым они меня не получат.

Но девушки схватили меня, и мы все втроем скатились под насыпь. Ползущий, желтый, похожий на китайца Ромашов, мелькнул где-то впереди в эту минуту. Он полз по той же канаве, что и мы; мокрая

глинистая канава тянулась вдоль полотна, сразу за насыпью начиналось болото.

Девушкам было тяжело, я несколько раз просил оставить меня. Кажется, Катя крикнула Ромашову, чтобы он подождал, помог, но он только оглянулся и снова, не прижимаясь к земле, пополз на четвереньках, как обезьяна.

Так это было,— только в тысячу раз медленнее, чем я рассказал.

Кое-как перебравшись через болото, мы залегли в маленькой осиновой роще. Мы — то есть девушки, я, Ромашов и два бойца, присоединившиеся к нам по дороге. Они были легко ранены, один в правую, другой в левую руку.

Глава седьмая

В ОСИНОВОЙ РОЩЕ

Я послал этих двух бойцов в разведку, и, вернувшись, они доложили, что на разных направлениях стоят до сорока машин, причем откуда-то взялись уже и походные кухни. Очевидно, танки, обстрелявшие наш эшелон, принадлежали к большому десанту.

— Уйти, конечно, можно. Но поскольку капитан не может самостоятельно двигаться, лучше воспользоваться дрезиной.

Дрезину они нашли под насыпью у разъезда.

Помнится, именно в это время, когда мы стали обсуждать, можно ли поднять дрезину и поставить ее на рельсы, Ромашов лег на спину и начал стонать и жаловаться на сильные боли. Возможно, что у него действительно начался припадок, потому что, когда девушки расстегнули его гимнастерку, у него оказалась совершенно красная левая половина тела. Прежде я никогда не слыхал о подобных контузиях. Так или иначе, но в таком состоянии он, разумеется, не мог итти с бойцами к разъезду. Пошли девушки — все такие же неторопливые, решительные, не спеша переговаривающиеся по-украински низкими, красивыми голосами.

И мы с Ромашовым остались одни в маленькой мокрой осиновой роще.

Притворялся он, или ему было действительно плохо? Пожалуй, не притворялся. Несколько раз он дернулся, как припадочный, потом погудел и затих. Я сказал:

— Ромашов!

Он молча лежал на спине с высоко поднятой грудью, и у него был совершенно мертвый, белый нос. Я снова окликнул его, и он отозвался таким слабым голосом, как будто уже побывал на том свете и теперь без всякого удовольствия возвращается в эту рощицу, находящуюся в районе действий немецкого десанта.

— Здорово схватило,— стараясь улыбнуться, пробормотал он.

Он поднял веки и с трудом привстал, машинально снимая с лица налипшие листья осины...

Мне трудно рассказать о том, как прошел этот день, вероятно, потому, что, несмотря на всю сложность положения, он был довольно скучный, в особенности по сравнению с тем, что произошло наутро. Мы ждали и ждали без конца. Я лежал под развалленной поленницей на кучах прошлогодних листьев. Ромашов сидел, как турок, поджав под себя ноги, и кто знает, о чем он думал, полузакрыв птичьи глаза и положив руки на худые колени?

Роща была сырая, а тут еще недавно прошел дождь, и повсюду — на ветках, на паутине, дрожащей от тяжести, блестели и глухо падали крупные капли. Таким образом, мы не страдали от жажды.

Раза два заглянуло к нам солнце. Сперва оно было справа от нас, потом, описав полукруг, оказалось слева,— стало быть прошло уже часа три, как бойцы и девушки отправились налаживать дрезину.

Уходя, та, которую звали Катей, сунула мне под голову свой заплечный мешок. Очевидно в мешке были сухари,— что-то хрустнуло, когда я кулаком подбил мешок повыше. Ромашов стал ныть, что он умирает от голода, но я прикрикнул на него, и он замолчал.

— Они не вернутся,— через минуту первно сказал он.— Они бросили нас.

Он оправился от своей дурноты и уже разгуливал, рискуя выдать нас, потому что рощица была редкая, а до полотна открывалась пустынная местность.

— Это ты виноват,— снова сказал он, вернувшись и садясь на корточки подле меня.— Ты отправил их всех. Нужно было, чтобы одна осталась.

— В залог?

— Да, в залог. А теперь пиши пропало! Так они и вернутся за нами! Это — ручная дрезина, она, вообще, может взять только четырех человек.

Вероятно, у меня было плохое настроение, потому что я вытащил пистолет и сказал Ромашову, что убью его, если он не перестанет ныть. Он замолчал. Морда у него искривилась, и он, кажется, с трудом удержался, чтобы не заплакать.

Вообще говоря, плохо было дело! Уже первые сумерки, крадучись, стали пробираться в

...а девушки не возвращались. Разумеется, я и мысли не допускал, что они могли ...ть на дрезине без нас, как это подло ...полагал Ромашов. Пока лучше было не ...ать, что они не вернутся.

Лежа на спине, я смотрел в небо, которое ... темнело и уходило от меня среди трепе...щих жидких осин. Я не думал о Кате, но ...-то нежное и сдержанное прошло в душе, ... почувствовал: «Катя». Это был уже сон, ...если бы не Катя, я прогнал бы его, потому что нельзя было спать, я это чувствовал, ... еще не знал — почему. Испания представилась мне, или мое письмо из Испании.— ...-то очень молодое, перепутанное, не ... а крошечные фруктовые салики под ...ленсией, в которых старухи, узнав, что ... русские, не знали, куда нас посадить ... что с нами делать. «Так что все-таки помни,— так я писал Кате, хотя чувствовал, что она рядом со мной,— ты свободна, никаких обязательств».

Мне было страшно расстаться с этим сном. ...тя и холодно было промокшей ноге, хотя ...леко сползла с плеча и подмялась шинель. ... держал Катю за руки, я не отпускал этот сон, но уже случилось что-то страшное, и нужно было заставить себя проснуться.

Я открыл глаза. Освещенный первыми лучами солнца туман лениво бродил между деревьями. У меня было мокрое лицо, мокрые руки. Ромашов сидел поодаль в прежней, сонно-равнодушной позе. Все, кажется было как прежде, но все было уже совершенно другим.

Он не смотрел на меня. Потом посмотрел — искоса, очень быстро, и я сразу понял, почему мне так неудобно лежать. Он вытащил из-под моей головы мешок с сухарями. Кроме того, он вытащил: фляжу с водой и пистолет.

Кровь бросилась мне в лицо. Он вытащил пистолет!

— Сейчас же верни оружие, болван! — сказал я спокойно.

Он промолчал.

— Ну!

— Ты все равно умрешь,— сказал он торопливо.— Тебе не нужно оружия.

— Умру я, или нет, это уже мое дело. ... ты мне верни пистолет, если не хочешь ...пасть под полевой суд. Понятно?

Он стал коротко, быстро дышать.

— Какой там полевой суд! Мы одни, и никто ничего не узнает. В сущности, тебя уже давно нет. О том, что ты еще жив,— ничего неизвестно.

Теперь он в упор смотрел на меня, и у него были очень страшные глаза — какие-то торжественные, широко открытые. Может быть, он помешался?

— Знаешь что, глотни-ка из фляги,— сказал я спокойно.— И приди в себя. А уж потом мы решим — жив я, или умер.

Но Ромашов не слушал меня.

— Я остался, чтобы сказать, что ты мешал мне всегда и везде. Каждый день, каждый час! Ты мне надоел смертельно, безумно! Ты мне надоел тысячу лет!

Безусловно, он не был вполне нормален в эту минуту. Последняя фраза «надоел тысячу лет» убедила меня.

— Но теперь все кончено, навсегда! — в каком-то самозабвении продолжал Ромашов.— Все равно ты умер бы, у тебя гангрена. Теперь ты умрешь скорее, сейчас,— вот и все.

— Допустим! — Между нами было не больше трех шагов, и, если удачно бросить костыль, возможно, я мог оглушить его. Но я еще говорил спокойно.— Но зачем же ты взял планшет? Там мои документы.

— Зачем? Чтобы тебя нашли просто так. Кто? Неизвестно. (Он пропускал слова.) Мало ли валяется, чей-то труп. Ты будешь трупом,— сказал он надменно,— и никто не узнает, что я убил тебя.

Теперь эта сцена представляется мне почти фантастической. Но я не изменил и не прибавил ни слова.

Глава восьмая

НИКТО НЕ УЗНАЕТ

Мальчиком я был очень впечатлителен и прекрасно помню то опасное чувство наслаждения, когда я давал себе полную волю. Именно с этим чувством, от которого уже начинала немного кружиться голова, я слушал Ромашова. Нужно было приказать себе стать совершенно спокойным, и я приказал, а потом незаметно отвел руку за спину и положил ее на костыль.

— Имей в виду, что я успел написать в часть,— сказал я ровным голосом, который удался мне сразу.— Так что на эту заметку ты рассчитываешь напрасно.

— А эшелон?

С тупым торжеством он взглянул на меня. Он хотел сказать, что после обстрела ВСП нет ничего легче, как объяснить мое исчезновение. В эту минуту я понял, что он очень давно, может быть со школьных лет, желал моей смерти.

— Допустим. Но, как ни странно, ты ничего не выиграешь на этом,— сказал я что-то такое, все равно что, лишь бы затянуть

время. Полешница мешала замахнуться. Нужно было незаметно отодвинуться от нее и ударить сбоку, чтобы вернее попасть в висок.

— Выиграю я, или нет, это не имеет значения! Ты все равно проиграл. Сейчас я застрелю тебя. Вот!

И он вытащил мой пистолет.

Если бы я поверил, что он действительно может застрелить меня,— возможно, что он бы решился. В таком азарте я еще не видел его ни разу. Но я просто плюнул ему в лицо и сказал:

— Стреляй!

Боже мой, как он завыл и закрутился, заскрипел и даже защелкал зубами. Он был бы страшен, если бы я не знал, что за этими штуками нет ничего, кроме трусости и нахальства. Борьба с самим собой — выстрелить или нет? — вот что означал этот дикий танец. Пистолет жег ему руку, он все наставлял его на меня сразмаху и дрожал, так что я стал бояться, в конце концов, как бы он нечаянно не нажал собачку.

— Мерзавец! — закричал он.— Ты всегда мучил меня! Если бы ты знал, кому ты обязан своей жизнью, ничтожество, подлец! Если бы я мог, боже мой! И зачем, зачем тебе жить? Все равно ногу отнимут. Ты больше не будешь летать.

Это может показаться смешным, но из всех его идиотских ругательств самыми обидными показались мне именно слова о том, что я больше не буду летать.

— Можно подумать, что я больше всего мешал тебе в воздухе,— сказал я, чувствуя, что у меня страшный голос, и все еще стараясь говорить хладнокровно.— А на земле мы были Орестом и Пиладом.

Теперь он стоял боком ко мне, да еще прикрыв левой ладонью глаза, как бы в отчаянии, что никак не может уговорить меня умереть. Минута была удобная, и я бросил костыль. Нужно было метнуть его как копье, то-есть сильно откинуться, а потом послать все тело вперед, выбросив руку. Я сделал все, что мог, и попал, но, к сожалению, не в висок, а в плечо и, кажется, не особенно сильно.

Романов остолбенел. Как кенгуру, он сделал огромный неуклюжий прыжок. Потом обернулся ко мне, и, честное слово, у него было обиженное лицо, как будто с моей стороны было просто невежливо бросаться костылем в такого симпатичного человека.

— Ах, так! — сказал он и выругался.— Хорошо же!

Не торопясь, он уложил мешки. Он связал их, чтобы было удобнее нести, и надел один на правую, другой на левую руку. Не торопясь, он обошел меня. Он наклонился, чтобы поднять с земли какую-то ветку. Это была месть в его духе. Помахивая веткой, он пошел по направлению к болоту, и через пять минут уже среди далеких осин мелькала его сутулая фигура. А я сидел, опершись руками о землю, с пересохшим ртом, стараясь не крикнуть ему: «Романов, вернись!», потому что это было, разумеется, невозможно.

Глава девятая

ОДИН

Оставить меня одного, голодного и безоружного, тяжело раненого, в лесу, в двух шагах от расположения немецкого десанта — я не сомневаюсь в том, что именно это было тщательно обдумано накануне. Все остальное Романов делал и говорил в припадке вдохновения, очевидно надеясь, что ему удастся испугать и унизить меня. Ничего не вышло из этой попытки, и он ушел, что было вполне равносильно, а может быть даже и хуже, убийства, на которое он не решился.

Не могу сказать, что мне стало легче, когда этот трезвый анализ прошел перед мною. Нужно было двигаться, или согласиться с Романовым и навсегда остаться в маленькой осиновой роще.

Я встал. Костыли были разной высоты. Я сделал шаг. Это была не та боль, которая без промаха бьет куда-то в затылок и после которой теряют сознание. Но точно тысяча дьяволов рвали мою ногу на части и скребли железными скребками едва поджившие раны на спине. Я сделал второй и третий шаг.

— Что, взяли? — сказал я дьяволам.

И сделал четвертый.

Солнце стояло уже довольно высоко, когда я добрался до опушки, за которой открылось давешнее болото, пересеченное единственной полоской примятой, мокрой травы. Красные зеленые кочки-шары виднелись здесь и там, и я вспомнил, как они вчера переворачивались у девушек под ногами.

Какие-то люди ходили по насыпи — свои или немцы? Наш поезд еще горел, бледный при солнечном свете огонь перебегал по черным доскам вагонов.

Может быть, вернуться к нему? Зачем? Раскаты орудийных выстрелов донеслись до меня, глухие, далекие и как будто с востока. Ближайшей станцией, до которой я

лось еще километров двадцать, была Новая. Там шел бой, следовательно, наши. Туда я и направился, если можно назвать эту муку каждого шага.

ща кончилась, и пошли кусты с сизо-ыми ягодами, название которых и за-похожими на чернику, но крупнее. Это кстати — больше суток я ничего не Что-то неподвижно-черное лежало в поле устами, должно быть мертвый, и всякий когда навалившись на костыли, я тя-ся за ягодой, этот мертвый почему-то покоил меня. Потом я забыл о нем — и вспомнил с неприятным чувством, от орого даже дрожь прошла по спине. Не-колько ягод упало в траву. Я стал осторож-опускаться, чтобы найти их, и — точно кольнула меня прямо в сердце. Это ла женщина. Теперь я шел к ней, как ько мог быстрее.

Она лежала на спине с раскинутыми ру-ми. Это была не Катя, другая. Пули по-ли в лицо, но глаза были видны, и кра-вые, черные брови сдвинуты с выражением раданья.

Кажется, именно в это время я стал заме-ть, что говорю сам с собой и притом до-льно странные вещи. Я вспомнил, как на-вается та сизо-черная ягода, похожая на рнику — гонобобель, или голубика — и рашно обрадовался, хотя это было не бог сть какое открытие. Я стал вслух строить ложения о том, как была убита эта вушка: вероятнее всего, она вернулась за ной, и немцы с насыпи дали по ней оче-дь из автомата. Я сказал ей что-то ласко-е, стараясь ее обнадежить, как будто она была мертва, безнадежно мертва, с низки-и, страдальчески-сдвинутыми бровями.

Потом я забыл о ней. Я шел куда-то и лтал, и мне ужасно не нравилось, что я к страшно болтаю. Это был бред, подсту-вший удивительно незаметно, с которым я е не боролся, потому что бороться нужно ло только с одним непреодолимым жела-ем — отшвырнуть костыли, натершие мне мышками водяные мозоли, и опуститься землю, которая была покоем и счастьем.

...Должно быть, я ничего не видел вокруг я задолго до того, как потерял сознание,— иначе откуда мог бы появиться рядом моей головой этот пышный, бледнозеленый чан капусты? Я лежал в огороде и с во-ргом смотрел на кочан. Вообще все было превосходно, если бы пугало в черной одранной шляпе не описывало медленные уги надо мной. Ворона, сидевшая на его че, кружилась вместе с ним, и я поду-мал, что если бы не эта госпожа с плоско-мигающим глазом, все на свете действительно было бы превосходно. Я закричал на нее, но таким беспомощно-хрипльм голосом, что она только посмотрела на меня и равнодушно шевельнула крыльями, точно пожала плечами.

Да, все было бы превосходно, если бы я мог остановить этот медленно кружащийся мир. Может быть, тогда мне удалось бы рассмотреть рубленый, некрашеный домик за огородом, крыльцо и во дворе высокую палку колодца. То темнело, то светлело одно из окон, и, кто знает, может быть мне удалось бы увидеть того, кто ходит по дому и тревожно смотрит в окно.

Я встал. До порога было шагов сорок — пустяки в сравнении с тем расстоянием, которое я прошел накануне. Но дорого достались мне эти сорок шагов! Без сил упал я на крыльцо, загремев костылями.

Дверь приоткрылась. Мальчик лет двенадцати стоял на одном колене за табуретом. Лежа на крыльце, я не сразу различил его в глубине темноватой комнаты с низким потолком и большими двухэтажными нарами, отделенными ситцевой занавеской. Он целился прямо в меня, даже зажмурил глаз и крепко прижался щекой к прикладу.

— Вот что, нужно мне помочь,— сказал я, стараясь остановить эту комнату, которая уже начала вокруг меня свое проклятое медленное движение,— я раненый летчик из эшелона.

— Кирилл, отставить! — сказал мальчик с ружьем.— Это наш.

Мне показалось, что он раздвоился в эту минуту, потому что еще один совершенно такой же мальчик осторожно выглянул из-за полога. В руке он держал финский нож. Он еще пыхтел и моргал от волнения.

Глава десятая

МАЛЬЧИКИ

Я плохо помню то, что было потом, и дни, проведенные у мальчиков, представляются мне в каких-то клубах пара. Пар был самый реальный, потому что большой чайник с утра до вечера кипел на таганчике в русской печке. Но был еще и другой, фантастический пар, от которого я быстро и хрипло дышал и обливался потом. Иногда он редел, и тогда я видел себя на постели, с ногой, под которую была подложена тора разноцветных подушек. Это сделали мальчики, чтобы кровь отлила от ран. Я уже знал, что их зовут Кира и Вова, что они сыновья

стрелочника, Ионы Петровича Лескова, что отец накануне ушел на станцию, а им приказал запереться и никого не пускать. Они были близнецами — и это я превосходно знал, но все-таки пугался, когда видел их вместе; они были совершенно одинаковые, носатые и длиннорукие,— и это снова было похоже на бред.

...Точно два человека боролись во мне — один веселый, легкий, который старался припомнить и живо представить себе все самое хорошее в жизни, и другой — мрачный и мстительный, не забывающий обид, томящийся от невозможности отплатить за унижение.

То представлялось мне, как высокий бородатый человек, такой замерзший, что он даже не в силах запереть за собой дверь, входит в избу, где живем мы с сестрою. Но это не доктор Иван Иваныч. Это я. Без сил я падаю на крыльцо, дверь распахивается, мальчики целятся в меня, а потом говорят: «Это наш».

И все мне казалось, что они потому отнеслись ко мне так сердечно, что когда-то, много лет назад, мы с сестрой помогли доктору, одинокие, заброшенные дети в глухой, занесенной снегом деревне.

То видел я себя с оскаленными от злобы зубами, с пистолетом в руке, под вагоном. Странно раскинув руки, люди лежали вокруг меня. Что же я сделал, в чем провинился, что пропустил самое важное, самое необходимое в жизни? Как случилось, что эти люди пришли к нам и осмелились подло стрелять в раненых, точно не было на свете ни справедливости, ни чести, ни того, чему я учился в школе, ни самой школы с Иваном Павлычем и Валей? Точно не было Кати и моей любви к ней, точно не было ничего, во что я свято верил и что с детства привык уважать и любить.

И я старался прогнать эту загадку, потому что у меня пропадало дыхание, и мальчики с беспокойством глядели на меня и все говорили, что если бы пришел отец, он бы что-то сделал со мной, и мне сразу стало бы лучше.

И отец пришел. Без сомнения, это был он, такой же неуклюжий, как мальчики, с мрачным носатым лицом и сияющими голубыми глазами. Они сияли в ту минуту, когда, опустив руки и сгорбившись, он остановился подле постели.

— Десант разбит,— сказал он,— мы окружили их у Щели Новой и уничтожили всех до одного.

Потом он замолчал, уставясь на меня исподлобья, и я подумал, что, должно быть, плохи мои дела, если на меня смотрят такими добрыми глазами, если у меня спрашивают имя и отчество, фамилию и звание, вздохнув, прикалывают к стене — чтобы не затерялся — листок бумаги. Но это еще не беда, пусть прикалывает, все равно я не стану смотреть на этот листок. И взяв стрелочника за руку, я начинаю с жаром рассказывать о том, как встретили меня сыновья. Может быть, я рассказываю слишком долго и немного путаюсь и повторяюсь, потому что он кладет мне на лоб что-то холодное и просит, чтобы я непременно уснул.

— Усните, усните!

Я знаю, что он будет доволен, если мне удастся уснуть, и закрываю глаза и притворяюсь, что сплю. Но картина, которую я нарисовал перед ним, остается где-то в бесконечной перспективе, между раздвинутых стен.

Тысячи маленьких домов представляются мне. Тысячи мальчиков стоят на коленях перед табуретами, на которых лежат тысячи ружей. Тысячи других прячутся за синими занавесками с ножами в руках. В великой русской равнине, от горизонта до горизонта в каждом доме, в глубине темноватых комнат мальчики ждут врага. Ждут, чтобы убить его, когда он войдет.

Глава одиннадцатая

О ЛЮБВИ

Если сравнить, как это делают поэты, жизнь с дорогой, то можно сказать, что на самых крутых поворотах этой дороги я всегда встречал регулировщиков, которые указывали мне верное направление. Этот поворот отличался от других лишь тем, что меня выручил стрелочник, то есть профессиональный регулировщик.

Двое суток я пролежал в его доме. Приходя в себя, то снова теряя сознание, и открывая глаза, неизменно видел этого мрачного человека, который стоял у моей постели, не отходя ни на шаг, точно не пуская меня в ту сторону, где дорога срывается в пропасть. Иногда он превращался в мальчика с такими же удивительно светлыми глазами, и мальчик тоже твердо стоял на своем месте и держал меня здесь, в этой комнате с маленькими окнами и низким потолком — ни за что не пуская туда, где (если верить газете «Красные соколы») я однажды уже успел побывать.

Замечательно, что ни разу,— ни наяву, ни в бреду,— я не вспомнил о Ромашове

Был ли это инстинкт самосохранения? Вероятно, да — это воспоминание не прибавило бы мне здоровья.

Но когда движение было восстановлено, когда семейство,— на дрезине, без сомнений той самой, до которой не добрались лавушки из Станислава, доставило меня в Заозерье и, сияя тремя парами голубых глаз, застенчиво простилось со мною, когда я вновь оказался в ВСП и на этот раз в настоящем,— с ванной, радио и вагоном-читальней. Когда вымытый, перебинтованный, сытый, с ногой задранной к потолку по всем правилам медицинской науки, я проспал всю среднюю Россию и уже где-то за Кировом, в другом, тыловом мире показались незатемненные, что было очень странно, окна,— вот когда я вспомнил и повторил в уме все, что произошло между мною и Ромашовым. Я вспомнил наш разговор накануне того дня, когда эшелон обстреляли немецкие танки:

— Сознайся, что у тебя в жизни были подлости,— сказал я,— то есть подлости с твоей собственной точки зрения.

— Допустим,— хладнокровно отвечал он.— Но что значит подлость? Я смотрю на жизнь, как на игру. Вот сейчас, например. Разве сама судьба не сдала нам на руки карты?

Не судьба, а война сдала эти карты. Не война, а отступление, потому что, если бы не отступление, он никогда не решился бы украсть у меня пистолет и бумаги и бросить меня в лесу одного.

Точно, как на суде, я разобрал его поступок со всех точек зрения, в том числе и с военно-юридической, хотя об этой науке у меня было довольно смутное представление.

Я вспомнил всю историю наших отношений, очень сложную, в особенности, если вообразить (теперь это было почти невозможно), что когда-то он серьезно собирался жениться на Кате.

Примирился ли он с тем, что она потеряна для него навсегда? Не знаю. Он женился на какой-то Алевтине Сергеевне, и Нина Капитоновна рассказала, что он страшно напился и плакал на свадьбе. И, слушая Нину Капитоновну, Катя смутилась и покраснела. Что же, она догадалась, что Ромашов все еще любит ее?

Без сомнения, он не помнил себя, когда кричал мне с пистолетом в руке:

— Если бы ты знал, кому ты обязан жизнью!

Но все-таки — кому?

Да, нетрудно было найти в дисциплинарном уставе статью, согласно которой военный суд имел право расстрелять интенданта второго ранга Ромашова.

Но, быть может, есть на свете еще один суд, приговор которого по всей совести нельзя предсказать заранее? На котором обвиняемый скажет:

— Да, я хотел убить его.

И потом:

— Но не убил, потому что люблю ту, которая не в силах перенести эту смерть.

Нет такого суда! Не из любви к Кате, а из трусости он не убил меня. Да и что это за любовь, боже мой! Разве это та любовь, которая делает жизнь высокой и чистой? Которая превращает ее во что-то новое, великолепное? Которая, не спрашиваясь, делает человека в тысячу раз интереснее и добрее, чем прежде?

Нет, то была не любовь, а какое-то, бог весть, сложное, перепутанное чувство, в котором оскорбленное самолюбие мешалось со страстью, и, возможно, участвовал даже расчет, от которого (я в этом уверен) никогда не была свободна эта скучная душа подлеца.

Но все-таки я представил себе этот фантастический суд. Я решил, что Иван Павлыч,— кто же еще, если не наш старый, строгий учитель,— будет судить Ромашова. И мне померещилось, что я вижу одинокую комнату с камином и самого Ивана Павлыча в толстом, мохнатом френче. Сурово вздрагивают седые усы, и глаза смотрят печально и сурово. Он сидит за столом, а Ромашов, равнодушно-сонно щуря глаза, стоит перед ним. Он думает, что я мертв давным давно. Не все ли равно, что скажет ему наш старый учитель!

Но еще кто-то бродит по комнате, останавливается у камина, протягивает руки к огню. Свидетельница стоит у камина и греет руки, думая о чем-то своем.

Далеко была моя свидетельница! Кто знает, жива ли она? Вот уже два месяца, как я ничего не знаю о ней. И какие два месяца — осень 1941 года.

Она живет в городе, окруженном с юга и с севера, с запада и с востока,— в городе, где мы решили устроить свой дом, если это когда-нибудь станет возможно. Бомбят и обстреливают этот город и делают все, что только в силах, чтобы голодной смертью умерли его жители, которые не желают сдаваться. Льют тяжелые пушки и тащат их за тысячи километров. Из самой Германии везут бетон и заливают им стенки траншей и дотов. Каждую ночь освещают ракетами небо над Невой, чтобы не проскочила по темной

воде баржа с мукой или хлебом. Трудятся ожесточенно, свирепо — все для того чтобы умерла моя Катя.

Глава двенадцатая
В ГОСПИТАЛЕ

Не знаю, откуда взялось у меня это представление о госпитале — розы на ночном столике, ослепительные палаты, бесшумные сестры, скользящие между коек, как феи и т. д. Должно быть из какого-нибудь рассказа. Действительность оказалась гораздо проще.

Это было огромное здание, переполненное до такой степени, что койки стояли во всех коридорах и даже в столовой, которая была устроена, впрочем, также в каком-то проходном помещении. Прежде здесь находился медицинский институт — еще висели на стенах муляжи с мертвыми страшными лицами, наполовину содранными, чтобы показать, как расположены нервы. В витринах еще сохранились расписание лекций и грозные приказы деканов.

Актовый зал, в котором я лежал, вполне соответствовал своему назначению. Но для палаты он был слишком велик — мне казалось, что конец его даже исчезал из глаз как бы в тумане. В самом деле, когда широкие, наклонные столбы зимнего солнца пересекали зал, они немного дрожали, как в настоящем тумане. Здесь лежало около ста человек, почти все рядовые бойцы. У меня не было документов, и, пока из части не прислали справку, что есть на свете такой капитан, я лежал с рядовыми бойцами. Впрочем, разница сказывалась лишь в том, что нам выдавали махорку, а в командирские палаты легкий табак.

Со всех фронтов собрались люди в нашей огромной палате, очень многие с ленинградского, и, нужно сказать, мало утешительного могли в ту зиму рассказать люди с ленинградского фронта.

Я писал Кате еще с дороги, а из госпиталя почти каждый день. И на Петроградскую к Берешгейпам я писал, и Пете на полевую почту и в Военно-Медицинскую академию, где Катя работала с Варей Трофимовой, как она писала мне еще в июле. Железнодорожной связи с Ленинградом не было, но все же письма доставлялись на самолетах, и я не мог понять, почему не доходят они. Между прочим, это так и осталось загадкой. Я писал бабушке в Ярославскую область, не зная, что детский лагерь Худфонда был вторично эвакуирован куда-то под Новосибирск. Я успокаивал себя только тем, что, если бы с Катей случилось несчастье, кто-нибудь непременно отметил бы мне.

...Мне запомнился этот несчастный день — 21 февраля 1942 года. Одна из общественниц,— так называли в госпитале женщин, которые добровольно и бесплатно ухаживали за нами,— рассказала, как она встречала на станции ленинградский эшелон с ремесленниками и учащимися спецшкол. Это была суровая женщина, которая со спокойствием, поразившим меня, однажды сказала, что у нее муж и сын погибли на фронте. Но она заплакала, рассказывая о том, как мальчиков на руках выносили из теплушек.

Я с трудом заставил себя съесть обед в этот день. Нога, уже больше месяца лежавшая в гипсе, вдруг разболелась так, что я просто не находил себе места. Врач назначил меня на рентген — и вот тут я «поддался беде», как любила говорить тетя Даша.

Во-первых, рентген показал, что нога неправильно срослась и нужно снимать гипс и ломать какие-то кости, словом, начинать лечение сначала. Во-вторых, в кабинете был дьявольский холод, а меня держали часа полтора, и я, должно быть, простудился, потому что уже к вечеру заметил, что несу вздор — это у меня всегда было первым признаком повышения температуры.

Короче говоря, я заболел воспалением легких и притом каким-то «сливным», от которого в девяноста случаях из ста умирают. Это задержало вторичную операцию, и врачи начали серьезно опасаться, что если я не умру, так во всяком случае останусь хромым.

Но, кажется, я слишком подробно пишу о своих болезнях — скучная материя, в особенности, как полумаешь, что я был ранен на третий месяц войны, не сделав почти ничего.

Почти ничего — в то время, как уже совершилось «чудо под Москвой», как писали иностранные газеты, когда на триста километров к западу от Москвы из всех сугробов торчали окостеневшие, в дурацких эрзац-валенках ноги! Почти ничего — в то время как уже шла полным ходом работа по созданию новейшей морской авиации дальнего действия — без меня, как будто я пятнадцать лет не крестил небо над морем во всех направлениях! Почти ничего — и я даже чувствовал, что с каждым днем от меня уходит то, что можно назвать «чувством войны», и подступает все ближе всякая ерунда госпитальной жизни.

Выше я упомянул, что из полка мне прислали справку, а вслед за ней я получил письмо от Миши Голомба, старшего врача, с которым я когда-то летал на «пробах» в лет-

ной школе Осоавиахима. Я не поверил глазам, когда взглянул на подпись. Но это был Митя, он служил теперь в нашем полку, прибыв через два дня после того, как в газете появился мой некролог.

«Саня, наконец ты удивил меня,— писал он,— причем, заметь, не тогда, когда мы получили твое письмо и убедились в том, что ты жив, но когда мне сказали, что ты сгорел. Дело в том, что это на тебя не похоже. Теперь представь себе, что никому, в том числе и тебе, не приходится возражать против этой ошибки. Люди стали писать на бомбах «За Григорьева», так что и после смерти ты продолжал воевать. Полковник сказал речь, в которой упомянул, что ты представлен к ордену Красного Знамени. Так что поздравляю тебя и желаю счастья и счастья».

Ранней весной я стал понемногу выходить или, вернее, выползать в госпитальный садик. Впервые увидел я город, в котором провел уже почти полгода, и хотя только одна улица-аллея, засаженная липами, открылась передо мной, но по ней можно было, кажется, судить и обо всем М-ове. Потом, когда меня стали выпускать в город,— сперва на костыле, потом с палочкой,— я убедился в том, что не ошибся. Город был просторный, спокойный. Все лучшие улицы стремились взлететь на высокий берег Камы, и этот разбег напомнил мне родной Энск с его взгорьями на берегах Песчинки и Тихой. Прежде мне не случалось жить в М-ове, я только пролетал над ним два-три раза.

Я был в театре,— ленинградский театр оперы и балета был эвакуирован в М-ов,— и странным показалось мне то чувство возвращения времени, которое я испытал, когда раздвинулся занавес и великолепно одетые мужчины и женщины плавно, неторопливо прошлись по сцене, как будто и не было никакой войны.

Конечно, не стоило бы и упоминать в этой книге, что я ходил в театр. Но, точно колесики в часах, так цепляется в жизни одно за другое. На балете «Лебединое озеро» я встретил Аню Ильину, жену моего товарища, с которым мы служили на Дальнем Востоке. Нам с Катей нравились Ильины. Это были ровные, вежливые, веселые люди, любившие театр и спорт, в особенности теннис. Аня так и запомнилась мне с ракеткой в руке, в белом платье. И, может быть, именно потому, что они были такие вежливые, со всеми одинаково ровные и напоминавшие прекрасную пару из какого-нибудь романа, к ним относились недоверчиво и в общем довольно плохо. Мне всегда казалось, что несправедливый холод окружает их, и что они вполне заслужили свое положение и счастье. Говорили, что Ильину везет. И действительно, все у него получалось удивительно во-время и складно. Эти удачи продолжались и во время войны, потому что, начав ее подполковником, он весной 1942 года был уже генерал-майором.

Мы с Аней обрадовались, встретившись на спектакле, и условились встретиться снова, на другой день, у нее дома. Она была здешняя. В начале войны муж отправил ее с дочкой к родителям в М-ов.

...Это был дом, не тронутый войной, впервые после фронта и госпиталя я был в таком доме. Мы сидели в столовой. Без сомнения, те же салфеточки лежали на стеклянной доске буфета, те же безделушки стояли на кустарных резных полочках, развешенных по стенам, и шелковый коврик над тахтой, должно быть, точно также висел до войны. Я смотрел на изящную, приветливо-ровную женщину, которая сидела в этой красивой комнате, и мне было мучительно жаль мою Катю.

— Если бы я мог поехать хоть на два-три дня в Ленинград! Я бы нашел ее, не сомневаюсь, что она в Ленинграде. Но меня не отпустят. А Дмитрий в Москве?

— Да.

И Аня сразу поняла, почему я спросил ее о муже.

— Он поможет вам, непременно! Я сейчас же напишу ему. Что нужно сделать?

— Вызвать меня в Москву,— сказал я,— потому что иначе комиссия направит меня в распоряжение военкомата.

— А когда комиссия?

— В мае.

— Вот и прекрасно. Я успею получить от Мити ответ. Он знает, с кем нужно переговорить?

— С отделом кадров ВВС Наркомата флота.

Аня записала в книжечку: «С отделом кадров»...

— Досадно, что вы не можете прямо из М-ова лететь в Ленинград. Сюда ходит Дуглас. Правда, его давно не было, но говорят, что скоро придет. Как только подсохнут аэродромы. Я бы могла вас устроить.

Я поблагодарил ее и сказал, что это было бы, разумеется, превосходно. Но что есть на свете такая книга «Дисциплинарный устав», чтение которой не располагает к подобным полетам.

Меньше всего мог я предполагать, что пройдет всего несколько дней и я смогу лететь куда угодно, не заглядывая в эту суровую книгу.

Глава тринадцатая

ПРИГОВОР

Медицинская комиссия всегда была для меня чем-то вроде суда, причем на этом суде мне каждый раз приходилось признавать себя виновным в том, что природа не создала меня высоким, широкоплечим человеком, с квадратной челюстью и мускулами, способными выжать четыре пуда. Именно с этим неприятным чувством, совершенно голый, стоял я перед комиссией в М-ове. Я приседал, закрывал глаза, протягивал вперед руки, стараясь, чтобы они не дрожали, дрыгал ногой и великолепно узнавал на большом расстоянии самые мелкие буквы. Потом старая, седая женщина-врач послушала мое сердце и принялась стучать пальцами по спине и груди. Очевидно, ей что-то не понравилось у меня в груди, потому что она приостановилась, нахмурилась и снова прошлась, точно сыграла гамму. Потом сказала: «Дышите».

Вовсе не легкие беспокоили меня, когда я шел на комиссию. Нервничая, я почему-то начинал прихрамывать на раненую ногу — вот это было неприятно, особенно когда я думал о том, как нога будет вести себя в обстановке боевого полета. Легкие у меня всегда были превосходные, хотя в детстве я перенес испанку, потом тяжелый плеврит. Но на старую сердитую майоршу медицинской службы именно мои легкие произвели почему-то невыгодное впечатление. Она стучала и вертела меня и снова стучала и заставляла ложиться, точно решилась непременно доказать, что я болен, болен, болен... Болен, и больше не буду летать.

Прошло уже около полугода с тех пор, как я спрятал очень далеко, в самую глубину души эту страшную мысль — спрятал и завалил чем попало. Но она не умерла и никуда не ушла, а только притаилась где-то рядом с другим беспокойством — о Кате.

И вот теперь, когда я стоял голый перед комиссией, со следами ран на ногах и спине — теперь стало невозможно скрывать эту мысль ни от себя, ни от других. Должно быть, докторша прочитала ее в моих глазах, потому что, уже взяв в руки перо, не решилась, однако, написать заключение, а передала меня председателю комиссии, низенькому седому врачу в роговых очках, и тот тотчас же принялся энергично выстукивать меня по ребрам, по лопаткам, но не пальцами, а маленьким молотком. И молоток стучал то звонко, то глухо, точно спрашивал:

— Неужели ты болен, болен, болен? Болен и больше не будешь летать?

— Не нужно волноваться, капитан,— сказал врач, мельком взглянув мне в лицо и засовывая резиновые трубки в большие волосатые уши.— Подлечитесь, и все будет в порядке.

Он послушал меня и что-то отметил в моей истории болезни. Он повторил с ласковым выражением:

— Все будет в порядке.

Но он дал мне полугодовой отпуск, а я знал, в каких случаях медкомиссия давала подобное заключение строевому командиру в 1942 году.

Кажется, у меня был неважный вид, когда я вернулся в госпиталь, потому что мой сосед-армеец, без ног, но такой полный и румяный, что всегда было странно, когда его на носилках приносили из ванны,— оторвался от книги, взглянул на меня и ничего не спросил. Потом не выдержал и все-таки спросил:

— Ну, как?

И я почему-то сказал ему, что мне дали инвалидность, хотя в заключении вовсе не было этого слова. Принесли обед, я машинально съел его и ушел, хотя мне очень хотелось лечь и сунуть голову под подушку. Да, в заключении не было этого слова, и нечего было повторять, и повторять его, каждый раз точно ныряя с головой в темную, илистую болотную воду!

Может быть, нужно было убеждать их — эту старую ведьму с ее костяшками, сыгравшую на моих ребрах нечто вроде похоронного марша? Этого толстяка, который и промолчал и сказал о том, что я не буду больше летать? Может быть, я должен был потребовать, чтобы меня направили в гарнизонную комиссию?

Я шел по улице-аллее, круто спускавшейся к Каме, и свистел — не очень громко, чтобы не остановить внимания прохожих. На стене лучшего в городе здания авиашколы я в тысячный раз прочел надпись на мраморной доске: «Здесь учился Попов, изобретатель радио, гениальный русский ученый».

Прихрамывая, я поднялся на высокий берег, и мутноватая, еще весенняя, с желтовато-серым отливом Кама открылась передо мной с ее пристанями и пароходами, тянущими огромные баржи, и свистками и голосами людей, далеко разносящимися над широкой, просторной водой...

— Жаль, что вы не можете прямо из М-ова лететь в Ленинград. Я бы могла вас устроить.

Что ж, теперь все в порядке. Садись и лети! И не нужно никаких разрешений. Из кабины ты перешел в помещение для пасса-

жироз. Кресло удобное, откинулся и лежи, отдыхай!

Наверно, я сказал это вслух, потому что стоявшие на берегу «ремесленники» в больших, не по росту, курточках и фуражках засмеялись и немного прошли за мной. И мне вспомнилось, как после Испании мы с Катей поехали в Эпск и как мальчики в Энске ходили за мной и все делали совершенно так же, как я. Я остановился, чтобы купить в ларьке папирос, и они остановились и купили те же папиросы, что я. Мне захотелось купаться. Катя осталась в Соборном саду, а я спустился к Тихой, разделся и бросился в воду. И они разделись немного поодаль и бросились в воду, совершенно так же, как я. Еще бы, летчик, который дрался в Испании и вернулся с орденом Красного Знамени на груди! А теперь?

Пальцы у меня немного дрожали, но я все-таки свернул папиросу, закурил и некоторое время неподвижно стоял на берегу, глядя на всю эту незнакомую, разнообразную жизнь большой реки. Прошел серый пассажирский пароход. Я прочитал название «Лядовский» и подумал: «А вот ты не стал Лядовским». Потом прошел еще один такой же небольшой пароход. Я прочел название «Каманин» и подумал: «И Каманиным, брат, тоже!» Вдалеке у пристани стоял «Мазурук», и я невольно улыбнулся, подумав, что мне придется до поздней ночи укорять себя, если окажется, что в Камском пароходстве все суда названы фамилиями знаменитых летчиков, да еще моих хороших знакомых.

Так или иначе, теперь никто не мешал мне лететь в Ленинград, чтобы найти жену, или убедиться в том, что я потерял ее навсегда.

Три недели я ждал самолета. Привык ли я к своей болезни, или надежда тайком пробралась в сердце и стала шептать — уверять, что все обойдется, но понемногу я очнулся от неожиданного удара и привел в порядок все свои мысли и чувства.

Не о себе я думал теперь — о Кате. О ней — когда слушал по радио «Романс Ни...ы», который она любила. О ней, когда смотрел разыгранный ранеными спектакль,— как редко мы бывали в театре! О ней, когда все спали в огромной палате, и только здесь и там раздавался стон или быстрое, хриплое бормотанье.

Наконец Аня Ильина позвонила в госпиталь и сказала, что самолет пришел. Она познакомила меня с летчиком, огромным, добродушным майором, летавшим в М-ов по поручению штаба Ленфронта, и он охотно согласился взять меня в Ленинград.

Глава четырнадцатая

ИЩУ КАТЮ

Шесть месяцев я провел на земле! Как же передать чувство, с которым я, наконец, оставил ее? Ничего не изменилось, напротив, еще горше стало у меня на душе, когда я подумал, что впервые в жизни лечу пассажиром. Но за годы работы я привык лучше чувствовать себя в воздухе, чем на земле. С наслаждением смотрел я в окно, точно проверяя, не случилось ли чего-нибудь плохого со всем этим просторным хозяйством весенних черных полей, светлых, вьющихся рек, темнозеленого бархата леса. С наслаждением прошел в кабину, всем телом почувствовав ее привычную, рассчитанную тесноту. С наслаждением следил, как пилот станет обходить грозу,— над Череповцом мы встретили ее, великолепную, с тучами, похожими на дворцы, стены которых разламывались от молний. Невольно вспомнились мне впечатления первых полетов, когда небо еще не стало для меня просто трассой.

...На случайной машине, приехавшей в Бернардовку за матрицами «Правды», я добрался до Литейного проспекта. Оттуда нужно было идти пешком или ждать трамвая; единственный трамвай ходил на Петроградскую — тройка. Но ленинградцы, расположившиеся на остановке как дома, сказали, что ждать придется, возможно, около часа. Майор, которому тоже нужно было на Петроградскую, удерживал меня, тем более что у меня был тяжелый заплечный мешок,— я привез для Кати продукты. Но разве мог я ждать, если должен был уже двадцать раз переводить дыхание при одной мысли, что мы с Катей, наконец, в одном городе, что, может быть, она в эту минуту... Не знаю что — ждет меня, больна, умирает.

Не помня себя, пролетел я по аллее вдоль Летнего сада. Все я видел, все понимал: и огороды на Марсовом поле, среди которых стояли замаскированные зенитные батареи; и то, что никогда еще не бывало такой необыкновенной пышной зелени в Ленинграде; и то, что город был так прекрасно убран,— перед отъездом я читал в газетах о том, как триста тысяч ленинградцев весной 1942 года вышли на улицы и убрали свой город. Но все, что я видел, оборачивалось ко мне одной стороной — где Катя, найду ли я Катю? Мне кажется, что нет, не найду — если

почти во всех домах были выбиты стекла и дома стояли молчаливые, как бы с печально опущенными глазами. Не найду — раз на каждой стене были впадины и разрушения от артиллерийских снарядов. Найду — раз даже у памятника Суворову на площади были засеяны морковка и свекла, и молодые ростки стояли так твердо, как будто для них нельзя было и придумать лучших природных условий. Я вышел к Неве, невольно нашел глазами адмиралтейский шпиль и — не знаю, как передать,— но это было Катино — то, что он потускнел, как на старой гравюре. Мы не простились, когда началась война, но другое прощание, перед Испанией, так живо вспомнилось мне, что я почти физически увидел ее в темной, темной передней у Берензтейнов среди старых шуб и пальто. Что нужно сделать, чтобы все стало так, как тогда? Чтобы я снова обнял ее? Чтобы она спросила:

— Саня, это ты? Может быть, это не ты?

Издалека увидел я дом, в котором жили Берензтейны. Дом стоял на месте и, как ни странно, показался мне еще красивее, чем прежде! Как будто и окна были целы, и фасад нарядно отсвечивал, точно свежая краска еще блестела на солнце. Но чем ближе я подходил, тем все больше беспокоила меня эта загадочная, парадная неподвижность. Еще десять, пятнадцать, двадцать шагов — и кто-то сильно взял меня за сердце, потом отпустил, и оно забилось, забилось... Дома не было. Фасад был нарисован на больших фанерных листах.

☆

Весь долгий летний день шумел в моих ушах далекий артиллерийский прибой — то нагонял, то откатывался, как будто таща за собой крупную, гулкую гальку.

Весь день я искал Катю.

Женщина с треугольным зеленым лицом, которую я встретил подле разбитого дома, направила меня к доктору Аванесяну, члену райсовета. Старый армянин, черно-седой, небритый и добродушный, сидел в конторе бывшего кино «Элит» — теперь здесь помещался штаб ПВХО района. Я спросил его, знал ли он Екатерину Ивановну Татаринову-Григорьеву. Он ответил, что «конечно знал и даже в начале войны предлагал ей работать у него медсестрой».

— И что же?

— Она отказалась и уехала на окопы.— сказал доктор.— И больше я ее, к сожалению, не видел.

— Может быть, вы знали и Розалию Наумовну, доктор?

Он посмотрел на меня добрыми, старыми глазами, пожевал и выпятил губу.

— А вы кем приходитесь Розалии Наумовне?

— Никем. Просто знакомый.

— Ага.

Он помолчал.

— Это была отличная, превосходная женщина,— вздохнув, сказал он.— Мы отправили ее в стационар, но было уже поздно и она умерла...

Я вернулся во двор разбитого дома. Фасад рухнул, но сторона, выходившая во двор, сохранилась. Сам не зная зачем, я поднялся по засыпанной щебнем лестнице до первой площадки. Дальше шли какие-то железные прутья и балки, торчавшие в пустоте лестничной клетки, и лишь на высоте третьего этажа вновь начинались ступени.

Когда-то в этом доме жила сестра, которую я любил. Здесь мы отпраздновали ее свадьбу. Каждый выходной день я приходил сюда, учлет в синей спецовке, мечтавший о счастье великих открытий. Здесь мы с Катей всегда останавливались, когда приезжали в Ленинград, и когда бы мы ни приехали — в этом доме нас принимали как самых близких и дорогих друзей. В этом доме Катя прожила больше года, когда я дрался в Испании. В этом доме она жила теперь, во время блокады, страдая от голода и холода, работая и помогая другим, распространяя на других свет своей чистоты и душевной силы. Где же она? Ужас охватил меня, я сжал зубы, чтобы удержать дрожь.

В эту минуту послышался детский голос, и в проломе стены, как раз над моей головой, показался мальчик лет двенадцати, смуглый и широкоскулый.

— Вам кого, товарищ командир?

— Ты здесь живешь?

— Точно.

— Один?

— Зачем один? С матерью.

— А мать сейчас дома?

— Дома.

Он показал мне, как пройти,— в одном месте по узкой доске над провалом, и через несколько минут я беседовал с его матерью, усталой женщиной с расплывающимися, водянистыми глазами — татаркой, как я понял с первого ее слова. Это была дворничиха дома № 79, и она, разумеется, отлично знала и Розалию Наумовну и Катю.

— Когда девятку побила, она открывать пошла,— сказала она о Кате, и мальчик, чисто говоривший по-русски, объяснил, что «девятка» это дом, в котором помещался та-

строномический магазин № 9.— Знакомый отрыла. Рыжий такой. Потом она ейной квартире жила.

— Отрыла рыжего знакомого,— быстро перевел мальчик,— и он потом жил в ейной квартире.

— Вторая старушка помирал, Хаким хоронить пошла.

— Вторая старушка — Розалии Наумовны сестра,— объяснил мальчик.— Я — Хаким. Когда она померла, мы ее хоронить везли. На Смоленское. И рыжий этот там был. Он нас и нанимал. Тоже военный, майор.

Теперь нужно было спросить о Кате. Мне было страшно, но я спросил. Сердито тряся головой, дворничиха сказала, что она сама «три месяца в больнице лежал, мулла звал, ни один мулла в Ленинграде нет, все мулла помер». А когда она вернулась, квартира Розалии Наумовны уже стояла пустая.

— Жакт пала спросить,— сказала она, подумав,— а жакт тоже нет, помер. Может, уехала? Она рыжего отрыла, у него хлеб был. Большой мешок, сам нес, меня не давал. А я ему сказал: «Ты дурак жадный. Мы тебе жизнь спасал. Тебе не хлеб, тебе молиться, Коран читать пада».

Катя уже не жила у Розалии Наумовны, когда в дом попала бомба,— это было все, что я узнал. Я говорил еще с какими-то женщинами, которые плакали, рассказывая о том, как помогала им Катя. Хаким привел своих товарищей, и они пожаловались на рыжего майора, который обещал им по триста грамм за «захоронение», а потом «зажилил» и выдал только по двести.

Бог весть, что это был за рыжий майор? Петя? Но Петя был не майор, да и невозможно было представить, что Петя способен украсть сто грамм у голодных мальчишек. Все равно! Кто бы ни был этот человек, он помог Розалии Наумовне похоронить сестру. Кто знает, может быть, в трудные дни он поддерживал Катю? На похоронах она была вместе с ним и, очевидно, не так уж была слаба, если смогла добраться до Смоленского кладбища с Петроградской? Но с тех пор никто больше не видел ее — не видел ни живой, ни мертвой.

Шел уже шестой час, когда измученный, с головной болью, я отправился в Военно-медицинскую академию. Академия была эвакуирована, но клиники, с первого дня войны ставшие госпиталями, остались. Осталась и стоматологическая, в которой работала Катя. Меня отослали в канцелярию, и старая машинистка, чем-то напомнившая мне тетю Дашу, сказала, что Катя была очень плоха и доктор Трофимова помогла ей эвакуироваться из Ленинграда.

— Куда?

— Вот этого не могу сказать не знаю.

— А сама доктор Трофимова в Ленинграде?

— Как отправила вашу супругу, сама сейчас же на фронт,— отвечала машинистка,— и с тех пор ни от той, ни от другой не было никаких известий.

Глава пятнадцатая

ВСТРЕЧА С ГИДРОГРАФОМ Р.

Теперь я понял, что это было наивно: полгода писать Кате, не получая в ответ ни слова, и все-таки надеяться, что, стоит мне приехать в Ленинград — и, протянув руки, она встретит меня у порога. Как будто не было страшной зимы 41-го года, эшелонов с умирающими мальчиками, специальных больниц для ленинградцев во многих городах Союза. Как будто не было этих лиц со страшно-расплывающимся водянистым взглядом. Как будто не доносился то с запада, то с востока гул артиллерийской стрельбы.

Я думал об этом, сидя в канцелярии стоматологической клиники и слушая рассказ машинистки о том, как молоденький краснофлотец, как две капли воды похожий на ее погибшего сына, вдруг пришел и отдал ей триста грамм, когда у нее уже не было сил подняться с постели.

— А Катерина Ивановна найдется,— сказала она.— Ей сон приснился, что орел летит. Я говорю — муж. Она не поверила. И вот видите, по-моему вышло. И теперь я вам говорю — найдется!

Да, может быть. «Умирала, в то время как я, в сущности говоря, прекрасно жил в М-ове»,— думал я, тупо глядя на старую женщину, которая все уверяла меня, что Катя найдется, вернется. «Обо мне заботились, меня лечили. А у нее не было ста грамм хлеба, чтобы заплатить мальчикам, похоронившим Берту». И с бешенством, с отчаянием, думал я о том, что еще в январе должен был лететь в Ленинград, настаивать, требовать, чтобы меня выписали из госпиталя, и, кто знает, быть может вышел бы здоровее, чем сейчас, и нашел бы, спас мою Катю.

Но поздно было жалеть о том, чего никогда не вернешь. «Я — как все»,— писала мне Катя из Ленинграда. Только теперь понял я, что она хотела сказать этими простыми словами.

Старая женщина, которой, вероятно, пришлось пережить гораздо больше, чем мне, все

утешала меня. Я попросил у нее кипятку и угостил салом и луком, который был еще редкостью в Ленинграде.

С этой минуты как бы холод поселился в моей душе. Ко всему, что я ни делал, о чем ни думал, всегда присоединялось: — А Катя?

...Еще в М-ве я восстановил по памяти почти все телефоны моих ленинградских знакомых. Но, кому ни звонил я из клиники, никто не отвечал, точно эти звонки терялись где-то в таинственной пустоте Ленинграда. Наконец я набрал последний номер — единственный, в котором не был уверен, и долго держал трубку, слушая какие-то далекие шорохи и за ними еще более далекие, нетерпеливые голоса.

— Алло, я вас слушаю,— неожиданно сказал низкий мужской голос.

— Можно попросить...

Я назвал фамилию.

— Это я.

— С вами говорит летчик Григорьев.

Молчание.

— Не может быть! Александр Иваныч?

— Да.

— Вот и не верь в судьбу! Третий день, как я только и думаю, где бы мне вас найти, дорогой Александр Иваныч.

☆

Лет шесть тому назад, когда экспедиция по розыскам капитана Татаринова была решена, и я занимался организацией ее в Ленинграде, профессор В. познакомил меня с одним моряком, ученым гидрографом, преподавателем училища имени Фрунзе.

Мы провели вместе только один вечер, но часто потом я вспоминал этого человека, с необычайной отчетливостью нарисовавшего передо мною картину будущей мировой войны.

Он пришел поздно. Катя уже спала, забравшись в кресло с ногами. Я хотел разбудить ее, он не дал, и мы стали что-то пить и закусывать маслинами,— у Кати всегда были в запасе маслины.

Север глубоко занимал его. Он был уверен, что в будущей войне Север с его неисчерпаемым стратегическим сырьем должен сыграть огромную роль. Он смотрел на Северный морской путь как на военную дорогу и утверждал, что неудачи русско-японской кампании были результатом непонимания этой мысли, высказанной еще Менделеевым. Он требовал, чтобы военные базы были построены вдоль всех маршрутов, по которым будут караваны.

Помнится, тогда меня поразила эта точка врения. Я снова оценил ее 14 июня 1942 года, за несколько дней до полета в Ленинград, когда, сидя на берегу Камы, услышал далекий голос диктора, с торжественным выражением читавшего договор между Англией и Советским союзом. Нетрудно было догадаться, о каких путях шла речь в этом договоре, и встреча с «ночным гостем», как потом называла этого гидрографа Катя, припомнилась мне.

В 1936—1940 годах я не раз встречался с ним, читал его статьи и книгу «Моря Советской Арктики», ставшую знаменитой и переведенную на все европейские языки. С неизменной симпатией я следил за его судьбой, так же как он, кажется, следил за моею. Я знал, что он ушел из училища Фрунзе, командовал гидрографическим судном, работал в гидрографическом управлении наркомата ВМФ. Незадолго до войны он защищал докторскую диссертацию — объявление о ней я прочел в «Вечерней Москве».

Я буду называть его Р.

...Это был редчайший случай — «раз в тысячу лет», как сказал Р.,— кто-то застал его дома. Квартира была запечатана, и он распечатал ее и зашел к себе две минуты назад, и то лишь потому, что надолго уезжает из Ленинграда.

— Куда?

— Далеко. Вот заходите, расскажу. Где вы остановились?

— Пока нигде.

— Очень хорошо. Я жду вас.

Он жил у Литейного моста в новом доме, в просторной квартире, разумеется, запущенной за год войны, но в которой чувствовалось что-то поэтическое, точно это была квартира артиста. Может быть, художественно сшитые куклы, стоявшие на пианино под стеклянными колпаками, внушили мне эту мысль, или множество книг на полу и на полках, или сам хозяин, встретивший меня попросту, в рубахе, под распахнувшимся воротом которой была видна полная, волосатая грудь. Где-то я видел подобный портрет Шевченко. Но Р. был не поэтом, а контр-адмиралом, в чем нетрудно было убедиться, взглянув на его китель, висевший на спинке кресла.

Где и когда бы мы ни встречались, с первого слова он начинал рассказывать о том, что сейчас было для него самым главным, без сомнения, потому, что наш интерес друг к другу всегда основывался на «самом главном» и мало касался личных или служебных дел. Но на этот раз он прежде всего расспросил меня о том, где я был и что делал за год войны.

— Да, не повезло,— сказал он, когда я

рассказал ему о своих неудачах.— Но вы наверстаете. Воевать будем долго, и вы наверстаете... Что же вы, то на Балтике, то на черноморском флоте? А Северу изменили? Ведь я считал, что вы северный человек — и навеки.

Это было слишком сложно рассказывать, как я «изменил» Северу, и я только возразил, что ушел из гражданской авиации, лишь когда потерял надежду вернуться на Север.

Р. замолчал. Не знаю, о чем он думал, щуря черные живые глаза и теребя свой казацкий чуб, поседевший и поредевший. Мы сидели в креслах у окна, разумеется, выбитого, как и во всей квартире. Литейный мост был виден, а за ним суда, странно резко раскрашенные, так, чтобы трудно было разобрать, где кончается дом на набережной и начинается корабль. Пусто было на улицах,— «как в пять часов утра»,— подумалось мне, и я вспомнил, что Катя однажды сказала мне, что это было ошибкой с ее стороны, что она не родилась в Ленинграде. Я задумался и вздрогнул, когда Р. окликнул меня.

— Знаете что, ложитесь-ка спать,— сказал он.— Вы устали. А завтра поговорим.

Не слушая возражений, он принес подушку, снял с дивана валики, заставил меня лечь. И я мгновенно уснул, точно кто-то подошел на цыпочках и, не долго думая, набросил на все, что произошло в этот день, темное, плотное одеяло.

☆

Было еще очень рано,— должно быть часа четыре,— когда я открыл глаза. Но Р. уже не спал,— завешивал старыми газетами книжные полки, и я подумал почему-то с тоской, что сегодня он уезжает. Он подсел ко мне, не дал встать, заговорил: без сомнения, это и было то «самое важное», о чем он сказал бы мне вчера, если бы я не был так измучен.

...В наши дни каждый школьник, хотя бы в общих чертах, представляет себе, что происходило на большой морской дороге из Англии и Америки в Советский союз летом 1942 года. Но именно летом 1942 года то, что рассказывал Р., было новостью даже для меня, хотя я не переставал интересоваться Севером и ловил на страницах печати каждую заметку о действиях ВВС Северного флота.

Он развернул карты, приложенные к одной из его книг, и не сразу нашел ту, на которой мог показать границы театра,— таков был, по его словам, этот огромный театр, на котором действовали наши морские и воздушные силы. Очень кратко, однако гораздо подробнее, чем мне потом приходилось читать даже в специальных статьях, он нарисовал передо мною картину большой войны, происходящей в Баренцовом море. С жадностью слушал я о смелом походе подводной лодки-малютки в бухту Петсамо, то есть в главную морскую базу врага, о Сафоновс, сбившем над морем двадцать пять самолетов, о работе летчиков, атакующих транспорты под прикрытием снежного заряда,— я еще не забыл, что такое снежный заряд. Я слушал его, и впервые в жизни сознание неудачи язвительно кололо меня. Это был мой Север — то, о чем рассказывал Р.

От него я впервые узнал, что такое «конвой». Он указал мне возможные «точки рандеву», то есть тайно условленные пункты, где встречаются английские и американские корабли, и объяснил, как происходит передача их под охрану нашего флага.

— Вот где они идут,— сказал он и показал, разумеется, в общих чертах, путь, о котором в 1942 году не принято было распространяться.— Колонна в 200—300 судов. Вы догадываетесь, не правда ли, в каком месте им приходится особенно трудно? — И не очень точно он показал это место.

— Но оставим в покое западный путь, тем более что здесь (он показал где) сидят чрезвычайно толковые люди. Поговорим о другом, не менее важном... Ворота, которые немцы стремятся захлопнуть,— живо сказал он и закрыл ладонью выход из Баренцова в Карское море,— потому что они прекрасно понимают хотя бы значение энских рудников для авиамоторостроения. Но, конечно, и транзитное значение Северного морского пути ужасно не нравится им, тем более что весной этого года они уже стали надеяться...

Он не договорил, но я понял его. Случайно мне было известно, что весной немцам удалось серьезно повредить порт, имевший для западного пути большое значение.

— Представьте же себе, куда докатилась война,— продолжал Р.,— если не так давно у Новой Земли немецкая подводная лодка обстреляла наши самолеты. Но и этого мало. Сегодня я лечу в Москву на самолете, который прислал за мной Военный совет Северного флота. Летчик, майор Карякин, рассказал мне, что он две недели охотился за немецким рейдером, где, как бы вы думали? В районе...

И он назвал этот очень отдаленный район.

— Короче говоря, война уже идет в таких местах, где прежде кочевали одни гидрографы да белые медведи. Так что пришлось

вспомнить и обо мне,— сказал Р. и засмеялся.— И не только вспомнили, но и...

У него стало доброе, веселое лицо.

— Но и поручили одно интереснейшее и важнейшее дело. Конечно, я ничего не могу рассказать вам о нем, потому что это именно и есть военная тайна. Скажу только, что прежде всего я подумал о вас. Это, конечно, чудо, что вы позвонили, Александр Иваныч,— серьезно и даже торжественно сказал он,— я предлагаю вам лететь со мною на Север.

Глава шестнадцатая

РЕШЕНИЕ

Он уехал, и я остался один в пустой, летней, как будто ничьей квартире. Все три просторные комнаты были к моим услугам, и я мог бродить и думать — думать, сколько угодно. В пятнадцать часов Р. собирался вернуться, и я должен был сказать ему одно короткое слово:

— Да.

Или другое, немного длиннее.

— Нет.

И такая далекая, трудная дорога раскинулась между этими двумя словами, что я шел и шел по ней, отдыхал и снова шел, а все не видать было ни конца, ни края!

Немцы обстреливали район. Первая пристрелочная шрапнель разорвалась уже давно, а дымовое облачко, медленно рассеиваясь, все еще висело над Литейным мостом. Разрывы, прежде далекие, вдруг стали приближаться — справа — налево, грубо шагая между кварталами прямо к этому дому, к этим пустынным комнатам, по которым я бродил между «да и нет», находившимися так бесконечно далеко друг от друга.

...Должно быть, это была детская. Грустно повесив голову, черный одноглазый Мишка сидел на шкафу, роллер валялся в углу, на низеньком круглом столе стояли какие-то коллекция, игры,— и мне представился маленький Р., такой же энергичный, сдержанно-пылкий, со смешным казацким чубом, с круглым лицом. В этой комнате я отдыхал от «да» или «нет». Здесь можно было помечтать даже о доме, который мы с Катей собирались некогда устроить в Ленинграде. А где дом, там и дети.

Все ближе подступали разрывы снарядов. Вот один ударил совсем рядом, двери распахнулись, где-то с веселым звоном посыпались стекла. В наступившей тишине чьи-то гулкие шаги послышались на улице, и, выглянув в окно, я увидел двух мальчиков с ужасными, как мне показалось, лицами, бежавших к дому. Вот они сравнялись, первый хлопнул второго по спине и с хохотом повернул обратно. Они играли в пятнашки.

...Р. вернется в пятнадцать часов, и я скажу ему:

— Да.

Как не бывало полугода томительного безделья — томительного и постыдного для каждого советского человека во время войны! Я поеду на Север. Чем дальше он был от меня в эти годы, тем ближе и привлекательнее становился он для меня. Разве не дрался я, как умел, на Западе и на Юге? Но там, на Севере, нужно мне быть, защищая края, которые я понимал и любил.

И вдруг я останавливался и говорил себе:

— Катя.

Уехать и оставить ее? Уехать далеко, надолго? Не попробовать разыскать Петю, у которого — кто знает? — быть может, просто переменился номер п/п? Не предпринять других поисков — здесь, в Ленинграде и на ленинградском фронте? Куда бы ни была эвакуирована Катя, при любых обстоятельствах она стремилась бы соединиться с Ниной Капитоновной и маленьким Петей. Потерять этот след, слабый, едва заметный, но, возможно, ведущий туда, где она живет, мучаясь, потому что проклятая заметка не могла не дойти до нее?

Решено! Я останусь в Ленинграде еще на несколько дней. Я найду Катю и тогда поеду на север.

Р. вернулся в пятнадцать часов. Я сообщил ему свое решение. Он выслушал меня и сказал, что на моем месте поступил бы так же.

— Но нужно, чтобы в Москву мы приехали вместе. Я оформлю вас в Управлении, а потом Слепушкин отпустит вас на две недели для устройства семейных дел. Шутка сказать, жена! Да еще такая жена! Я же помню Екатерину Ивановну. Она умница, добрая и вообще редкая прелесть.

☆

Не буду рассказывать о том, как на другой день я вернулся на Петроградскую и снова обошел многих жильцов дома № 79; о том, как в Академии художеств я пытался узнать, где Петя, и узнал лишь, что он был ранен и лежал в сортировочном госпитале на Васильевском. Скульптор Косточкин навещал его. Но этот скульптор умер от голода, а Петя (по слухам) вернулся на фронт. О том, как я выяснил, почему не доходили мои письма в детский лагерь худфонда, который

был вновь эвакуирован под Новосибирск; о том, как доктор Ованесян ходил со мною в райсовет и накричал на какого-то равнодушного толстяка, который отказался навести справку о Кате.

Эшелоны в январе шли на Ярославль, где были устроены специальные больницы для ленинградцев. Это был единственный бесспорный факт, который мне удалось установить, и, по мнению всех ленинградцев, с которыми я говорил, Катю нужно было искать в Ярославле.

Два обстоятельства убедили меня в том, что это именно так. Во-первых, лагерь хулонца до второй эвакуации находился в Ярославской области, в деревне Гнилой Яр. Во-вторых, Лукерья Ильинишна,— так звали машинистку стоматологической клиники,— вдруг объявила мне, что она вспомнила: доктор Трофимова отправила Катю именно в Ярославль.

— Господи, боже ты мой,— сказала она с досадой,— да мыслимо ли в таком деле соврать? Я забыла, потому что у меня память стала слаба, и это от сахару, который я совершенно не ем. Но хотя не ем, а вспомнила! И я вам говорю,— найдется она в Ярославле.

Самолет Р. уходил в полночь. Я созвонился и приехал за десять минут до старта.

Глава семнадцатая

ДРУЗЬЯ, КОТОРЫХ НЕ БЫЛО ДОМА

Если проложить на карте Москвы путь, который я прошел в течение немногих часов между самолетом и поездом, можно подумать, что я нарочно сделал решительно все, чтобы не встретиться с теми, кого я давно и страстно хотел увидеть. Я сказал «страстно» — и это было именно так, хотя одних людей я хотел увидеть по одним причинам, а других по совершенно другим. И те и другие были в Москве. Быть может, если снова взглянуть на карту, их путь прошел в этот день рядом с моим. Или пересек его двумя минутами позже. Или прошел навстречу по соседней улице, за узкой линией зданий. Так или иначе, мне не повезло, и, за одним исключением, я не встретил ни тех, ни других.

Прямо с аэродрома я поехал на Садовую, на Воротниковский переулок к Кораблеву,— благо весь мой багаж составлял маленький чемоданчик.

...Покосился старый деревянный флигель, затерянный среди высоких надстроенных домов, похожий на дачу со своими ставнями и верандой. Уже не один Иван Павлыч, как прежде, занимал половину нижнего этажа, и хотя с первого взгляда, непривычно пустой, показалась мне Москва, однако в этом маленьком доме почти из каждого окна торчала голова. Женщины вязали на крыльце, и едва я появился, как по меньшей мере два десятка глаз встретили меня с любопытством, точно это было в Энске, на нашем дворе.

— Вам кого?

— Кораблева.

— А, Ивана Павлыча? По коридору, вторая дверь налево.

— Это мне известно,— поднимаясь на крыльцо, возразил я.— А он дома?

— Постучите, кажется, дома.

В последний раз я видел Ивана Павловича перед войной. Не предупредив старика, мы с Катей вдруг явились к нему с французским вином,— в ту зиму почему-то продавались французские вина. Он долго брился и разговаривал с нами из соседней комнаты, а мы рассматривали старые школьные фото. Наконец Иван Павлыч вышел — в новой паре, в твердом воротничке, с закрученными по молодому усами. И теперь в темном коридоре я видел его именно таким, как в этот прекрасный памятный вечер. Сейчас он выйдет и с первого взгляда узнает меня.

— Ты ли это, Саня?

Но два и три раза постучал я в знакомую, обитую войлоком дверь. Тишина. Ивана Павлыча не было дома.

«Дорогой Иван Павлович,— я писал ему, отойдя в сторону, потому что женщины смотрели на меня, а мне не хотелось, чтобы они заметили, что я волнуюсь.— Не знаю удастся ли мне снова зайти к вам. Сегодня я еду в Ярославль, куда еще в январе месяце была эвакуирована Катя. Возможно, что оттуда поеду и дальше — до тех пор, пока не найду ее. Не могу в этой записке объяснить, что произошло со мною и как мы потеряли друг друга. Если бы оказалось, что вы слышали о ней или Валя (которого, впрочем, надеюсь сегодня увидеть), прошу вас, напишите немедленно по адресу — политуправление Северного флота, контр-адмиралу Р. для меня. Дорогой Иван Павлыч, может быть известие о моей смерти донеслось и до вас, но это пишу вам именно я, ваш Саня».

Десять рук протянулось одновременно, чтобы взять у меня это письмо...

На метро, которое стало, кажется, еще красивее и солиднее, чем прежде, я проехал до Дворца советов. Как будто война уже

давным давно окончилась,— с таким видом сидели на Гоголевском бульваре старики, опираясь на свои стариковские толстые палки. Дети играли — и в эту минуту, занятый своими заботами и волнениями, я впервые почувствовал, что ведь это — Москва, Москва!

Медная дощечка висела на Валиной двери: «Профессор Валентин Николаевич Жуков». Ого! Профессор? Я позвонил, постучал, потом двинул в дверь ногою...

Ничего удивительного не было в том, что летом 1942 года, когда почти все москвичи жили на работе, да еще днем, в служебное время я не застал профессора Жукова дома. Но то что Валька, мой Валька шлялся где-то, в то время как он был мне дьявольски нужен, возмутило меня. Я снова ударил в дверь ногою, и, как живая, она вдруг подалась. Что-то жалобно скрипнуло в ней. Я дернул за ручку, и она отворилась.

Конечно, квартира была пуста, и слабая надежда, что Валька, может быть, спит, пропала в это мгновение. Я прошел в «кухню вообще», которая некогда была одновременно и столовой и детской. Как ни странно, но была прибрана «кухня вообще»! Стол покрыт скатертью, белая, вырезанная узорами бумага висела на полках. Можно было подумать, что женская рука прошлась по этим чисто обметенным стенам, по окнам, на которых стояли свежие ландыши и ночная фиалка. Валька, покупающий цветы,— нужно быть великим художником, чтобы вообразить такую картину.

Я прошел в «собственно кухню». Узкая железная кровать стояла у стены, в ногах было аккуратно сложено женское платье. У Кати было когда-то такое же синее в белую горошинку платье. Что же за женщина жила в «соломенной» Валиной квартире? Кира с детьми уехала в начале войны, я знал об этом еще из первых Катиных писем. «Кто же успел окрутить тебя, милый мой?» И мне вспомнилось Катино письмо, в котором она подсмеивалась над Кирой, приревновавшей своего мужа, погруженного в изучение гибридов чернобурых лисиц, к какой-то «Женьке Колпакчи с разными глазами»! Не потеряла времени Женька Колпакчи — даром, что с разными глазами!

Так или иначе, но я не застал и Вали. «Дорогой мой, милый Валечка,— написал я ему,— по дороге в Ярославль, где надеюсь найти Катю или хоть разузнать о ней, заехал к тебе и, к глубокому сожалению, не нашел тебя дома. Уже минуло полгода, как у меня нет никаких известий о Кате. Она переписывалась с Кирой, когда была в Ленинграде, может быть, Кира или ты что-либо знаете о ней? Я был ранен, лежал в М-ве, писал тебе, но не получил ответа. Многое было пережито, но ни о чем не приходится сожалеть, если бы мы с Катей, не то что встретились, но хотя узнали друг о друге, что живы. Пиши мне на Северный флот, политуправление, контр-адмиралу Р., для меня. Это лишь вероятный адрес, но другого у меня пока нет. Будь здоров, дорогой друг. Дверь открылась сама. Теперь тебе придется ломать ее,— это все-таки лучше, чем оставить квартиру открытой. Может быть, мне удастся перед отъездом еще раз зайти к тебе».

Я положил эту записку на стол в «кухне вообще». Потом пристроил крючок, чтобы он сам упал на петлю, сильно захлопнул дверь, и она превосходно закрылась.

Еще одно важное дело было у меня в этом районе. Недалеко от Вали жил человек, которого я непременно хотел навестить, не особенно заботясь о том, обрадуется ли гостю хозяин.

Давно собирался я навестить его!

В госпитале, бессонными ночами, задыхаясь в бреду, я думал об этом свиданье. Он был мне так нужен, что, кажется, не стоило и умирать, прежде чем я увижу его!

Не раз я рисовал себе эту встречу. То хотелось мне явиться перед ним в легкую минуту его жизни, где-нибудь в театре, когда самая мысль обо мне будет бесконечно далека от него. То где-то в гостинице я запирал дверь на ключ и смотрел на него, улыбаясь. Случалось, что в предрассветном сумраке я видел его на соседней койке: поджав под себя ноги, сидел он и странно-равнодушен был взгляд плоских, полуприкрытых глаз.

Глава восемнадцатая

СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ. КАТИН ПОРТРЕТ

Однажды, проходя со мною по Собачьей Площадке, Катя сказала:

— Здесь живет Романов.

И указала на серовато-зеленый дом, кажется, ничем не отличавшийся от своих соседей по правую и по левую руку. Но и тогда и теперь что-то неопределенно-подлое померещилось мне в этих облупленных стенах.

Под воротами не висел, как до войны, список жильцов, и мне пришлось зайти в домоуправление, чтобы узнать номер квартиры.

И вот что произошло в домоуправлении: паспортистка, сердитая старомодная дама в пенсне, вздрогнула и сделала большие глаза, когда я спросил ее о Романове. В маленькой ко-

щатой комнатке стояли и сидели люди в передниках, очевидно, дворники, и между ними тоже как бы прошло движение.

— А вы бы ему позвонили,— посоветовала паспортистка.— У него как раз вчера телефон включили.

— Да нет, лучше я так, без звонка,— возразил я, улыбаясь.— Это будет сюрприз. Дело в том, что я его старый друг, которого он считает погибшим.

Кажется, ничего особенного не было в этом разговоре, но паспортистка неестественно улыбнулась, а из соседней, тоже дощатой, комнаты вышел очень спокойный молодой, с медленными движениями человек в хорошенькой кепке и внимательно посмотрел на меня.

Нужно было вернуться на улицу, чтобы зайти в подъезд, и у подъезда я немного помедлил. Оружия не было. и, может быть, стоило сказать несколько слов милиционеру, стоявшему на углу. Но я передумал: «Никуда не уйдет».

Ни одной минуты не сомневался я, что он в Москве, вероятно не в армии, а если в армии, все равно живет на своей квартире. Или на даче. По утрам он ходит в пижаме. Как живого, увидел я перед собой Ромашку в пижаме, после ванны с торчащими желтыми космами мокрых волос. Это было видение, от которого липовые круги поплыли перед моими глазами. Нужно было успокоиться, то есть подумать о другом, и я вспомнил о том, что в семнадцать часов Р. будет ждать меня в Гидрографическом управлении.

— Кто там?

— Можно товарища Ромашова?

— Зайдите через час.

— Может быть, вы позволите мне подождать Михаила Васильевича?— сказал я очень вежливо.— Второй раз, к сожалению, не смогу зайти. Боюсь, он будет огорчен, если наша встреча не состоится.

Цепочка звякнула. Но ее не сняли, напротив, надели, чтобы, приоткрыв дверь, посмотреть на меня. Снова звякнула — вот теперь сняли. Но еще какие-то запоры двигались, железо скрежетало, звенели ключи. Старый человек в широких штанах на подтяжках, в расстегнутой нижней рубахе впустил меня в переднюю и, сгорбившись, недоверчиво уставился на меня. Что-то аристократически-надменное и вместе с тем жалкое виднелось в этом сухом, горбоносом лице. Желто-седой хохол торчал над лысым лбом. Длинные складки кожи свисали над кадыком, как сталактиты.

— Фон Вышнимирский?— спросил я с недоумением. Он вздрогнул.— То есть не фон, но все равно, Вышнимирский, Николай Иваныч, не правда ли?

— Что?

— Вы не помните меня, уважаемый Николай Иваныч?— продолжал я весело.— Я же был у вас.

Он засопел.

— У меня было много, тысячи,— хмуро сказал он.— За стол садились до сорока человек.

— Вы работали в Московском Драматическом театре и еще носили такую куртку с блестящими пуговицами. Мой приятель Гриша Фабер играл рыжего доктора, и Иван Павлыч Кораблев познакомил нас в его уборной.

Почему мне стало так весело? Как хозяин, стоял я в квартире Ромашова. Через час он придет. Я немного подышал полуоткрытым ртом. Что я сделаю с ним?

— Не знаю, не знаю... Как фамилия?

— Капитан Григорьев, к вашим услугам. Вы что же, теперь живете здесь? у Ромашова?

Вышнимирский подозрительно посмотрел на меня.

— Я живу там, где прописан,— сказал он,— а не тут. И управдом знает, что я живу там, а не тут.

— Ясно.

Я вынул портсигар, весело хлопнул по крышке и предложил ему папиросу. Он взял. Двери в соседнюю комнату были открыты, и все там было чистое, светлосерое и темносерое, стены и мебель — диван, перед ним круглый стол. И даже чей-то большой портрет над диваном был в гладкой светлосерой раме. «Все в тон»,— тоже очень весело подумалось мне.

— Какой Иван Павлыч? Учитель?— вдруг спросил Вышнимирский.

— Учитель.

— Ну да, Кораблев. Это был отличный человек, превосходный. Валечка учился у него. Нюта нет, она кончила женскую гимназию Бржозовской. А Валечка учился. Как же! Он помогал, помогал...— И на старом усатом лице мелькнуло, бог весть какое, но доброе чувство.

Притворно спохватившись, старик пригласил меня в комнаты — мы еще стояли в передней — и даже спросил, не с дороги ли я.

— Если с дороги,— сказал он,— то в военной столовой по командировке можно за гроши получить вполне приличный обед с хлебом.

Он еще трещал что-то, я не слышал его. Пораженный, остановился я на пороге. Это был Катин портрет,— над диваном в светлосерой раме — великолепный портрет, который

я видел впервые. Она была снята во весь рост, в беличьей шубке, которая так шла к ней и которую она шила перед самой войной. И еще хлопотала, чтобы попасть к какой-то знаменитой портнихе Мане, и еще сердилась на меня за то, что я не понимал, что шапочка должна быть тоже меховая и такая же муфта. Что же это значит, боже мой?

По меньшей мере десять мыслей, толкая друг друга, встали передо мной, и в том числе одна, настолько нелепая, что теперь мне даже стыдно вспомнить о ней. О чем только не подумал я, кроме правды, которая оказалась еще нелепее, чем эта нелепая мысль!

— Признаться, я никак не ожидал встретить вас здесь, Николай Иваныч,— сказал я, когда старик сообщил, что после театра он поступил в психиатрическую, тоже в гардероб, и его уволили, потому что «сумасшедшие незаконно объявили завхозу, что он крадет суп и кушает его по ночам» — Что же, вы работаете у Ромашова? Или просто поддерживаете знакомство?

— Да, поддерживаю. Он предложил мне помочь в делах, и я согласился. Я служил секретарем у митрополита Исидора, и не скрываю этого, а напротив, пишу в анкетах. Это была огромная работа, огромный труд. Одних писем в день мы получали полторы тысячи. Здесь тоже. Но здесь я работаю из любезности. Я получаю рабочую карточку, потому что Михаил Васильевич устроил меня в свое учреждение. И в учреждении известно, что я работаю здесь.

— А разве Михаил Васильевич теперь не в армии? Когда мы расстались, он носил военную форму.

— Да, не в армии. Как особо нужный, не знаю. У него бронь до окончания войны.

— Что же это за письма, которые вы получаете?

— Это дела, очень важные,— сказал Вышимирский,— крайне важные, поскольку мы имеем задания. В настоящее время нам поручено найти одну женщину, одну даму. Но я подозреваю, что это не задание, а личное дело. Любовь, так сказать.

— Что же это за женщина?

— Дочь исторического лица, которое я прекрасно знал,— с гордостью сказал Вышимирский.— Может быть, вы слышали — некто Татаринов? Мы разыскиваем его дочь. И давно бы нашли, давно. Но страшная путаница. Она замужем, и у нее двойная фамилия.

Глава девятнадцатая

ТЫ МЕНЯ НЕ УБЬЕШЬ

Как будто жизнь остановилась с разбега, и, не рассчитав инерции движения, я крепко стукнулся лбом о воображаемую стену,— с таким чувством смотрел я на старого, в общем нормального человека, стоявшего передо мной в светлой, тоже нормальной комнате и сообщившего, что Ромашов разыскивает Катю, то есть делает то же, что я.

Но наш разговор продолжался, как если бы ничего не случилось. От Кати Вышимирский перешел к какому-то члену месткома, который не имел права называть его «бывшим», потому что у него «пятьдесят лет трудового стажа», а потом пустился в воспоминания и рассказал, что когда в 1908 он выходил из театра, капельдинер кричал: «Карета Вышимирского»,— и подкатывала карета. Он ходил в цилиндре и плаще, теперь таких вещей не носят, и «очень жаль, потому что это было красиво».

— Когда он умер? — спросил он вдруг, сильно потянув вниз свои сталактиты.

— Кто?

— Кораблев.

— Почему же умер? Он жив и здоров, Николай Иваныч,— сказал я шутливо, в то время как все дрожало во мне и я думал: «Сейчас все узнаешь, но будь осторожен». — Так вы говорите, это личное дело, да? Насчет дамы?

— Да, личное. Но очень серьезное, очень. Капитан Татаринов — историческое лицо. Михаил Васильевич был в Ленинграде. Он находился в осаде и так голодал, что ел обойный клей. Отрывал старые обои, варил и ел. Потом он уехал в командировку за мясом и когда вернулся,— уже никого. Увезли.

— Куда?

— Вот это и есть вопрос,— торжественно сказал Вышимирский.— Вы знаете, что происходило с этой эвакуацией? Ни-ни, ищи! И главное, если бы ее увезли в эшелоне. Тогда только выяснить — чей. Например, хладкомбината. Куда он уехал? В Сибирь? Значит, она в Сибири. Но ее отправили самолетом.

— Как самолетом?

— Да, именно. Очевидно, как привилегированную. И вот — пропала. Ищи. Только известно, что самолет пролетел через Хвойную, то есть именно через ту станцию, на которой Михаил Васильевич брал мясо.

Должно быть, я инстинктивно чувствовал, когда нужно помолчать, а когда произнести два или три слова. Все было в порядке. Какой-то моряк, должно быть, недавно из гос-

питаля, худой и черный, зашел к приятелю, с которым расстался на фронте, и вот расспрашивает, что он поделывает и как живет. «Сейчас все узнаешь, но будь осторожен».

— Ну и как же? Нашли?

— Нет еще. Но найдем,— сказал Вышимирский,— по моему проекту. Я написал в Кугуруслан, в центральное бюро справок, но это ерунда, потому что нам прислали десять Татаринковых и сто Григорьевых, а мы не знаем, на какую фамилию напирать в качестве первой. Тогда я лично обратился во все губернские города к председателям исполкомов. Это был большой труд, большое задание. Но капитан Татаринов был мой друг, и для его дочери я три месяца писал стандартный запрос — прошу вашего распоряжения, эвакопункт, историческое лицо, ждем ответа. И получили.

Резкий звонок раздался. Вышимирский сказал:

— Это он.

И у него стало испуганное лицо, острый седой хохол затрясся на голове, усы повисли. Он вышел в переднюю, а я, помедлив, встал у стены, подле двери, чтобы Романов, войдя, не сразу заметил меня.

☆

Он мог выскочить на площадку, потому что Вышимирский в передней сказал ему:

— Вас ждут.

Он быстро спросил:

— Кто?

И старик ответил:

— Какой-то Григорьев.

Но он не выскочил, хотя вполне мог успеть — я не торопился. Он стоял в темном углу между платяным шкафом и стеной и вскрикнул, увидев меня, а потом по-детски поднял и прижал к лицу кулаки. В наружной двери торчал ключ, я повернул его, вынул и положил в карман. Вышимирский стоял где-то между нами, я наткнулся на него и переставил, как куклу. Потом зачем-то толкнул, и он механически упал в кресло.

— Ну, пойдем, поговорим,— сказал я Романову.

Он молчал. В руках у него была кепка, он сунул ее в рот и прикусил, зажал зубами. Я снова сказал:

— Ну!

И он беспомощно тряхнул головой.

— Не пойдешь?

Он крикнул:

— Нет!

Но это была последняя минута отчаяния, охватившего его, когда он увидел меня. Я рванул его за руку, он выпрямился, и когда мы вошли в комнату, только один глаз немного косил, а лицо стало уже совершенно другим, ровным, с неподвижным выражением.

— Живя, как видишь,— сказал я негромко.

— Да, вижу.

Теперь я мог рассмотреть его. Он был в легком сером костюме, на лацкане желтая ленточка — знак тяжелого ранения, в то время как он был контужен очень легко, под ленточкой пуговица, светящаяся в темноте. Он пополнел, и если бы не торчащие красные уши, которые, кажется, не хуже этой пуговицы могли светить в темноте, никогда еще он не выглядел таким представительным господином.

— Пистолет.

Я думал, что он начнет врать, что сдал пистолет, когда демобилизовался и так далее. Но пистолет был именной, я получил его от командира полка за бомбежку моста через Нарову. Сдавая пистолет, Романов выдал бы себя. Вот почему он молча выдвинул ящик письменного стола и достал пистолет. Впрочем, пистолет был не заряжен.

— Документы.

Он молчал.

— Ну!

— Размокли, пропали,— поспешно сказал он.— В Ленинграде бомбоубежище затопило водой. Я был без сознания. Только фото Ч. сохранилось, я передал его Кате. Я спас ее.

— В самом деле?

— Да, я спас ее. Потому я не боюсь. Все равно ты меня не убьешь.

— Посмотрим. Рассказывай все, сволочь,— сказал я, взяв его за ворот и сразу отпустив, потому что у него мягко подалось горло.

— Я отдал ей все, когда она умирала. Ах, ты мне не веришь,— с отчаяньем закричал он, как-то подлезая под меня сбоку, чтобы заглянуть в глаза.— Но ты поверишь мне, потому что я расскажу тебе все. Ты ничего не знаешь. Я не люблю тебя.

— Неужели?

— Но за что мне любить тебя? Ты отнял у меня все, что было хорошего в жизни. Я могу многое, очень многое,— сказал он надменно.— Мне всегда везло, потому что кругом дураки. Я бы сделал карьеру. Но я плевал на карьеру! О ней я думал в жизни, только о ней!

«Плевал на карьеру» — это было сказано слишком сильно. Насколько мне было известно, Романов не только не плевал, а напротив, стремился сделать карьеру, разбогатеть и т. д. И это вполне удалось ему, в особенности, если вспомнить, что он всегда, еще в школе, был ужасным тупицей.

— Так слушай же,— сказал Романов, по-

бледнев еще более, хотя это было, кажется, уже невозможно.— Экспедиция по розыскам капитана Татаринова — я провалил ее! Сперва я помогал Кате, потому что был уверен, что ты поедешь один. Но она решила ехать с тобой, и тогда я провалил экспедицию. Я написал заявление, очень рискованное, я бы сам полетел вверх тормашками, если бы мне не удалось его подтвердить. Но мне удалось.

Стопочка бумаги лежала в сером кожаном бюваре с золотыми буквами «М. Р.» Я потянул один лист, и Ромашов замер, вытаращив глаза и глядя куда-то поверх моей головы. Казалось, он стремился заглянуть вперед, в свое будущее, чтобы узнать, угадать, чем грозит ему это простое движение, которым я потянул из бювара лист бумаги и положил его перед собой.

— Да, запиши,— сказал он,— этот человек, который остановил экспедицию, был впоследствии сослан и умер. Но все равно, запиши, если для тебя все это еще имеет значение.

— Ни малейшего,— ответил я хладнокровно.

— Я написал, что ты маньяк со своей идеей найти капитана Татаринова, который где-то пропал двадцать лет назад, что ты всегда был маньяк, я знаю тебя со школы. Но что за всем этим стоит другое, совершенно другое. Ты женат на дочери капитана Татаринова и этот шум вокруг его имени необходим тебе для карьеры. Я писал не один.

— Еще бы!

— Ты помнишь статью «В защиту ученого»? Николай Антоныч напечатал ее, мы сослались на нее в заявлении.

— То есть в доносе?

Я уже записывал, и как можно быстрее.

— Да, в доносе. И мы подтвердили, подтвердили все! Одну бумажку я подсунул Нине Капитоновне, она подписала, и как трудно было устроить, чтобы ее не вызывали потом, боже мой, как трудно! Ты даже не знаешь, как все это повредило тебе! И в ГВФ, и потом, когда ты был уже в армии, наверно, наверно!

Как передать чувство, с которым выслушал я это признание? Я не думал о том, з а ч е м говорит он правду,— очень скоро стал ясен этот несложный расчет. Но как бы обратным светом озарилось все, о чем волей-неволей мечталось мне, где бы я ни был и что бы ни случалось со мною.

Глава двадцатая

ТЕНЬ

— Это началось давно, еще в школе,— продолжал Ромашов,— я должен был просиживать ночи, чтобы ответить урок так же свободно, как ты. Мне хотелось не думать о деньгах, потому что я видел, что деньги нисколько не занимают тебя. Я мечтал стать таким, как ты, стать тобою и мучился, потому что всегда и во всем ты был выше и сильнее, чем я. Да, во всем,— сказал он надменно,— кроме любви, которая не знаю чем была для тебя, а для меня единственным счастьем. Быть может, это смешно, что с тобою я говорю о своей любви. Но кончился наш спор, я проиграл, и что́ теперь для меня это унижение в сравнении с тем, что ты жив и здоров и что судьба снова обманула меня!

Трясущимися пальцами он вынул из стеклянной коробочки, стоявшей на столе, папиросу и стал искать огонь. Я чиркнул зажигалкой. Он прикурил, затянулся и бросил.

— Случалось, что я встречал тебя на улицах,— прячась в подъездах, я шел за тобою, как тень. Я сидел в театре за твоею спиной, и кажется, боже мой, чем же отличался я от тебя? Но я знал, что вижу другое на сцене, потому что на все смотрел другими глазами, чем ты. Да, не только Катя была нашим спором. Все, что я чувствовал, всегда и везде боролось с тем, что чувствовал ты. Вот почему я знаю все о тебе: ты работал в сельскохозяйственной авиации на Волге, потом на Дальнем Востоке. В конце 1936 года тебя вычеркнули из списка летчиков ГВС, представленных к награде. Ты снова стал проситься на север,— тебе отказали. Тогда ты поехал в Испанию — господи, это было так, как будто все, над чем я трудился и мучился долгие годы, неожиданно совершилось само. Но ты вернулся,— с отвращением закричал Ромашов.— и с тех пор все пошло хорошо у тебя. Ты поехал с Катей в Энск,— видишь, я знаю все и даже то, что ты забыл. Ты мог забыть, потому что был счастлив, а я нет, потому что несчастен.

Большие черные глаза, очень хорошие, которые я заметил еще, когда говорил с Выпимирским, лежали на столе. Ромашов рванул верхнюю, и фото посыпались из нее — все Катя и Катя. На пристани в Севастополе, щурящаяся от солнца, в длинном платье, которых давно не носят. В Ленинграде, перед ателье на Невском, 12, с очень озабоченным, серьезным лицом. Все издалека, в профиль.

— Я снимал ее лейкой, тайно, тысячу раз,— мрачно сказал Ромашов.

Он судорожно вздохнул и закрыл глаза. Потом открыл, и что-то очень трезвое, острое, бесконечно далекое от этих страстных признаний мелькнуло в его быстром взгляде. Я молча слушал его.

— Это была болезнь, и, наконец, я привык к ней, как привыкают к болезни. Уже

глухо билось все это во мне, уже думалось — проживу как-нибудь без нее. Я женился и больше года прожил с женой. Пить перестал — я очень пил, ты не знаешь! И вот началась война.

Телефонный звонок послышался в передней, Вышимирский сказал:

— Да, пришел. Откуда говорят?

Но почему-то не позвал Романова.

— Я сам пошел, у меня была броня, но я отказался. Убьют — и прекрасно! Но втайне я надеялся — ты погибнешь, ты! Под Вишней я лежал в сарае, когда один летчик вошел и остановился в дверях, читая газету. «Вот это ребята,— сказал он,—жаль, что сгорели». — «Кто?» — «Капитан Григорьев с экипажем». Я прочел заметку тысячу раз, я выучил ее наизусть. Через несколько дней я встретил тебя в эшелоне.

Это было очень странно — то, что он как бы искал у меня же сочувствия в том, что, вопреки его надеждам, я оказался жив. Но он был так увлечен, что не замечал нелепости своего положения.

— Ты знаешь, что было потом. Бред, о котором мне совестно вспомнить! Еще в поезде меня поразило, что ты как бы не думал о Кате. Я видел, что эта грязь и бестолочь терзают тебя, но все это было твоим, ты отдал бы жизнь, чтобы не было этого отступления. А для меня это значило лишь, что ты снова оказался выше и сильнее меня.

Он замолчал. Как будто и не было никогда на свете осиновой рощи, кучи мокрых листьев и поленницы, которая помешала мне размахнуться, как будто я не лежал, опершись руками о землю и стараясь не крикнуть ему: «Вернись, Романов!» — так он сидел передо мною, представительный господин в легком сером костюме. У меня даже руки зачесались — как захотелось ударить его пистолетом.

— Да, это глубокая мысль,— сказал я,— кстати, подпиши, пожалуйста, эту бумагу.

Пока он каялся, я писал «показание», то есть краткую историю провала поисковой партии. Это было мукой для меня, я не умею писать канцелярских бумаг. Но «показание М. В. Романова», кажется, удалось, может быть потому, что я так и писал: «подло обманув руководство Главсевморпути» и так далее, всеми словами.

Романов быстро прочитал бумагу.

— Хорошо,— пробормотал он,— но прежде я должен объяснить тебе...

— Ты сперва подпиши, а потом объяснишь.

— Но ты не знаешь...

— Подписывай, подлец,— сказал я таким голосом, что он отодвинулся с ужасом и как-то медленно, словно нехотя, застучал зубами.

— Пожалуйста.

Он подписал и злобно бросил перо.

— Ты должен благодарить меня, а ты хочешь сыграть на моей откровенности. Ладно!

— Да, хочу сыграть.

Он посмотрел на меня и, должно быть, вот когда от всей души пожалел, что не прикончил меня в осиновой роще!

— Я вернулся в Москву,— продолжал он,— и сразу же стал хлопотать, чтобы меня перевели в Ленинград. Я ехал через Ладожское, немцы топили суда, но я добрался — и во-время. Слава богу, слава богу,— добавил он торопливо,— еще день, много два, и мне досталось бы лишь похоронить ее.

Возможно, что это была правда. Еще когда Вышимирский сказал, что Романов был в Ленинграде, я вспомнил рыжего майора, о котором рассказывали дворничиха и дети. «Она рыжего отрыла, у него хлеб был. Большой мешок, сам нес, мне не давал». Но другое волновало меня. Романов мог уверить Катю, что я погиб — разумеется, в бою, а не в осиновой роще.

— И вот Ленинград. Ты не представляешь, что это было. Я получал триста грамм и половину приносил Кате. В конце декабря мне удалось достать немного глюкозы, я искусал себе пальцы, пока нес ее Кате. Я свалился возле ее постели, она сказала: «Миша!» Но у меня не было силы подняться. Я спас ее,— мрачно повторил он, как будто страшная мысль, что я могу не поверить, снова поразила его,— и если сам не погиб, то лишь потому, что твердо знал, что нужен ей и тебе.

— И мне?

— Да, и тебе. Сковородников написал ей, что ты убит, она была полумертвая от горя, когда я приехал. И ты бы видел, что с нею сталось, когда я сказал, что видел тебя. Я понял в эту минуту, что жалок,— полным голосом сказал Романов так громко, что в передней послышался даже какой-то стук, точно Вышимирский свалился со стула.— Жалок перед этой любовью. И горько, мучительно раскаялся я в эту минуту, что хотел убить тебя. Это был ложный шаг. Твоя смерть не принесла бы мне счастья.

— Все?

— Да, все. В январе меня командировали в Хвойную, я отлучился на две недели, привез мясо, но квартира была уже пуста. Варя

Трофимова, наверно ты знаешь ее, отправила Катю самолетом.

— Куда?

— В Вологду, я выяснил точно. А потом в Ярославль.

— Кого ты запросил в Ярославле?

— Эвакопункт, у меня знакомый начальник.

— И получил ответ?

— Да. Но там только написано, что она прошла через эвакопункт и отправлена в больницу для ленинградцев.

— Покажи-ка.

Он пошел в столе и подал письмо. «Станция Вспольe,— прочитал я,— в ответ на ваш запрос...»

— А почему Вспольe?

— Там эвакопункт, это в двух километрах от Ярославля.

— Теперь все?

— Все.

— Так слушай же меня,— стараясь не волноваться, сказал я Ромашову,— я не могу прощать или не прощать тебя, что бы ты ни сделал для Кати. Это уже не наш личный спор, после того, что ты сделал со мной. Не со мною спорил ты, когда хотел добить меня, тяжело раненного, обокрал и бросил в лесу одного. Это — воинское преступление. Ты его совершил, и тебя прежде всего будут судить как подлеца, который нарушил присягу.

Я взглянул ему прямо в глаза — и поразился. Он не слушал меня. Кто-то поднимался по лестнице, двое или трое, стук шагов гулко отдавался в лестничной клетке. Ромашов беспокойно оглянулся, привстал. Постучали, потом позвонили.

— Открыть? — спросил за стеной Вышимирский.

— Нет! — крикнул Ромашов.— Спросите, кто? — как бы опомнясь, добавил он негромко и прошелся по комнате легким, почти танцующим шагом.

— Кто там?

— Откройте, из домоуправления.

Ромашов вздохнул сквозь сжатые зубы.

— Скажите, что меня нет дома.

— Я не знал. Тут звонили, и я сообщил, что вы дома.

— Конечно, дома,— сказал я громко.

Ромашов бросился на меня, схватил за руки. Я ударил его ногой. Он завизжал, потом пошел за мною в переднюю и встал, как прежде, между стеною и шкафом.

— Одну минуту,— сказал я,— сейчас открою.

Вошли двое — пожилой мужчина, очевидно, управдом, судя по угрюмому, хозяйскому выражению лица, и тот молодой с медленными движениями, в хорошенькой кепке, которого я видел в домоуправлении. Сперва молодой посмотрел на меня, потом, не торопясь, на Ромашова.

— Гражданин Ромашов?

— Да.

Вышимирский лязгнул зубами так громко, что все обернулись.

— Оружие?

— Не имеется,— отвечал Ромашов почти хладнокровно. Только какая-то жилка билась на его неподвижном лице.

— Ну, что же, соберите вещи. Немного, смену белья. Управдом, пройдите с арестованным. Товарищ капитан, прошу вас предъявить документы...

— Николай Иванович, это чушь, ерунда,— громко сказал Ромашов откуда-то из второй комнаты, где он собирал в заплечный мешок свои вещи,— я вернусь через несколько дней. Все та же глупая история с требухой. Помните, я рассказывал вам — требуха из Хвойной.

Вышимирский снова лязгнул. По всему было видно, что он никогда не слыхал ни о какой требухе.

— Саня, я надеюсь, что ты найдешь ее в Ярославле,— еще громче сказал Ромашов,— передай ей...

Я видел из передней, как он уронил мешок и немного постоял, закрыв глаза и задыхаясь от слез.

— Ладно, ничего,— пробормотал он.

— Виноват, не найдется ли у вас стакана воды?— сказал Вышимирскому человек в хорошенькой кепке.

Вышимирский подал. Теперь все стояли в передней — Ромашов с мешком за спиной, управдом, который так и не сказал ни слова, растерянный Вышимирский с пустым стаканом в руке. Минуту все молчали. Потом агент толкнул дверь.

— До свиданья, простите за беспокойство.

И вежливо пригласил Ромашова пройти.

☆

Вероятно, если бы у меня было время, я бы постарался найти глубокий смысл в том, что судьба, явившись на квартиру Ромашова в лице представителя московской милиции, так решительно помешала закончить наш разговор. Но поезд в Ярославль отходил в 20.20, а мне еще нужно было:

а) явиться к Слепушкину, и не только явиться, но еще оформиться, что могло занять часа полтора;

б) зайти в наградной отдел — еще в М-ове я получил известие, что мой второй орден

Красного Знамени утвержден, и я могу получить в Наркомате документ;

в) достать что-нибудь на дорогу: почти все, что я привез из М-ова, я оставил одному балтийскому летчику-однополчанину в Ленинграде;

г) достать билет, что, впрочем, мало беспокоило меня, потому что я все равно уехал бы и без билета.

Кроме того, мне еще нужно было написать о Романове военному прокурору.

Все это казалось мне совершенно необходимым, то есть моя жизнь в оставшиеся до поезда 4 или 5 часов должна была состоять именно из этих забот. А на самом деле мне нужно было просто вернуться к Вале Жукову, от которого я был в пяти минутах ходьбы, и тогда — кто знает, у меня, может быть, нашлось бы время даже и для того, чтобы подумать над той смесью правды и лжи, которой пытался оправдаться передо мною Романов?

Я даже постоял на Арбатской площади: «Не заглянуть ли хоть на две минуты к Вале?» Но вместо Вали я зашел в парикмахерскую — нужно было побриться и сменить воротничок, прежде чем являться в Гидрографическое управление, где один контр-адмирал намеревался представить меня другому.

Ровно в 17 часов я пришел к Слепушкину, а в 18 был уже зачислен в кадры ГУ с откомандированием на Крайний Север, в распоряжение Р. Два или три года тому назад за этими скупыми канцелярскими словами открылась бы передо мною далекая дикая линия сопок, освещенная робким солнцем первого полярного дня. А теперь, полный забот и волнений, я машинально сунул удостоверение в карман и, думая о том, что напрасно не попросил Р. снестись с Ярославлем по военному телеграфу, вышел из Управления.

Не буду рассказывать о том, как я потерял полтора часа в наградном отделе и т. д. Но об этой последней в Москве памятной встрече я должен рассказать, как бы это ни было трудно.

Очень усталый, с заплечным мешком в одной руке, с чемоданом в другой, на станции Охотный ряд я спустился в метро. Служебный день кончился, и хотя летом 1942 года в метро было еще просторно, перед эскалатором стояла толпа. Движущаяся лента людей поднималась навстречу, я всматривался в лица москвичей, вдруг подумав, что за весь этот хлопотливый, утомительный день, так и не увидел Москвы. Издалека приметил я грузного человека в толстой кепке, в пальто с широкими квадратными плечами, который не поднимался, а плыл, вырастал, снисходительно дожидаясь, когда доставит его наверх эта шумная машина.

Это был Николай Антонович.

Узнал ли он меня? Едва ли. Но если и узнал — что было ему до какого-то маленького капитана в потертом кителе, с некрасивым мешком, из которого торчала горбушка хлеба?

Равнодушно скользнул он по моему лицу сонными и властными глазами.

(Продолжение следует.)

Баллада о Лааре

Запомните имя Лаара,
Неведомое пока.
Погиб он в атаке ярой
Пятнадцатого полка.

1

— Что знал ты о жизни, товарищ Лаар?
— Берег я знал морской.
Берег морской и крики гагар,
Звучавшие тоской...
Об этом я в детстве в книжках читал
(Я не был в стране отцов),
Но каждый мой нерв гудел, как металл,
Заслыша Эстонии зов.

Товарищи! Малый и старый,
Родину боготворя.
Запомните имя Лаара,
Эстонского богатыря!

2

— Что в жизни любил ты, товарищ Лаар?
— Бриг любил паруса.
Бриг я любил. И солнца шар.
Детей и птиц голоса.
Но больше всего и глубже всего
Мой трудовой народ —
Корнеобразные пальцы его,
Упрямый, сжатый рот.

Запомните имя Лаара!
Ведь каждый из нас влюблен
В природу и все ее чары
Да в гений труда, как и он.

3

— Чего ты хотел от жизни, Лаар?
— Немногого я хотел:
Только того, чтобы мал и стар
Не проклятли свой удел.
Чтобы не знали нужды и зла
Все расы и все края,
А с ними вместе, чтоб цвела
Эстония моя.

Запомните имя Лаара!
Он прожил не как-нибудь,
Желал он, как лучшего дара,
Стране своей — вольный путь.

4

— Что сотворил ты в жизни, Лаар?
— Почти ничего, мой друг.
Я видел дот. Над дотом пар.
И рану почувствовал вдруг.
И кровь моя выстрелом огневым
Плеснула из раны вперед.
Я сжал свою боль и телом своим
Закрыл
немецкий
дот.

Запомните имя Лаара,
Неведомое пока:
Погиб он в атаке ярой
Пятнадцатого полка.

5

И полк не забыл о тебе, Лаар,
Ни в трауре, ни в пирах.
И, как гренадеры, рядцы чинар
Станут стеречь твой прах.
Под знаменем имя твое в строю
Правофланговым стоит.
И навсегда для бойцов в бою
Будет звенеть, как щит.

Запомните ж имя Лаара!
Народ его вспомнит не раз
Врагу кровавою карой,
Слезою железной из глаз.

Письма А. П. Чехова

Публикация П. С. Попова и И. В. Федорова

А. И. КУПРИНУ

1

22 янв[аря] 1902 г. [Ялта]

Дорогой Александр Иванович, спим извещаю Вас, что Вашу повесть «В цирке»[1] читал Л. Н. Толстой и что она ему о ч е н ь понравилась. Будьте добры, пошлите ему Вашу книжку по адресу: Кореиз Таврич. губ. и в заглавии подчеркните рассказы, которые Вы находите лучшими, чтобы он, читая, начал с них. Или книжку пришлите мне, а уж я передам ему.

Рассказ для «Журнала д[ля] в[сех]»[2] пришлю, дайте только «очухаться» от болезни.

Ну-с, будьте здоровы, желаю Вам всего хорошего. Виктору Сергеевичу[3] привет и низкий поклон.

Ваш *А. Чехов*

Куприн, Александр Иванович (1870—1938), известный русский писатель. Куприн — автор воспоминаний о Чехове («Памяти Чехова» в сборнике «О Чехове». М. 1910).

[1] Рассказ «В цирке» напечатан в «Мире божьем», 1902, № 1.

[2] В «Журнале для всех» Чехов в 1902 г. опубликовал рассказ «Архиерей» (апрельский номер).

[3] Издатель «Журнала для всех» В. С. Миролюбов (1860—1939).

А. И Куприн отвечал Чехову в феврале 1902 г.: «Большое спасибо Вам, глубокоуважаемый Антон Павлович, за Ваше милое письмо. Вы, конечно, знаете, как мне приятно было услышать через Вас отзыв Л. Н. Толстого о моем произведении. Но при всем желании, я все-таки не решаюсь послать Л. Н свою книжку: уж очень много в ней балласту, который может произвести удручающее впечатление, да и по своей внешности, с этой нелепой женщиной под письмами на обложке, она имеет слишком уж легкомысленный вид...»

2

1 окт. 1902 [Москва.]

Дорогой Александр Иванович, «На покое»[1] получил и прочел, большое Вам спасибо. Повесть хорошая, прочел я ее в один раз, как и «В цирке», и получил истинное удовольствие. Вы хотите, чтобы я говорил только о недостатках, и этим ставите меня в затруднительное положение. В этой повести недостатков нет и, если можно не соглашаться, то лишь с особенностями ее некоторыми. Например, героев своих актеров Вы трактуете по старинке, как трактовались они уже лет сто, всеми, писавшими о них; ничего нового. Во вторых, в первой главе Вы заняты описанием наружностей — опять таки по старинке, описанием, без которого можно обойтись. Пять определенно изображенных наружностей утомляют внимание и, в конце концов, теряют свою ценность. Братья актеры похожи друг на друга, как ксендзы, и остаются похожими, как бы старательно Вы ни изображали их. В третьих, грубоватый тон, излишества в изображении пьяных...

Вот и все, что я могу сказать Вам в ответ на Ваш вопрос о недостатках, больше же ничего придумать не могу.

Скажите Вашей жене, чтобы не беспокоилась, все обойдется благополучно. Роды будут продолжаться часов 20, а потом наступит блаженнейшее состояние, когда она будет улыбаться, а Вам будет хотеться плакать от умиления. 20 часов — это обыкновенный maximum, для первых родов.

Ну-с, будьте здоровы. Крепко жму руку. У меня так много посетителей, что голова ходит кругом, трудно писать. Художественный театр в самом деле хорош[2]; роскоши особенно нет, но удобно.

Ваш *А. Чехов*

[1] Куприн писал Чехову в октябре 1902 г.: «Посылаю Вам, многоуважаемый Антон Павлович, вместе с этим письмом корректурный оттиск моего рассказа «На покое», который появится в «Русском богатстве» в ноябрьской книжке. Если у Вас хватит досуга и охоты пробежать его, то не откажите в большой милости написать в двух словах: какое он на Вас произведет впечатление, главное — в отрицательном смысле». В письме Куприна от 6 декабря, посланном в ответ на критические замечания Чехова, читаем: «То, что Вы писали мне о рассказе «На покое» — очень верно, хотя и прискорбно для меня. Кое-что, сооб-

разно с Вашим взглядом, я исправил, только этого очень мало, и впечатление остается то же».

[2] Куприн писал Чехову в октябрьском письме: «У нас в Петербурге очень много говорят о новом помещении «Худжественного театра» (в Газетном переулке, теперешнее здание); уверяют, что такого театра нет чуть ли не во всей Европе. Редактор нашего журнала Ф. Д. Батюшков собирается даже в Москву со специальной целью посмотреть его».

Комментарий *П. С. Попова*

К. М. ФОФАНОВУ

14 ноября [1891 г.]

Многоуважаемый Константин Михайлович!

Посылаю Вам письмо проф. Анучина [1], ведающего изданием «Сборника» («Русские ведомости») в пользу голодающих. Узнав, что я знаком с Вами, он убедительно просил меня написать Вам, что Вашего стихотворения ожидают с нетерпением, и что Вы сильно огорчите издателей и участников «Сборника», если откажете. Я исполняю эту просьбу тем более охотно, что «Сборник» обещает быть в высшей степени симпатичным [2]. К печатанию «Сборника» уже приступлено и потому будьте добры поспешить присылкой стихотворения, или написать, когда Редакция «Сборника» может рассчитывать получить от Вас стихи. Времени осталось немного [3].

Ваш искренний почитатель *А. Чехов*

Фофанов, Константин Михайлович (1862—1911) — поэт.

А. П. Чехов, как видно из его письма к Д. В. Григоровичу (12 января 1888 г.), ценил творчество Фофанова. «Из поэтов начинает выделяться Фофанов. Он действительно талантлив, остальные же, как художники, ничего не стоют. Прозаики еще туда-сюда, поэты же совсем швах. Народ необразованный, без знаний, без мировоззрения. Прасол Кольцов, не умевший писать грамотно, был гораздо цельнее, умнее и образованнее всех современных молодых поэтов, взятых вместе».

Фофанов, в свою очередь, отвечал Чехову взаимностью, о чем говорит дарственный автограф на книге «Стихотворения», посланной Чехову: «Глубокоуважаемому Антону Павловичу Чехову от искреннего почитателя его чудного таланта. Автор К. Фофанов. 1889 г. 1 февраля».

[1] Анучин, Дмитрий Николаевич (1843—1923) — известный русский ученый, археолог и этнограф, один из редакторов газеты «Русские ведомости». Письмо Анучина содержало в себе просьбу мобилизовать лучшие литературные силы для «Сборника», в том числе и Фофанова.

[2–3] Сборник под заглавием «Помощь голодающим» был издан в 1892 году по поручению и на средства газеты «Русские ведомости», под редакцией Анучина; материал для Сборника принимал Анучин. Сборник вышел из печати в начале 1892 года, дав 18 тысяч дохода. Чехов дал в этот сборник свой рассказ «Беглые с Сахалина»; Фофанов прислал стихотворение.

Комментарий *И. Федорова*

А. М. ФЕДОРОВУ

1

3 ноября 1901.
Ялта.

Дорогой Александр Митрофанович, я прочитал Вашу пьесу [1] и — вот Вам мое мнение; причем считаю нужным предупредить, что тут не опыт мой, которого у меня нет, или очень мало, а просто впечатление. Прежде всего, мне кажется, что у Вас в пьесе нехватает какой-то, мужской роли, центральной. Все время кажется, что сейчас придет мужчина и скажет что-то очень важное — и нет его. Зеленцов очень бледен, совсем не написан, а Роман тронут чуть-чуть и не интересен для обзора. Володя хорош, только его нужно бы сделать, мне кажется, еще теплей: и нужно, чтобы он в самом деле занимался теперь или когда-нибудь ранее механикой и чтоб выражение «пар пущен», «заработают теперь колеса» и проч. не были пустыми, а вытекали, так сказать, из глубины. Детей выводить не следует, о них, буде нужно, поговорить на сцене. Теперь перехожу к дамам. Ольга Багрова хороша. Это роль для очень хорошей актрисы. Только сделайте, чтобы она говорила поменьше, она чувствуется с полуслова, с первых строк и была бы просто великолепной, если бы Вы устроили в 3 или 4 акте взрыв, если бы ее вдруг на одну минуту взорвало, а затем опять бы тишина. Повторяю, чудесная роль. Наташа говорит очень много, все в одном тоне, скоре прискучает. Ее следует сделать разнообразнее, богаче. Остальные все уже встречались и раньше, писаны по рутине. Еще что? Скворцы прилетают в конце марта, когда еще снег. Выстрел в конце пьесы подает зрителю мысль, что это застрелился кто-нибудь, Роман что ли. Все действующие лица говорят одним языком (кроме Ольги), даже «забавно» Романа мало помогает делу. Есть лишние слова, не идущие к пьесе, наприм. «ведь ты знаешь, что курить здесь нельзя». В пьесах надо осторожней с этим что. И т. д. и т. д. Видите, сколько я написал Вам. А тон пьесы — хороший тон, федоровский; читать ее легко и я бы с удовольствием посмотрел ее на сцене.

Я посылаю ее Вам обратно, ибо в Художеств. театре будут репетиции до конца

января, пьесы Вашей все равно не прочтут до того времени (репетируют Немировича[2] и Горького[3]). А Вы пока, до января придумайте какую нибудь мужскую роль поцентральнее, буде пожелаете, мужчину покрупнее и поинтереснее; и выстрел не за сценой, а на сцене бы, да не в IV, а в III акте.

Ну, желаю Вам всего хорошего. Будьте здоровы и работайте себе помаленьку. В Ярославле шла с успехом Ваша пьеса «Старый дом»[4] — это я узнал из «Северного Края».

Крепко жму руку.

Ваш *А. Чехов*

Пьесу пошлите Немировичу-Данченко, но не раньше декабря. Теперь он занят своей пьесой.

Я бы и Романа сделал добряком; он добр, но никак не может свыкнуться с мыслью, что его брат, великолепный человек, живет с такой обыкновенной женщиной.

Федоров, Александр Митрофанович (р. 1868 г.), писатель, переводчик.

[1] «Обыкновенная женщина».

[2] «В мечтах».

[3] «На дне».

[4] Провалившаяся в Александринском театре.

23 февр. [1901 г.]

Дорогой Александр Митрофанович, большое Вам спасибо за книжку[1]. Раньше я получил от Вас стихотворения[2], читал их, одно даже списал и послал жене в Москву, но Вас еще не поблагодарил. И так, стало быть, шлю Вам благодарение двойное.

Теперь насчет «Стихий», о Вашем желании поставить эту пьесу в Художеств. театре. Не дальше как вчера я получил письмо от В. И. Немировича-Данченко, почти ежедневно получаю письма от жены и мне за достоверное сообщают, и я сам знаю, что в Художеств. театре еще нет репертуара для будущего года, он еще не составлялся и «Столпы» Ибсена это в самом деле последняя пьеса. Я думаю, что насчет репертуара там никто еще ничего не знает.

Если это письмо застанет Вас в Одессе и если найдется свободная минутка, то напишите, каким способом Вы получили гонорар из Импер. театра, какое прошение посылали и проч. и проч. Что туда надо писать?

Обещанную книжку жду. Теперь едва ли Вы добьетесь какого-нибудь толку в Художеств. театре. Там утомление, полные сборы делает «На дне», и проч. и проч.

Желаю Вам всего хорошего. На севере, пишут, уже весна. Крепко жму руку.

Ваш *А. Чехов*

Русское Богатство я получил, но книжка исчезла, ее взяли читать. Роман Ваш буду читать непременно[3].

[1] Сборник пьес Федорова: «Обыкновенная женщина», «Стихии», «Старый дом», «Бурелом». Спб., 1903.

[2] Федоров, «Стихотворения». Спб., 1903.

[3] Роман Федорова «Земля».

Комментарий *П. С. Попова*

Н. М. ЕЖОВУ

1

[1887 г. Августа 13 или 14]

Г. г. юмористы.

Я готов совершить подлог[1] и идти в Сибирь, но с условием, что

1) Вы, г. Грузинский[2], не будете ссориться с Лейкиным[3] и вынуждать его писать мне на Вас жалобы,

2) Вы, г. Грузинский, привезете ветчинной колбасы и

3) Вы, г. Ежов, возможно скорее сообщите: какой глаз болит у Вас (правый, или левый?) и куда имеет быть представлено свидетельство? (В Совет Брацл. училища? Так, что ли?) Болезнь: воспаление роговой оболочки (keratetis). Засвидетельствовать подпись можно только через Курепина[4], у его приятеля нотариуса Меморского[5], а полиция засвидетельствовать не может, ибо я отсутствую.

Желаю всяких благ. *А. Чехов*

Публикуемые письма Чехова к Н. М. Ежову составляют неожиданный вклад в наследие Чехова,— письма его к Ежову считались утраченными. Они были найдены адресатом за год до его смерти.

Ежов, Николай Михайлович (1862—1941)—незначительный журналист, писатель. Чехов всячески содействовал его литературной деятельности, обнаруживая неизменное участие в его писательских и личных делах. Ежов ответил Чехову поистине черной неблагодарностью.

После смерти Чехова он неоднократно выступал с воспоминаниями о нем и наряду с положительными оценками напечатал враждебные статьи переполненные лживыми обвинениями и выпадами против Чехова. Объяснить это можно завистью незначительного фельетониста к бывшему сотоварищу по прессе, в несколько лет превратившемуся в писателя с мировым именем.

Выступления Ежова вызвали резкую отповедь в прессе со стороны: П. Н. Сакулина (в «Русских ведомостях»), Л. Войтоловского («Киевская мысль»), А. Амфитеатрова («Одесские новости»), А. Измайлова («Биржевые ведомости», «Русское слово»), Гр. Петрова («Русское слово») и др. Показательно, у кого Ежов находил поддержку. В 1914 г. он предполагал переиздать отдельной книжкой свои статьи о Чехове, в связи с этим обратился к известному реакционному публицисту Буренину, прося его написать предисловие. Буренин уклонился от просьбы, но высказал Ежову одобрение.

[1] Служба в Брацлавском городском училище, Ежов опаздывал к началу занятий и просил Чехова написать ему медицинское удостоверение.

[2] Грузинский — псевдоним Александра Семеновича Лазарева (1861—1927) — писатель. Чехов звал его к себе на дачу, — в Бабкино близ Воскресенска.

[3] Лейкин, Николай Александрович (1841—1906), писатель-юморист, редактор журнала «Осколки».

[4] Куприн, Александр Дмитриевич (1847—1891) — журналист, сотрудник «Искры», с 1882 г. редактор «Будильника».

[5] Меморский, Павел Николаевич — нотариус Московского окружного суда.

2

[1887 г. Октября 5]

Добрейший
Николай Михайлович!

Моя пьеса готова[1]. Если Вы не раздумали помочь мне, то пожалуйте завтра во вторник, этак в десятом часу утра. У нас позавтракаете и пообедаете.

Будьте здоровы.

Ваш *А. Чехов*

Если не будете, то уведомьте.

[1] Имеется ввиду «Иванов». Закончив свою первую пьесу, Чехов хотел выяснить степень ее сценичности. Он пригласил Ежова, как хорошего чтеца, выступавшего также на любительских сценах. Чехов хотел, чтобы Ежов прочел ему вслух «Иванова». Свидание состоялось на другой день.

3

27 окт. [1887 года]

Добрейший Николай Михайлович! Ваши письма получены. Так как вопрос о Вашем левом глазе и жалованьи можно теперь считать покончennым, то, минуя его, перейдем к текущим делам.

Вам, как шаферу моего «Иванова», считаю не лишним сообщить следующее. «Иванов» непременно пойдет в конце ноября, или в начале декабря. Условие с Коршем уже подписано. Иванова будет играть Давыдов[1], который, к великому моему удовольствию, в восторге от пьесы, принялся за нее горячо и понял моего Иванова так, как именно я хочу. Я вчера сидел у него до 3-х часов ночи и убедился, что это действительно громаднейший художник.

Если верить таким судьям, как Давыдов, то писать пьесы я умею. Оказывается, что я инстинктивно, чутьем, сам того не замечая, написал вполне законченную вещь и не сделал ни одной сценической ошибки. Из сего проистекает мораль: «Молодые люди, не робейте!»

Конечно, Вы дурно делаете, что ленитесь и мало пишете. Вы «начинающий» в полном смысле этого слова и не должны под страхом смертной казни забывать, что каждая строка в настоящем составляет капитал будущего. Если теперь не будете приучать свою руку и свой мозг к дисциплине и форсированному маршу, если не будете спешить и подструнивать себя, то через 3—4 года будет уже поздно. Я думаю, что Вам и Грузинскому следует ежедневно и подолгу гонять себя на корде. Вы оба мало работаете. Надо лупить во-всю, направо и налево. Никак не уломаю Грузинского написать субботник[2]! Вашу милость тоже никак не убедишь посылать рассказы в Осколки непременно к каждому №. Чего Вы оба ждете, я решительно не понимаю. При скупой и робкой, перестительной работе Вы дождетесь кукиша с маслом, т. е. испишетесь не написавши... *

Одним словом, бить бы вас обоих, да нельзя: оба чиновные люди...

Все наши здравствуют и шлют Вам поклон. Приезжайте на Рождество, а пока будьте здоровы и не забывайте

Вашего *А. Чехова*

* Пример: мой брат Агафопод[3] писал скупо, но уже чувствует, что исписался...

[1] Давыдов (Горелов), Владимир Николаевич (1849—1925) — в то время артист театра Корша, исполнявший роль Иванова в пьесе Чехова. Будучи уже артистом Александринского театра, исполнял ту же роль при постановке пьесы Чехова в Петербурге в 1889 г.

[2] Субботники — беллетристика, помещавшаяся в «Новом времени» по субботам.

[3] Агафопод — литературный псевдоним Александра Павловича Чехова (1855—1913).

4

8 Августа [1888 г.]

Простите, милейший Николай Михайлович, что я так долго не отвечал на Ваше письмо.

Можете себе представить, я целый месяц беспутно шатался по Крыму и Кавказу и только вчера вернулся к пенатам. Ну-с, я жив и здрав, лениво почиваю на лаврах, благополучно исписываюсь и весьма хладнокровно переживаю свою славу. Волнует меня только одно,— мысль, что Вы и Грузинский осмелились жениться раньше меня. Впрочем, бог Вам судья. Поздравляю с законным браком и желаю всего хорошего... Женитьба хорошая штука... Если не дает сюжетов (а она сюжетов не дает, ибо литераторы видят только даль, но не то, что у них под носом делается), то во всяком случае дает солидность, устойчивость и поселяет (монашеское слово!) потребность совлечь с себя ветхого человека... Мне сдается, что, оженившись, Вы не замедлите приняться за серьезную работишку, т. е. почувствуете, что в Осколках Вам тесно, как в клетке. Это так, ибо у женатого совсем иное мировоззрение, чем у холостяка. Тру-ла-ла мало-помалу выдыхается и уступает свое место более чувствительным романсам...

Передайте Александру Семеновичу, что Суворин ждет его субботник. Пора ему. В Новое Время он явится желанным гостем тем более, что в оной газетище в настоящее время решительно нет беллетристов (если не считать Бежецкого [1] и Чехова, которые разленились и скоро начнут пить горькую).

В Москве буду к 5 сентября. Прошу пожаловать кушно с фамилией.

Поклонитесь Грузинскому и, если увидите, Пальмину [2]. Напишите Билибину [3], что я собираюсь черкнуть ему большое письмо, но утерял его адрес.

Будьте здоровы и счастливы

Ваш
А. Чехов

Хочу купить хутор.

Через год Вы обязаны дать рассказ в Новое Время. Об этом поговорим при свидании.

[1] Бежецкий — псевдоним беллетриста Алексея Николаевича Маслова (р. 1853 г.)
[2] Пальмин, Илиодор Иванович (1841—1891) — поэт.
[3] Билибин, Виктор Викторович (1859—1908) — писатель, секретарь редакции «Осколков».

5

28 Янв. [1890 г.]

Добрейший Николай Михайлович, простите, что так долго не отвечал на Ваши письма. Все собирался уехать в Москву и поэтому рассчитывал повидаться и дать ответ устный.

1) Русалка будет напечатана в Новом Времени.

2) Вам прибавлена копейка. Теперь Вы будете получать 8 коп. за строчку.

3) О высылке газеты сделано распоряжение.

Русалка мне о ч е н ь понравилась, хотя в рассказе русалочьего отца Вы несколько впадаете в тон Короленко (Лес шумит). Вообще Вы заметно прогрессируете, чему я, искренно говоря, очень рад. Читайте побольше; Вам нужно поработать над своим языком, который грешит у Вас грубоватостью и вычурностью — другими словами, Вам надо воспитать в себе вкус к хорошему языку, как воспитывают в себе вкус к гравюрам, хорошей музыке и т. п. Читайте побольше серьезных книг, где язык строже и дисциплинированнее, чем в беллетристике. Кстати же запасетесь и знаниями, которые не лишни для писателя.

Вот Вам и наставление на закуску! Суворин извиняется, что до сих пор не распорядился насчет газеты.

Почтение Вашей жене.

Искренно преданный
А. Чехов

Бываете ли у наших?

6

2 янв. [1892 г.]

С новым счастьем, с новым голом!

Посылаю Вам сто рублей; из них 41 р. принадлежит Вам, а остальные 59 благоволите, идучи мимоходом, занести в д. Фирганг и вручить моей матери. В Конторе Волкова (Кузнецкий, рядом с Глазуновым) выдают деньги без удостоверения личности.

9 рублей будут посланы Градовскому [1] через Билибина, с которым, кстати сказать, я буду завтра обедать в трактире.

Вчера я гулял на юбилее Петерб. Газеты. Худеков [2] вручил мне два именных жетона (к сожалению серебряных) для передачи Вам и А. Грузинскому. Сии знаки отличия вручу Вам в день своего приезда. Оный же Худеков назначил мне 40 к. за строчку и дал 200 р. в счет будущего, хотя я не просил его об этом.

Ваша «Женщина» великолепный рассказ. Прочел я с большим удовольствием. И все прочие хвалят.

Лейкин говорит, что тот Ваш рассказ, который имеется у него, тоже хорош.

А. С. Лазареву передайте, что Тихонову [3]

и Щеглову[4] уже нескучно, ибо они оба получили «Нескучные рассказы»[5].

В Петерб. Газете имеются портреты А. С. Лазарева и Ваш. Под Вами подписано — Лазарев, а под Лазаревым — Ежов. Это нехорошо.

Ну, строгий человек, будьте здоровы и снисходительны к нашим слабостям. Александру Семеновичу нижайший поклон.

Всего хорошего!

Напишите, что деньги Вами получены.

Ваш *А. Чехов*

Вообще говоря, в Питере Вашею литературною деятельностью весьма довольны. Выражают между прочим сожаление, что в Ваших рассказах недостает отделки и что часто Вы бываете небрежны.

Альбов[6] Ваш рассказ очень хвалит; напечатает его в марте.

Насчет высылки Вам Севера и Северного Вестника заявление сделаю своевременно.

[1] Градовский, Григорий Константинович (1842—1920) — публицист, председатель правления и основатель кассы взаимопомощи при Обществе для пособия нуждающимся литераторам и ученым.

[2] Худеков, Сергей Николаевич (1837—1929) — журналист, с 1871 г. — издатель «Петербургской газеты».

[3] Тихонов, Владимир Алексеевич (1857—1914) — беллетрист, редактор журнала «Север».

[4] Щеглов — псевдоним Ивана Леонтьевича Леонтьева (1856—1911) — беллетрист, приятель Чехова.

[5] «Нескучные рассказы» — сборник, выпущенный Лазаревым-Грузинским.

[6] Альбов, Михаил Нилович (1851—1911) — беллетрист, с 1891 по 1895 г. был редактором «Северного вестника».

7

7 Янв. [1892 г.]

В своем молниеносном письме Вы разнесли не Худекова, а самих себя[1]. Стыдитесь, господа, помните Шекспировское знаменитое выражение «Мне не дорог твой подарок, дорога твоя любовь». Берите пример с меня, я прицепил этот серебряный жетон на ключ, а если бы я получил золотой, я повесил бы на цепочку с часами. И за свою деликатность, мне кроме этого привез сам Лейкин 35 рублей, если мне не верите, спросите у Ан. Ив.[2]. Успокойтесь, молю Вас, обуздайте ваши страсти, не противьтесь злу, не забывайте нашего учителя Л. Н. Толстого. Кланяйтесь нашим. Скоро увидимся.

Глубоко Вас уважающий

Антон Чехов

[1] Ежов разъяснил нам так: «Это письмо Ан. П. Чехов написал мне и А. Грузинскому вместе: мы отправили ему свои жалобы на «Петерб. газету» за то, что эта газета вычитывала с нас на юбилей Худекова (издателя) — с А. С. Лазарева они перебрали до 150 р., с меня — 120 р.: — и вдруг нам дали жетоны серебряные, тогда как почти все другие сотрудники получили золотые. Чехов очень смеялся и начал нам свой ответ, но явилась Анна Ивановна Суворина (у Сувориных Чехов гостил в это время) и взялась сама писать нам ответ: они оба сочиняли его и очень потешались над нашим «гневом».

[2] Суворина, Анна Ивановна — жена А. С. Суворина.

8

20 октябрь [1892 г.]

Добрейший Николай Михайлович, я буду в Москве около 1-го ноября и на сей раз, чтобы ближе было, остановлюсь в Лоскутной. Постараюсь просидеть один день безвыходно в номере, и тогда конечно никакие силы не помешают нам свидеться и потолковать. Когда Вы были на Басманной[1], я то завтракал, то обедал и освободился только к 9 часам вечера.

Рекомендацию дам охотно. Но как? Написать ли мне прямо Лаврову[2], или же прислать Вам записку, а уж Вы снесете ее в редакцию вместе с повестью? Или не подождать ли Вам моего приезда, когда я сам снесу в Русскую Мысль Ваш рассказ?

Откуда Вы взяли, что Ваши последние нововременские рассказы не нравятся мне? Я с удовольствием читаю Вас и всякий раз замечаю, что Вы идете не назад, а вперед. Пожалуй, одно только пришлось мне не по вкусу в одном из Ваших рассказов — это Ваше желание убедить меня, что в кафе-шантане не бывают порядочные женщины. Это, душа моя, я и без Вас давно знаю...

Издавать книжку с помощью Пет. Листка я Вам не советую. Надо или самому издавать, или же подождать приезда Суворина. П. Листок — это пломба недоброкачественная, трихинная... У Вас ведь свой читатель, а у Листка свой.

Амфитеатров[3] очень недурно ведет московский фельетон.

Поклонитесь Александру Семеновичу и оставайтесь живы и здоровы. Желаю Вам всего хорошего.

Ваш *А. Чехов*

[1] В Москве, на Басманной улице жил брат писателя И. П. Чехов, у которого бывал Антон Павлович, приезжая из деревни.

[2] Лавров, Вукол Михайлович (1852—1912) — издатель и редактор «Русской мысли». Речь идет о помещении в «Русской мысли» рассказа Ежова.

[3] Амфитеатров, Александр Валентинович (1862—1926) — публицист и беллетрист, помещал фельетоны в «Новом времени».

9

26 ноябрь [1892 г.]

Не следует, ангел мой, киснуть. Богатых литераторов нет на этом свете, а если Вы должны, то это в порядке вещей. Я должен 10 тысяч и не падаю духом, но даже утешаюсь мыслью, что если нам дают в долг, то значит нам верят и считают нас порядочными людьми — ну и слава богу.

В Петербурге Вам следует побывать для того, чтобы познакомиться с тамошней литературой, себя показать и поскучать. Нельзя пишущему сидеть на одном месте. По моему мнению, Вам необходимо бывать в Петербурге раз в год.

Бумагу, шрифт и обложку для книги придется выбирать недолго [1]. Вероятно, Вас издадут в том обычном суворинском рублевом формате, в каком изданы я, Черный [2], Бежецкий, Буренин [3] и другие. Это удобный формат. В Петербурге будучи, конечно, я готов принять на себя все хлопоты по изданию и даже прочесть корректуру, но суть вся не в этом... Вся суть, сударь мой, в названии книжки. Как Вы ее назовете? Придумали? «Не длинные рассказы»... Впрочем, это название возьмет Александр Семенович для своей второй книжки. Лейкин по приятельски наградил его «Не скучными», а я придумал для него «Не длинные рассказы».

В Петербург я поеду не раньше середины декабря. Право, Вам никто и ничто не мешает ехать со мной.

Приезжайте ко мне с Вашей Соней. Мы ее на санках покатаем и покажем ей весь наш зверинец. Сестра моя М[ария] П[авловна] каждую пятницу ездит из Москвы на Лопасню. Вот с ней бы и приехали. Видеть ее можно по средам и четвергам на Новой Басманной в училище.

Нижайший поклон Александру Семеновичу. Будьте здоровы.

Ваш *А. Чехов*

О том, что Вы обещали дать в Русскую Мысль рассказ, я уже говорил с Лавровым. С Гольцевым [4] же забыл поговорить. Но это все равно. Оба они будут очень рады.

[1] Для сборника рассказов Ежова «Облака».

[2] Черный — псевдоним беллетриста Аполлона Николаевича Чермана (ум. 1911 г.).

[3] Буренин, Виктор Петрович (1841—1926) — реакционный публицист и писатель.

[4] Гольцев, Виктор Александрович (1850—1906) — редактор «Русской мысли», «Русского курьера» и «Юридического вестника».

10

25 дек. [1892 г.]

Добрейший Николай Михайлович, начну с того, что Ваш Лунатик [1] — очень хороший рассказ и всем здесь нравится. Вы делаете поразительные успехи. Другого Вашего рассказа я не видел и не читал, но говорят, что он тоже будет напечатан.

Во вторых, поздравляю Вас с праздником.

В третьих, пожалуста, не считайте меня лютым кредитором. Те сто рублей, которые Вы мне должны, я сам должен и не думаю заплатить их скоро. Когда уплачу их, тогда и с Вас потребую, а пока не извольте меня тревожить и напоминать мне о моих долгах.

И так, Вам нужно не 500, а 400 р. Если к тому же еще Вы решите отдать долг Александру Семеновичу не теперь, а месяца через три, то останется всего долгу 350 р. Такую сумму не страшно просить. Вы напишите Суворину, по возможности подробнее, т. е. сошлитесь на болезнь, проценты и проч. и попросите его выслать Вам 350 р. Пообещайте уплачивать по 25%. Думаю, что он не откажет Вам, ибо нет никакого основания отказывать в 350 р. такому сотруднику, как Вы. Я бы не отказал Вам. Скорее же напишите, а я поддержу Вашу просьбу, буде Суворин покажет мне Ваше письмо.

Вчера я целый день выматывал из души рождеств. рассказ [2], написал кроме того про болезнь Ирода [3], прочел миллиард корректур и замучился.

Ваша книжка еще не набирается, благодаря предпраздничной сутолоке в типографии.

Ну будьте здоровы. Приезжайте.

Ваш

А. Чехов

[1] Рассказ Ежова, напечатанный в «Новом времени», № 6045 от 25 декабря 1892 г.

[2] «Страх», помещенный в номере «Нового времени» от 25 декабря».

[3] В том же номере «Нового времени» помещен фельетон Чехова «От какой болезни умер Ирод».

11

22 март [1893 г.]

Я никогда не посылаю своих книг в редакцию. Суворин говорил, что это делает сам магазин. Он ли посылает, или рецензенты сами покупают, но обыкновенно в толстых журналах рецензируются все беллетр. новости, представляющиеся интересными или курьезными. Впрочем, быть может, я и ошибаюсь, так как давно уже не слежу за рецензиями. Во всяком разе из вежливости пошлите книжки с надписанием Михаилу Ниловичу Альбову (Сев. Вестн.), Влад. Алекс. Тихонову (Север), Петру Васильев. Быкову [1] (Вс. Иллюстр.) — это милейший человек и библиограф. Пошлите также по книжке Короленко, Баранцевичу [2], Мачтету [3], Эртелю [4] и Чехову — это по правилам товарищества. Насчет рецензий я держусь такого правила: никогда не прошу, ни письменно, ни устно, замолвить о книге словечко. И никогда не просил, и Вам это совеtую. Оно как то на душе чище. Кто просит дать об его книге отзыв, тот рискует нарваться на пошлость, обидную для авторского чувства.

Вы получите 50 авторских экз. Напишите, чтобы Вам прислали их через московский магазин. Это удобнее.

Пасху я проведу у себя в Мелихове, но Вас к себе не жду раньше Фоминой недели. Можете, конечно, и раньше двинуться в путь, но не иначе, как на воздушном шаре, ибо распутица будет отчаяннейшая. Снегу опять подвалило — видимо не видимо! На Фоминой я буду в Москве... Да-с, буду! Вместе из Москвы и поедем, но уже не по снегу, а по травке. И Александра Семеновича пригласим.

Если у Вашей дочери только urticaria, т. е. крапивная лихорадка, то нет надобности каждый день звать доктора. Дайте слабительное, не кормите, пока больна, рыбой и пряностями — вот и все.

Вы хотите, чтобы я написал рецензию. Отродясь, батенька, не писал рецензий. Для этого надо иметь особый слог.

Не хорошо, что у Вас голова болит. Головная боль мешает работать и делает жизнь несносной. Нам бы повидаться и поговорить. Давно уж я Вас не лечил.

Будьте здоровеньки. Поклон А. С. Лазареву. Это письмо повезет в Москву Семашко [5].

Ваш
А. Чехов

Чем больше разошлете и раздадите книг, тем лучше. Посылайте не редакциям, а лицам, по возможности тем, которые не чужды делу.

[1] Быков, Петр Васильевич (р. 1843 г.) — поэт, критик и библиограф.

[2] Баранцевич, Казимир Станиславович (1851—1927) — писатель.

[3] Мачтет, Григорий Александрович (1852—1901) — писатель.

[4] Эртель, Александр Иванович (1855—1908) — писатель.

[5] Семашко, Мариан Ромуальдович — виолончелист Большого театра, частый гость Чеховых.

12

23 дек. [1893 г.]

С праздничком честь имею поздравить Вас и Вашу милую дочку, дорогой Николай Михайлович. В том, что мы не повидались в Москве, виноваты два человека: я и Левинский [1]. Я виноват, потому что потерял Ваш адрес, Левинский же не передал Александру Семеновичу и Вам моего адреса, хотя я настоятельно просил его об этом.

Вы задолжались? Но ведь теперь каждый порядочный человек должен. Когда Ваш долг достигнет цифры 10 000 руб., то устройте юбилейную закуску и пригласите меня. Долги пустое дело. Что же касается безденежья, то я вполне разделяю Ваш взгляд на этот бич божий. И мне кажется, что при Вашей теперешней манере писать Вам трудно избавиться от него. В последние годы Вы как-то раскисли. Вместо того, чтобы писать по 2—3 рассказа в неделю, Вы пишете по одному в 2—3 месяца. Такая скудная производительность причиняет Вам материальный ущерб и мало того, истощает Вас, так как без постоянного правильного упражнения невозможно избежать регресса. Вы еще молоды, имеете симпатичное литературное имя, и объяснить Вашу малодеятельность можно только одним — временной апатией и хандрой. Встряньте же, сударь, и пишите по 5—10 часов в сутки, по 5 рассказов в неделю, по одной повести в 2 месяца, по роману в год, и по 2—3 пьесы в сезон. Многописание великая, спасительная штука.

Суворину буду писать. По отчего Вы так редко печатаетесь у него? Обратитесь к Альбову. Он добрый человек.

Как Ваше здоровье? У Вас плохие нервы, и я от всей своей докторской души желаю, чтобы Вы поскорее имели в кармане лишних 500—600 р. и поехали купаться в море. Кстати же Вам не мешало бы приобрести новый запас тепловых, цветовых и всяких других впечатлений.

Передайте Александру Семеновичу мои самые искренние пожелания. Я завидую ему.

так как могу себе представить удовольствие иметь дочь.

Вы все-таки не хотите ко мне приехать? Merci. Желаю всего хорошего. Будьте здравы и невредимы.

Ваш
А. Чехов

[1] Левитский, Владимир Дмитриевич (1849—1917) — в то время редактор, с 1893 г.— редактор-издатель «Будильника».

13

28 ноябрь [1894 г.] Мелихово

Вы жестоко неправы, милый Николай Михайлович: не я изменил Вам, а Вы мне. Вот уже три года, как я живу в деревне, и ни Вы, ни Александр Семенович не побывали у меня, очевидно, рукой на меня махнули.

Я жив и здоров. Недавно был заграницей [1], теперь сижу дома и работаю. Бываю в Москве не чаще 5 раз в год, останавливаюсь в Лоскутной или Б. Московской. На Ваше письмо не отвечал так долго, потому что был в отъезде — в Серпухове, где судил ближних в качестве присяжного заседателя.

За литературной деятельностью Вашей я слежу по мере возможности и иногда досадую, что Вы так редко печатаетесь.

Быть может, скоро я буду издавать журнал-ежемесячник. Тогда милости просим. Идут ли Ваши «Облака»?

Когда увидите Александра Семеновича, то поклонитесь ему.

Пишу повесть, которая пойдет в январск. книжке Русской Мысли [2]. Тороплюсь, выходит скучновато и вяло. Но делать нечего.

Будьте здоровы, враг. Желаю Вам и Вашей дщери всяких благ.

Ваш
А. Чехов

[1] В сентябре-октябре 1894 г. Чехов ездил заграницу: в Австрию, Италию, Францию.

[2] В № 1 и 2 за 1895 г. в «Русской мысли» была напечатана повесть Чехова «Три года».

14

13 апр. [1896 г.]

Дорогой Николай Михайлович, мне кажется, что Вы преждевременно падаете духом. Пока, судя по Вашему письму, ясно только то, что жене Вашей прописан креозот и что у нее был плеврит. Редко у кого не бывало плеврита и редко кто не принимал креозот. У меня самого давно уже кашель и кровохаркание, а вот — пока здравствую, уповая на бога и на науку, которой в настоящее время поддаются самые серьезные болезни легких. И так, надо уповать и стараться обойти беду. Самое лучшее конечно — поехать бы на кумыс. Если денег нет, то дача, обильное питание, покой. Если понадобится доктор, то обратитесь к известному Вам Корнееву. Это хороший врач и добрейший человек. Когда-то он был ассистентом Захарьина и имел до последнего времени громадную практику, теперь же предается кейфу. Узнайте, в какие дни у него прием, и отправляйтесь с моим письмом. Если же почему-либо не пожелаете Корнеева, то черкните, и я придумаю для Вас другого доктора.

У нас открыто почтовое отделение и адрес теперь стал проще: Лопасня Моск. губ. Теперь весенняя распутица, на почту посылаем не больше двух раз в неделю — вот причина, почему Вы получаете сей ответ на Ваше письмо так не скоро.

Летом буду ждать к себе Вас и Александра Семеновича, которому кланяюсь.

Будьте здоровы и благополучны.

Ваш
А. Чехов

15

[1897 г. Января 2]

Спасибо за письмо, дорогой Николай Михайлович! Поздравляю и я Вас с новым годом, с новым счастьем, и от души желаю, чтобы и Вы и Ваша семья были здоровы.

225 рублей в месяц — это немного, но при благоприятных условиях эта сумма через 2—3 года удвоится и даже утроится, ибо Суворин не скуп и прекрасно вознаграждает своих постоянных сотрудников. Что касается запрещения писать во всех городах всякие статьи, то не думаю, чтобы оно уж было так категорично. Вам нельзя уходить от беллетристики; главная суть Вашей жизни — беллетристика, фельетоны же, как стихи, составляют лишь соус этой сути. В первое время Вы будете печатать свои рассказы в Новом Времени, потом же, по всей вероятности, мало по малу перейдете в толстые журналы, против чего, мне кажется, Суворин не будет иметь ровно ничего, ибо для него будет ясно, что беллетристика нисколько не мешает Вам упражняться на поприще «нефельетониста». Во всяком разе я от души радуюсь за Вас и поздравляю.

Я жив и здоров. Работы много. Много гостей. Старею, денег нет.

Низко кланяюсь Вам и Вашей Соне. Когда приеду в Москву, непременно дам знать *.

Ваш

А. Чехов.

* Пообедаем вместе.

16

23 янв. [1897 г.] Лопасня Моск. г.

Милый Николай Михайлович, прилагаемое письмо [1] прислано мне моим приятелем доктором Николаем Ивановичем Коробовым (Б. Полянка, д. Подземщикова). Речь идет о благотворительном обществе при первой городской больнице. Мораль:

1) В городских больницах в Москве лечится главным образом голь, которая, выписавшись, заболевает вновь и погибает, так как не имут одежды, достаточно не дырявой, чтобы можно было жить на морозе и в сырости. Ослабленные болезнью дети и выпущенные из больниц дохнут по той же причине. Отсюда: необходимы благотворительные учреждения при больницах — общества, ясли и проч. и проч.

2) Благотворительные общества существуют, но висят на волоске, ибо каждое из них питается подаяниями, выпрашиваемыми у 2—3 лиц; живы эти лица — живо и общество. Умрут или закапризничают они — и общества нет. Отсюда: необходимо, чтобы почтенные москвичи обеспечили эти общества постоянным и обязательным участием всех и каждого... Богатый москвич тратит сотни и тысячи на то, чтобы из меньшей братии создать побольше проституток, рабов, сифилитиков, алкоголиков — пусть же дает он хотя привенчики для лечения и облегчения порой невыносимых страданий этой обобранной и развращенной им братии.

Я жалею, что письмо моего приятеля коротко. Но найдете ли Вы возможным и нужным повидаться с ним? Он мог бы дать Вам много материала бытового и цифрового. Он очень умный человек.

Бывает дома после двух. Кстати сказать, лечит прекрасно.

Как живете? В феврале буду в Москве — увидимся.

Будьте здоровы. Крепко жму руку.

Ваш

А. Чехов.

[1] Коробов писал Чехову 21 января 1897 г.: «Милый Антон Павлович! Прежде всего извини, что я, получив твое последнее письмо, не ответил никак, словно умер,— да дело в том, что меня выбрали в секретари Благотворительного общества при нашей больнице, а дела там много, да оно и запущено,— я теперь сижу там с головой. По поводу этого же самого общества обращаюсь к тебе с просьбой. Сначала расскажу, что за общество. Мы одеваем, обуваем московскую и деревенскую голь, которая попадает к нам с Хитрова рынка и прочих подобных мест иной раз в чем мать родила. Затем оперированным даем искусственные ноги, трахеотомические трубочки, бандажи, очки и т. п. Деревенским или вообще иногородним даем при выписке деньги на дорогу, рубля 3, даже 5, а московским на извозчика и конку. Затем одна барыня г-жа Щекотова года 4 устроила при нашем обществе приют для маленьких детей (от дня рождения и до 5 лет) бедных больных, лечащихся у нас в больнице. Ты можешь представить прачку, у которой есть 3-месячный ребенок, которого часто некуда девать, если прачка попадает в больницу, а тем более умирает. Положим, это бывает не часто, но все же в 4 года было таких 70 ребят, т. е. всего принято в приют больницы, часть взяли родители, когда выздоровели, или родные, но и теперь еще несколько осталось в приюте, которых некуда девать, а они уже подросли и их нужно учить. Расходу было от 1500 до 2-х тысяч в год. Теперь это закрывается, так как у Общества нет средств содержать приют, ибо весь доход общества менее 3-х тыс. и его нехватает одевать вот этих хитровцев, ибо зима холодная и много больных возвратной горячкой в ночлежных домах. Приют же содержала г-жа Щекотова на сборы с концертов и т. п., общество не тратило ни копейки. Г-жа Щекотова теперь отказывается добывать деньги и одна возиться с приютом, и мы было совсем решили приют закрыть, как совершенно неожиданно получаем приглашение от доктора В. К. Попандопуло пожаловать к нему и получить 1000 р. на приют. Жертвовательница, желающая остаться неизвестной, дает их, да и еще обещает в этом же году дать другую тысячу. Теперь приют на год обеспечен и пока будет существовать. Далее, 13-го февраля будет ровно 25 лет, как открыто Общество. Решили устроить торжественное собрание в этот день в больнице в 1 час дня и читать на нем отчет за 25 лет. Я прошу тебя, нельзя ли обо всем этом заметку в московских газетах. Пожалуйста, помоги. Напиши мне, к кому обратиться, и дай записку, обяжешь весьма. Денег у нас мало, а если рекламировать, что-нибудь и попадет. Поклон твоим. Будь здоров. Приезжай есть пельмени. Н. Коробов».

17

Дорогой Николай Михайлович, некий Сергей Алексеевич Епифанов (Пречистенский бульв., д. Копейкиных) пишет мне, что у него чахотка и что он крайне нуждается. Это давнишний сотрудник Развлечения и т. п., бедняк, литературный неудачник и, кажется, алкоголик. Будьте добры, справьтесь как-нибудь, что с ним, и нельзя ли сделать для

него что-нибудь, помимо мелкой денежной помощи. Если болезнь не запущена, то быть может еще не поздно записать его в члены Кассы взаимопомощи — на случай инвалидности; я делал бы за него членские взносы. Если же положение его безнадежно (последний градус ч — ки), то не найдете ли Вы возможным, по справке, воззвать в PS. к благотворительности, что вот-де маленький поэт С. А. Ев болен, беден и проч. [1] — как это сделал покойный Курепин [2] относительно Путяты [3]. Ваш PS. дал бы рублей 50—100, а может быть и больше [4]. Если увидите Епифанова, то скажите, что ответ я послал ему из Ялты, где теперь нахожусь. Мой адрес: Ялта, д. Бушева. Будьте здоровы и благополучны.

2 октября [1898 г.]

Ваш
А. Чехов.

[1] В недатированном письме от октября 1898 г. Ежов писал Чехову: «Я сделал для Епифанова, что мог: привез к нему на квартиру доктора (Вашего горячего поклонника Членова), тот осмотрел Епифанова, нашел легкие незатронутыми: на другой день тот же Членов сказал словцо в клиниках, и Епифанова положили в палату доктора Иванова. Я помещу PS. о Епифанове».

[2] Курепин, Александр Дмитриевич (1847—1891) редактор «Будильника».

[3] Путята, Николай Аполлонович (ум. 1890 г.) — московский журналист

[4] Заметка об Епифанове была помещена Ежовым в «Новом времени», № 8146.

18

[1898 г. Ноября 21]

Дорогой Николай Михайлович, Ваши письма приходят во время, но я отвечаю не акуратно, потому что в лености житие мое иждих. «Злоумышленники» были уже в «Невинных речах»; я их опять помещу впрочем. Вы не называли театр Корша балаганом прямо, но называли косвенно; про этот театр Вы писали, как про балаган, были к нему суровы, это огорчило Корша, и он вероятно написал Суворину.

Вы спрашиваете, как мне понравилась Чайка у Немировича. Я был на двух репетициях, мне понравилось. Роксанова [1] очень не дурна. Не знаю, понравится ли Вам; как бы ни было, напишите мне Ваши впечатления. У Вас спина болит — это нервное. Волнуйтесь поменьше. Без недоразумений прожить нельзя, без огорчений — тоже нельзя. Ничего не поделаешь.

В Ялте туман, но тепло. Ночи лунные. Я работаю по-маленьку и скучаю по Москве. Для д-ра Членова нужно было бы устроить что-нибудь, но если он не может служить ни в земстве, ни на фабрике, то как его устроить? Какая часть дня у него свободна? Как велика сия часть? И куда он желал бы поступить? Прочитайте в Неделе рассказ Накрохина «Странник» [2]. Засим, поклонитесь Вашей дочери и будьте здоровы. Спасибо Вам за письма.

Ваш
А. Чехов.

[1] Роксанова (Петровская), Мария Людомировна была артисткой Художественного театра с 1898 по 1902 год.

[2] Накрохин, Порфирий Егорович (1850—1903) — репортер и беллетрист. Рассказом «Странник» открывается выпущенный Накрохиным в 1899 г. сборник рассказов «Идиллия в прозе».

19

1 февраль 99 г.

Дорогой Николай Михайлович, посылаю Вам письмо, полученное мной от Епифанова. По прочтении возвратите мне. В свидетельстве, о котором он пишет, говорится, что он болен хронич. воспалением легких, но, конечно, у него злющая чахотка. Что нибудь надо сделать. Если Вы придете к нему на помощь и читатель Нов. Времени пришлет ему хотя немного, и если он в силах пускаться в дальний путь (об этом письменно справьтесь у лечившего его доктора Кишкина), то я устрою его здесь в Ялте.

Развлечение празднует юбилей? Вы кажется работали в Развлечении. Нельзя ли в редакции достать Развлечение того времени, когда редактором был Насонов [1], и нельзя ли отдать переписать мои рассказы. «Брак по расчету» уже есть у меня, остальные же точно в Лету канули. Я теперь собираю свои рассказы, продаю их Марксу [2]. Простите, голубчик, за эти бесконечные поручения, которые я Вам даю, простите и считайте меня Вашим должником.

Напишите мне. Суворов и 12-й год, — конечно, это пустяки, не стоило поднимать гвалт. Это описка очевидная. Будьте здоровы и благополучны. Жму руку.

Ваш
А. Чехов.

Пришлите мне 1 экз. моей книжки «Детвора» из Дешевой Библиотеки. Возьмите в магазине.

[1] Насонов, Александр. Викторович был редактором «Развлечения» с 1881 по 1884 год включительно.

[2] Маркс, А. Ф. — книгоиздатель.

20

Дорогой Николай Михайлович, я опять с просьбой. Если у Вас есть сборник «Призыв» [1], изданный Гариным, то, пожалуста, велите переписать два моих рассказа, помещ[енных] в нем. Один подписан так: Лаэрт. Переписанные пришлите мне.

Что касается Петерб. Газеты, то не хлопочите, я напишу в Петербург [2]. Там, в Петербурге, легче отыскать что нужно и переписать, а Вы лишь возвратите мне список рассказов, которых не нужно переписывать; этот список я как-то послал Вам. Если потеряли, то не беда.

Как поживаете? Что новенького? Об игре Станиславского мне уже говорили и писали — и с Вами я совершенно согласен.

Буду ждать ответа.

Ваш
А. Чехов.

5 февр. [1899 г.]

Переписывать нужно лишь на одной стороне листа, чтоб удобнее было набирать.

[1] В сборнике «Призыв», изданном Гариным-Виндингом (М., 1897), помещены рассказы Чехова: «Рассказ госпожи NN» и «На кладбище» (под псевдонимом Лаэрт).

[2] В тот же день Чехов обратился к Л. А. Авиловой с просьбой отыскать в «Петербургской газете» затерявшиеся свои рассказы и нанять человека для их переписки (см. Письма Чехова, V, стр. 334).

21

Дорогой Николай Михайлович, получил два рассказа, кланяюсь Вам низко и благодарю. Боюсь, что я, наскучив Вам, не скоро буду иметь случай вознаградить Вас за сию скуку.

Если Ваш писец (или писица) будет переписывать из Развлечения, или откуда-нибудь, то впредь пусть пишет на писчей бумаге, на тетрадках, сшитых так, чтобы для каждого рассказа была особая тетрадка. И вверху каждого рассказа надлежит сделать пометку: такой то журнал, год, №.

А ведь у меня были рассказы и в «Новостях дня»! [1] Мудрено теперь отыскать их. Когда у Вас будут дети писатели, то внушайте им, что всякий напечатанный рассказ, как бы он плох ни был, надо вырезывать и прятать себе в стол. Печатался я и в «Свет и тени» [2] и в «Мирском Толке» [3].

Еще раз благодарю и крепко жму руку.

Ваш
А. Чехов.

15 февр. [1899 г.]

[1] В «Новостях дня» Чехов печатался в 1884—1885 гг. В этой газете был опубликован роман Чехова «Драма на охоте».

[2] В Московском журнале «Свет и тени» Чехов печатался в 1882 г.

[3] «Мирской толк» представлял собою приложение к журналу «Свет и тени», Чехов сотрудничал там в 1882 г.

22

Дорогой Николай Михайлович, если врачи разрешают Епифанову ехать в Ялту теперь же и если он сам не против поездки, то отправьте его, пожалуйста, т. е. купите билет, посадите в вагон и проч., и напишите мне, сколько Вы истратили. Из Севастополя до Ялты он проедет на пароходе, в Ялте поместим его на все лето в приюте, где за ним будет хороший уход. Но прежде чем отправлять его, посоветуйтесь с врачами, в силах ли он, чтобы доехать до Ялты, не лучше ли на лето остаться в Москве и т. д. и т. д. Полагаю все сие на Ваше благоусмотрение. В случае, если поездка его будет решена, сообщите мне, а потом о дне выезда из Москвы заранее уведомьте, хотя бы телеграммой (Ялта Чехову).

Да и Вам не мешало бы проехаться в Крым и отдохнуть здесь. Будьте здоровы и счастливы.

Ваш
А. Чехов

99 18/III

23

24 марта [1899 г.]

Дорогой Николай Михайлович, посылаю письмо от Епифанова, которое при случае возвратите ко мне. Вы видите, что Еп-у не хочется в Ялту, и если Вы писали мне об «улыбке прощальной», то относились к делу, так сказать, субъективно [1]. И так, оставьте его в Москве. В Ялте ему будет скучно, жутко: рябиновой здесь нет, делать нечего, заработков никаких. Я в апреле уеду, и он, как истый москвич, почувствует себя заброшенным. Впрочем, предоставьте ему поступить, как он хочет.

Он спрашивает про условия. Какие ему нужны условия? Он будет жить в Ялте, за него будут платить (квартира и стол), вот и все. Если он устроится под Москвой, то будет получать по 25 р. в месяц.

Из присланных трех рассказов [2], два, конечно, не сгодились, ибо они уже помещены в сборниках; лучше бы Еп. переписал те рассказы, которых у меня нет в книжках. Помнится, в Развлечении есть рассказ, герой которого носит фамилию «Нечистотова» [3]. Напечатан при Насонове. Скажите Еп., что я подписывался еще так: Брат моего брата. Если же ему трудно писать, то ничего не го-

рите. Медиц. свидетельство никому и ни чего не нужно; напрасно только потратился человек на марку.

Будьте здоровы. Крепко жму руку.

Пишите, как и что.

Ваш
А. Чехов.

[1] 11 марта 1899 г. Ежов писал: «Я был у А. Епифанова и поручил ему разыскать в «Развлечении» Ваши рассказы и статьи. Епифанову хуже Если Вы хотите сделать огромное добро этому бедняку,— берите его в Ялту. Пусть эта Ялта и ее небеса озветят жизнь неудачника «улыбкою прощальной».

[2] 17 марта 1899 г. Ежов писал: «Сегодня был у Епифанова, взял у него две тетрадки с вырезками Вашими рассказами из «Развлечения» и шлю их Вам. Два, кажется, бесполезны (п. ч. они у Вас есть), одна — новинка для Вас самих. Епифанов готов ехать хоть завтра в Ялту, но денег у него ни одного обаза».

[3] Чехов имеет в виду свой рассказ «Из огня да в полымя» («Развлечение», 1884, № 37), в котором адвокат носил фамилию Нечистотова; при правке рассказа для собрания сочинений Чехов заменил фамилию на Калякина.

24

4 мая [1899 г.]

Дорогой Николай Михайлович, посылаю Вам письмо, которое я получил от Епифанова. Пожалуста, вместе со свидетельством выдайте ему теперь 15 р., а через 5 дней еще 10 р.; деньги эти можете получить у меня, когда угодно. Я оставил их у себя на столе в конверте, на случай, если Вы меня не застанете. Я бы и сам написал Епифанову, но у меня буквально вертится голова от массы суеты, от массы посетителей, которые толкутся у меня с утра до ночи.

Уеду в пятницу.

Большое Вам спасибо за хлопоты.

Ваш
А. Чехов.

25

Дорогой Николай Михайлович, Епифанов умер третьего дня. Приехал он сюда в состоянии совершенно безнадежного больного, и было бы лучше удержать его в Москве.

За 2—3 дня до его смерти я был у него, он велел Вам кланяться.

Желаю Вам всего хорошего, будьте здоровы.

Ваш
А. Чехов.

25/XI [1899 г.]

26

Спасибо за весточку о себе[1], дорогой Николай Михайлович! В Париже — это весьма возможно — я буду в первой половине августа, и тогда напишу Вам письмо poste restante, подобное этому. Из Парижа поеду на юг Франции. Буду очень и очень рад повидаться с Вами, потолковать, показать Вам Париж, в котором я был уже пять раз и который Вам, по всей вероятности, не понравится, как не нравится всем, попадающим в него впервые. До свиданья! Будьте здоровы и веселы.

Ваш
А. Чехов.

28 июля 900 г.
Ялта.

[1] Имеется ввиду письмо Ежова от 20 июля 1900 г., в котором он извещал о своей поездке заграницу — в Берлин и Париж.

Комментарий *П. С. Попова*

Воспоминания об А. П. Чехове

В 90-х годах в хамовническом доме у моего отца, Л. Н. Толстого, стал бывать худой, высокий, благообразный, молчаливый гость. Это был Антон Павлович Чехов. Помню его внимательное, умное, неулыбающееся лицо, его узкую фигуру и его учтивое, благожелательное отношение к людям. Уже тогда он казался нездоровым человеком: он был худ, и цвет лица его был матово-бледен. Мне казалось, что мускулатура его была слаба: он легко сплетал свои длинные мягкие пальцы, когда клал ногу на ногу.

Осенью 1901 года, когда мой отец жил в Крыму, Антон Павлович стал довольно часто у него бывать, хотя от Ялты, где была дача Чехова, до Гаспры, где жил отец, верст двенадцать. Я несколько раз видел его у отца [2]. Они разговаривали о литературе, о драме, о земельном вопросе. Отец высоко ценил некоторые рассказы Чехова, и высказывал ему это, но его драматические пьесы он не любил. В то время он был занят своей статьей о Шекспире и однажды сказал Антону Павловичу:

— А ваши драмы хуже даже Шекспировских.

По своей скромности Антон Павлович как будто согласился с этим.

Антон Павлович говорил мало, но умело выслушивал мнения Льва Николаевича и выказывал к нему, так сказать, почтительный интерес. Со многими его мыслями он, очевидно, не соглашался, но молчал и никогда не спорил. А Л. Н-ч чувствовал, что Антон Павлович не разделяет его взглядов и вызывал его на спор, но неудачно: А. П. не шел на вызов. Мне кажется, он был симпатичен моему отцу, и отец хотел с ним ближе сойтись, но это ему не удавалось; он чувствовал в нем некоторое молчаливое и скептическое несогласие, и какая-то грань между ними мешала их дальнейшему сближению.

— Он нерелигиозный человек,— говорил отец.

Антон Павлович, мне думается, искренно полюбил Льва Николаевича. Когда отец тяжело заболел воспалением в легких, он сильно встревожился и постоянно по телефону и у врачей справлялся о его здоровьи. Он очень не хотел его смерти. Он говорил мне: «Я бы дежурил по очереди с другими врачами у постели вашего отца, да я сам больной».

Ранней весной 1902 года я был у А. П. на его тихой Аутской даче; он был один, был приветлив, но молчалив. По двору ходил ручной журавль, собака Каштанка приветливо виляла хвостом.

— Эту собаку мне подарили за мой рассказ «Каштанка», сказал он.— Видите, она каштановая, но не я ее назвал Каштанкой.

Он показал мне свой кабинет и свои цветы. Разговор естественно зашел о здоровьи моего отца; в то время оно было очень плохо.

— Скажите мне откровенно, Антон Павлович,— спросил я его,— как врач, думаете ли вы, что отец может выздороветь?

Он мне ответил:

— Ваш отец может выздороветь, но он стар, он очень стар...[1] — Он не договорил и, очевидно, мысленно добавил: «Он долго прожить не может».

Впоследствии я несколько раз вспоминал этот разговор. После этого отец прожил более восьми лет, а Антон Павлович меньше трех лет. Отец переехал в Ясную Поляну и выздоровел, а Антон Павлович переехал в Москву, и здоровье его становилось хуже и хуже.

В январе 1904 года, когда только что началась японская война, я видел А. П-ча в последний раз. В то время в Москве настроение было мрачное: темные тучи нависли над городом; было ветрено, и что-то моросило — шел не то дождь, не то снег; а по рыхлому и грязному уличному снегу толпа ходила

[1] Толстой, Сергей Львович (р. 1863 г.), старший сын Л. Н. Толстого. Композитор и писатель. Листки воспоминаний о А. П. Чехове написаны им вскоре после смерти Антона Павловича.

[2] При двух визитах Чехова к Толстому в ноябре 1901 г. Сергей Львович не присутствовал, потому что 2 ноября выехал из Гаспры. С. Л. Толстой видел Чехова в Гаспре 17 января 1902 г. и, возможно, 31 марта 1902 г.

[1] Коробову Чехов писал о Толстом 2 апреля 1902 г.: «Я был у него третьего дня, и он показался мне выздоравливающим, но очень старым, почти дряхлым».

с портретами царя и криками ура. Был разбит один ресторан и избито несколько студентов.

Антон Павлович незадолго перед тем приехал из Крыма и остановился где-то в Петровских линиях[1]. Я пошел к нему. Вид его был очень болезненный. Он часто кашлял и во время разговора несколько раз уходил в другую комнату, где выплевывал мокроту в стеклянную плоскушку. При нас ему, повидимому, этого не хотелось делать.

Ольга Леонардовна была дома. Я говорил ей: «Антону Павловичу надо бы поскорей ехать на юг, в Москве такая отвратительная погода». Она отвечала: «Да. Мы скоро едем заграницу, но А. П-ч хорошо себя чувствует в Москве».

Я подумал: «Может быть Антону Павловичу приятно быть в Москве: на Аутской даче скучно. Но только на юге А. П. мог бы прожить несколько лет, а теперь — недолго ему остается жить».

Из разговора с А. П. помню, что он сказал про московские демонстрации: «Вот учат народ революцию делать». Потом он сказал: «Со временем русскую историю совсем иначе напишут, совсем не так, как ее писали».

Он так же, как в то время вся наша интеллигенция, верил в грядущую революцию, но он не хотел проигрыша японской войны, он верил в победу русского оружия и желал ее.

По какому-то поводу зашел разговор о Николае II. А. П. сказал:

— Про него неверно говорят, что он больной, глупый, злой. Он просто обыкновенный гвардейский офицер. Я его видел в Крыму. У него здоровый вид, он только немного бледен.

В том же году весной Антон Павлович уехал заграницу в Баденвейлер, где и умер.

Отец мой сильно почувствовал смерть Антона Павловича. Он перечитал его рассказы, рассортировал их по достоинству так, как с своей точки зрения понимал их, написал предисловие к «Душечке» и причислил некоторые рассказы к первому сорту, некоторые — ко второму, а самого Чехова к большим писателям. Д. П. Маковицкий записал этот список[2]. К первому сорту относятся: «Детвора», «Хористка», «Драма», «Дома», «Тоска», «Беглец», «В суде», «Ванька», «Дамы», «Злоумышленник», «Мальчики», «Темнота», «Спать хочется», «Супруги», «Душечка».

Ко второму сорту относятся: «Беззаконие», «Ведьма», «Верочка», «На чужбине», «Кухарка женится», «Каштель», «Переполох», «Ну, публика!», «Маска», «Женское счастье», «Нервы», «Свадьба», «Беззащитное существо», «Бабы».

Как видно из этого перечня, Л. Н. квалифицировал только небольшое число чеховских рассказов, сравнительно ранних. Не знаю, почему этим ограничилась его квалификация. Может быть, потому, что у него не было под рукой других рассказов Чехова или потому, что он был отвлечен другими работами. Он много читал Чехова, и я помню его отзывы о некоторых рассказах, не вошедших в список Маковицкого. Он говорил про «Степь»: прекрасное описание, но отношение автора к описываемому неясно. В «Мужиках» ему не понравились выведенные Чеховым отрицательные типы. Отец говорил: «Да его мужики — не настоящие мужики». Помню, что «Палата № 6» и «Черный монах» произвели на него сильное впечатление, что он заразительно смеялся, читая вслух «Драму», «Налима» и «Злоумышленника». «Душечку» он читал своим гостям вслух три раза, и, как известно, поместил этот рассказ в «Круг чтения».

В общем он говорил, что Чехов — большой художник, что им выработана своеобразная литературная форма, что сам он не сумел бы так писать, и понятно, что его ценят не только в России, но и заграницей.

— А все-таки,— с сожалением говорил он,— Чехов сам не знает, что хочет сказать своими рассказами. Он нерелигиозный человек.

Год спустя после смерти Чехова, я познакомился с приехавшим в Москву доктором Шверером, заведывавшим баденвейлеровским курортом, умным и уважаемым врачом. Он был женат на русской (Живаго). Он лечил Чехова и присутствовал при его кончине. Он мне говорил, что А. П. был на редкость покорный, добронравный и некапризный больной. Он искренне полюбил его. Смерть пришла к нему быстро; агонии не было...

---

[1] Чехов жил на Петровке в доме Коровина.

[2] Перечень этот с этой классификацией мы находим в письме И. Л. Толстого к Чехову от 25 мая 1903 г. («Записки отдела рукописей» Всесоюзной библиотеки им. Ленина вып. 8, 1941, стр. 71); он совпадает с перечнем, приведенным Д. П. Маковицким («Яснополянские записки», вып. 2, стр. 30). Составлен был список Толстым до смерти Чехова.

Победа

Полнозвучное чудо — людская речь,
Половодьем шумит она сквозь века.
Может горы сдвигать, может сердце жечь,
Быть нежнее цветка и острей клинка.

Путь от сердца до неба привычно прост.
Вновь мечта в облаках мне гнездо совьет.
Сколько блеска и бесценной россыпи звезд,
И у каждой свой отсвет и свой полет.

Нет, не звездным сиянием я объят,
Но звучаньем горячей речи людской.
Есть такие слова, что звездой горят,
Излучая смятение и покой.

Есть в божественной речи слово *любовь*,
Непорочнее горного родника.
Это слово рождается вновь и вновь,
Нет желаннее слова во все века!

Только лишь улыбнется любовь-весна,
И желания крепнут, силы растут.
На геройство тебя вдохновит она
И на медленный, на каждодневный труд.

Ни сомнений, ни зависти, ни тоски
Не изведает любящий человек,
И года и невзгоды ему легки,
Если сердцу он верен навек, навек...

И ты, слово *родина*, в душу вошло.
Как ты хороша, ненаглядная мать!
Нам только с тобою тепло и светло.
Тебя потерять — как себя потерять.

Дыханье твое — вдохновенье труда,
О родина счастья, любви и весны!
Во имя твое и во славу всегда
Со славой великою жить мы должны.

А слово *победа* — основа основ!
Нам знамя ее, как поутру заря.
И в подвигах неустрашимых сынов
Кровь родины крепнет, все жарче горя.

Нас каждое утро все громче зовет,
И близкое счастье все дальше манит,
И сердце торопит вперед и вперед...
Не я говорю это,— жизнь говорит.

Живет Семандар [1] в смертоносном огне,
И только в огне ей привольно дышать.
Есть в Азербайджане, в горячей стране,
Легенда, гласящая: жить — побеждать!

О сердце победы! В биенье твоем
Сливаются вольных народов сердца.
Мы в подвигах наших героев живем,
В сказаньях, которым не будет конца.

Победа! Взвивается знамя твое,
Чтобы мучить отчизну враги не могли.
Живем для нее и умрем за нее,
Победа! Ты сила и слава земли.

Перевод с азербайджанского М. Петровых

---

[1] Семандар — птица народных легенд Азербайджана.

АЛЕКСАНДР ЛИСИН

Городок

Погрузка кончена. Горнист
Играет: «По ва-го-нам!..»
Прощаясь, вьется желтый лист
Над каменным перроном.

Сейчас расколет высь гудок,
Нахлынут расстоянья,
И прифронтовый городок
Уйдет в воспоминанья.

Уйдет — кирпичный, избяной,
Совсем не величавый,
С ветвями лип вдоль мостовой
И с церковью двуглавой.

Но почему же дорогим
Его мы называем?
С подножек на него глядим,
Глядим, запоминаем.

Окно с резьбой, и на окне
Цветы в горшочках глиняных,
Фасад в тесовой белизне,
Клочок афиши на стене
И тротуары длинные.

Да, этот городок нам мил,
Любому трижды дорог:
Он в марте нам девизом был —
Старинный русский город.

К нему сквозь полые снега
Мы пробивались с боем,
Тесня упрямого врага
Всей силой штурмовою.

Бинокли брали и сквозь даль
Нам в час такой казалось,
Что видим тихих стен печаль
И слышим стон вокзала...

Нам паровозные гудки
Через леса кричали,
И мы на утро шли в штыки
И немца дальше гнали.

Прощай, прощай!.. В далекий путь
Сегодня отбываем.
Но тех, кто жизнь тебе вернуть
Сумел, не забывай их.

Мы ж в кочевой своей судьбе,
Гордясь тобой по праву,
Все будем помнить о тебе,
Как о начале славы.

А. ВОЗНЯК

После дождя

Полнеба вдруг заволокло,
И, словно водопад по кручам,
Орудиям врага назло
Ударил гром из черной тучи.
Слепящей молнии клинок
С казачьей лихостью взметнулся,
В воронке полевой цветок
От влаги чуть не захлебнулся.
С зеленых касок по штыкам
Стекали капли дождевые.

Земля, прилипшая к рукам,
Хранила шорохи живые...
Над полем стлалась тишина,
Рыбацкими казались сети,
И только бабочка одна
Сидела робко на лафете.
Но все на место стало вмиг —
Поля и небо голубое.
Сверкающий на солнце штык
Напомнил о грядущем бое.

ДОЛОРЕС ИБАРРУРИ

Испанские пособники гитлеровского разбоя

Сокрушительные удары, которые Красная Армия непрерывно наносит немецко-фашистским войскам, создали благоприятные условия для окончательного разгрома гитлеровской Германии.

По мере того как развертывание военных действий великой демократической коалиции все более сокращает источники снабжения Германии и приближает час решительных боев, франкистская Испания, которая официально именуется «нейтральной» страной, приобретает для Гитлера все большее значение.

В толковом словаре испанского языка слово «нейтральный» объясняется следующим образом: тот, кто не принадлежит ни к одной из сторон.

Можно ли применить это определение к позиции, занимаемой фашистской Испанией? Ответом на это будут слова и дела ее правителей.

Будучи министром иностранных дел, фашистский главарь Серрано Суньер в мае 1942 года заявил, что «между Испанией и Германией существует не только духовная общность, но и теснейшее единство, а также общность судеб».

Франко говорил с еще большей ясностью: «Если бы путь в Берлин был открыт,— заявил он главе португальского правительства весной 1942 года,— не одна дивизия, а целый миллион испанцев защищал бы Берлин».

Ясно таким образом, что франкистская Испания, откровенно и недвусмысленно заявившая, что она стоит на стороне гитлеровской Германии, на стороне агрессора, не может быть нейтральной в истинном смысле этого слова. Фактически же Испания является воюющей стороной; она участвует в войне на стороне Гитлера своими солдатами, своими рабочими, сырьем крупного военно-стратегического значения. Она служит агентурой Гитлера во всех странах мира, где у нее есть дипломатические торговые представительства, и, кроме того, она объявила себя солидарной с гитлеровской Германией.

Но нас интересует не столько официальные заявления Франко и его прислужников об участии в войне или о нейтралитете, сколько то, кому они служат и чьи интересы отстаивают своей так называемой «политикой не воюющей страны» или пресловутым «нейтралитетом»?

Чтобы не допустить ошибок в разрешении этого вопроса, надо прежде всего вспомнить происхождение нынешнего испанского режима.

Поражение испанского народа после войны за свободу и демократию, продолжавшейся с 1936 до 1939 года, привело к установлению в Испании, при непосредственной помощи Гитлера, фашистского режима.

Испанский фашистский режим, именующий себя фалангистским режимом, ввел в стране жесточайший террор, который по своей дикости превзошел самые черные времена инквизиции.

Во главе фалангистской клики немцы поставили честолюбивого и лицемерного генерала Франко, чья военная карьера отмечена дикими жестокостями, с какими он в свое время подавил сопротивление африканских кабилов в Испанском Марокко.

Когда Берлин организовал фашистский мятеж в Испании, гитлеровцы рассчитывали не на Франко, а на другого генерала — на генерала Санхурхо.

Однако генерал Санхурхо не захотел принять условий, поставленных Гитлером, и гитлеровцы ловко устранили этого генерала, устроив поджог самолета, на котором Санхурхо направился в Испанию накануне того самого дня, когда был назначен мятеж.

С 1936 года деятельность Франко и испанских фашистов была целиком направлена на служение интересам гитлеровской Германии.

Франкистская Испания не могла и не может остаться в стороне в то время как гитлеровская Германия воюет. Ведь Франко и фаланга были поставлены Гитлером у власти именно для того, чтобы Германия могла в любой момент воспользоваться их услугами.

Было бы слишком наивно думать, что Франко может проводить самостоятельную политику,— это значило бы, что Гитлер просто упустил ценную добычу, чему никто не поверит ни в самой Испании, ни за ее пределами.

Испания была крупной фигурой на шахматной доске Гитлера.

Гитлер со всей циничностью заявил в Нюренберге в 1936 году: «Нам не безразличен испанский вопрос, и мы поможем испанским националистам бороться до победы».

Мюнхенцы предоставили Гитлеру свободу действий в Испании, они предпочли закрыть глаза на действительность и тогда, когда немецкая газета «Националь цейтунг» (в июне 1938 года) писала: «На западе Европы за ту сторону Пиренеев возникло национальное государство, союзник оси Рим — Берлин. Это государство является богатейшим в Европе в отношении сырья, необходимого для современной войны».

В этих словах была часть правды о гитлеровской интервенции в Испании. Но еще не вся правда.

О каком сырье, которое имелось в Испании и которое нужно было Германии, говорили германские фашисты?

Это железная руда в стране басков, запасы которой исчисляются в шестьдесят миллионов тонн, не считая залежей в Сантандере, Астурии, Леоне, Уэльве, Мурсии, Альмерии, Арагоне, Гвадалахаре и Марокко.

Это — богатейшие месторождения меди в Уэльве и знаменитые рудники в Рио Тинто, дающие 3 миллиона тонн медной руды ежегодно.

Это — альмаденская ртуть, по добыче которой Испания занимает первое место в мире.

Это — свинец, добываемый в Линаресе, и Реньярройе в количестве трехсот с лишним тысяч тонн. По добыче этого металла Испания одно время занимала первое место в мире.

Это — цинк и олово в Сантандере, кобальт и никель в Арагоне и весьма ценный вольфрам в Галисии.

После поражения испанской республики значительная часть этих богатств, имеющих военное значение, находится в распоряжении Германии и питает гитлеровскую военную машину.

Но вся правда о мотивах гитлеровской интервенции раскрывается при рассмотрении географического положения Испании, весьма выгодного в стратегическом отношении: границы и побережье ее обращены в стороны самых удобных международных коммуникаций.

В «Военной географии Испании», изданной в 1936 году говорится:

«В рядах этих международных сообщений Испанию ограничивают:

Параллель внутренних французских коммуникаций между Аквитанским бассейном и областью Средиземного моря, от какового коридора ее отделяют Пиренеи.

Параллель, по которой проходит торговый путь, соединяющий Гибралтар с Суэцким каналом, с одной стороны, и Гибралтар с Испанским каналом или Нью-Йорком, с другой стороны.

Торговый меридиан, который идет по пути межконтинентальных сообщений между Францией и Алжиром.

Меридиан, идущий по торговому пути из Центральной и Западной Европы в Южную Америку или на мыс Доброй Надежды.

Испания является также историческим континентальным путем, соединяющим Европу с Африкой. Эта ее роль в будущем еще более возрастет благодаря воздушным сообщениям с Африкой или через побережье Испании — с Америкой».

Таким образом организацией фашистского мятежа в 1936 году и своей интервенцией в Испании Гитлеру удалось не только уничтожить испанский демократический строй, но и расположиться в тылу у Франции с юга, угрожать перевозкам французских войск в метрополию из Северной Африки, приблизиться к Гибралтарскому проливу, чтобы поставить под угрозу английские морские коммуникации, ведущие на Восток, господствовать над Атлантическими путями и, опираясь на испанское побережье, расположиться на перекрестке важнейших морских и воздушных коммуникаций, обрести трамплин для прыжка в Америку.

Если бы кто-либо в этом усомнился, такие сомнения были бы опровергнуты докладом бывшего начальника германского генерального штаба генерала Рейхенау в 1938 году на собрании национал-социалистских главарей, по вопросу о значении гитлеровской интервенции в Испании.

«Было бы ошибкой,— заявил он,— считать, что война в Испании является второстепенной войной. Испания многому нас научила. Благодаря опыту, приобретенному в Испании, мы исправили некоторые ошибки нашей военной стратегии.

Интервенция в Испании,— продолжал генерал Рейхенау,— явилась не только превосходной военной школой, но и представляет прекрасную политику. Она была в самом категорическом смысле тщательной и систематической подготовкой войны, проникновением в лагерь противника, в систему его позиций морских и наземных коммуникаций, на его торговые пути, одним словом, туда, где он располагает силами, которые надо учесть в случае столкновения.

Такое государство, как германское, у которого нет возможности непосредственно приобрести опорные базы, должно заполнить эту пустоту своей политикой союзов. Именно так мы и действовали, поддерживая генерала Франко, и таким образом сумели расположиться на жизненных стратегических линиях Франции и Англии.

В этом состоит главнейшее значение нашей интервенции в Испании.

Можно констатировать, что благодаря нашим позициям в Испании мы находимся в выгодном положении и господствуем над жизненно важными пунктами в этом стратегическом районе».

Ясно, таким образом, что война затеянная испанскими фашистами в июле 1936 года, не была «внутренним испанским делом», как ее старались изобразить мюнхенские «умиротворители», она не была также войной против коммунизма. Она представляла собою не что иное, как первый акт к войне Германии за мировое господство. Франко и фаланга служат не Испании, а Гитлеру.

С гениальной прозорливостью товарищ Сталин в своей исторической телеграмме на имя секретаря коммунистической партии Испании в октябре 1936 года вскрыл подлинный характер испанских событий.

«...Освобождение Испании от гнета фашистских реакционеров,— писал Сталин в этой телеграмме,— не есть частное дело испанцев, а — общее дело всего передового и прогрессивного человечества».

Честные демократы во всем мире, опасавшиеся угрозы мировой войны, надеялись, что западноевропейские демократические державы, заинтересованные в охране своей собственной безопасности, помогут республиканской Испании.

К несчастью для Испании, для Европы и для всего мира, мюнхенские «умиротворители» решили действовать иначе. Своей политикой «невмешательства» они помогли Гитлеру обезглавить испанскую демократию, благодаря им Гитлер расположился в жизненно важных стратегических пунктах, и начал под-

готовку к следующему этапу войны за «мировое господство».

Почему франкистская Испания, фактически ставшая вассалом Берлина, все же не вступила в 1939 году в войну на стороне Гитлера?

Она этого не сделала потому, что в сентябре 1939 года Гитлер не был заинтересован во вступлении Испании в войну: он уже владел пиренейской границей, он уже обладал монополией на основные виды испанского сырья; к тому же прошло слишком мало времени после окончания войны в Испании, и вооружение испанского народа для вступления в европейскую войну представлялось ему слишком опасной затеей.

С согласия Берлина официальная Испания объявила строжайший «нейтралитет». Это было совершенно логично и соответствовало расчетам Гитлера.

С военной точки зрения участие Испании в войне в начале гитлеровской агрессии в Европе не имело бы для Германии существенного значения. Между тем нейтральная Испания или Испания, не участвующая в войне, была лучшим деловым агентом, средством провокации и помощи, которым Гитлер мог располагать, особенно в своих отношениях с американскими странами.

Разрыв между американскими странами и гитлеровской Германией не вызвал серьезных затруднений для Гитлера. С помощью Испании он продолжал получать необходимое сырье из Латинской Америки, нефть из Венецуэлы, селитру из Чили, пшеницу и мясо из Аргентины, сахар с Кубы. Германия продолжала получать через Испанию и на испанских судах целый ряд необходимых материалов, которые она ранее закупала в Америке. Для продолжения своей шпионской и провокационной деятельности в Америке Гитлер пользовался и пользуется услугами франкистских дипломатических миссий и консульств.

Гитлер превосходно обеспечил себя с помощью своего испанского лакея. А гитлеровские агенты в сообществе с Франко и фалангой забрались в закрома испанской экономики. Гитлер вывозил из Испании все, что только было возможно.

Главнейшие отрасли испанской промышленности попали в прямую или косвенную зависимость от германских торговых и промышленных фирм.

«Экспорт из Испании в Германию,— пишет немец Карл Флейшер,— вначале осуществлялся испано-марокканской фирмой «Исма». Эта фирма экспортировала минералы, оливковое масло, кожу, шерсть, пробку, орехи и консервы. Расчеты совершались на основе клиринга.

Долг Франко Германии был весьма значительным. Военные материалы, получаемые им из Германии, были очень дороги: германские промышленники, владельцы военных заводов драли беспощадно. Германские финансовые круги настаивали на увеличении испанского экспорта.

Гитлер дал понять Франко, что он заинтересован в увеличении испанского экспорта через собственные организации. Франко вынужден был согласиться. В Испании были созданы шесть испано-германских импортных обществ. Акции этих обществ распределялись между Испанией и Германией в «равной» пропорции. Испания вносила свою часть акционерного капитала в песетах наличными в то время как доля Германии шла за счет испанской задолженности по поставкам военных материалов.

Скромные с виду импортные фирмы стали орудием империалистической политики монополистических финансовых кругов, скрывавшихся за германскими государственными хозяйственными организациями. Свежеиспеченные акционерные общества не замедлили превратиться в центры сбора статистических материалов об испанской экономике, в которую немцы проникали все глубже, изменяя ее структуру в своих интересах.

В соответствии с германскими интересами в Испании были созданы так называемые «хунты по регулированию», которые приступили к «руководству» испанским хозяйством.

В качестве наблюдателей в Испанию были отправлены экономические эксперты, которые устанавливали максимальные цены на товары, закупаемые в Испании. Таким образом, испанский экспорт в Германию, стимулируемый германскими правительственными органами, всячески увеличивался и реализовался монопольно группой избранных германских импортеров.

Испания фактически стала страной, зависимой от Германии. Недавно получившие огласку, новые хотя и менее важные факты также подтверждают вассальную зависимость испанского государства от Гитлера.

Не довольствуясь передачей испанских ресурсов в распоряжение Берлина, испанское правительство в начале нынешнего года предоставило Гитлеру кредит в сумме четырехста миллионов песет для покрытия гитлеровских закупок в Испании.

Еще более значительной является скандальная сделка с покупкой у германского правительства пятисот тысяч бутылок французских шипучих вин, которые Франко оплачивает валютой, заключенная в марте 1944 года.

Как могло случиться, что в условиях нищеты, царящей в Испании, когда не вывозятся собственные запасы вина из внутренних районов страны, правительство покупает полмиллиона бутылок французских шампанских вин?

Это объясняется очень просто: впервые после 1939 года Англия закупила в Испании значительную часть урожая апельсинов. Англия платит наличными, и при том фунтами стерлингов, Гитлеру же нужна валюта. Таким образом, Франко одной рукой получает фунты стерлингов, уплачиваемые Англией за апельсины, а другой передает их Гитлеру в уплату за шампанское, которое гитлеровские агенты наворовали во Франции.

Испанские консервативные деловые круги, которые рассчитывали, что с приходом к власти Франко они станут хозяевами страны, оказались фактически зависимыми от германского капитала.

Проникновение гитлеризма в Испанию, подчинение ему испанской экономики разорило хозяйство страны, привело народ к ужасной нищете, невиданной в Испании. Несмотря на то, что в обычных условиях испанский урожай пшеницы был более чем достаточным для удовлетворения национальных нужд, в условиях франкизма хлебный паек, выдаваемый трудящимся, является самым ни-

ким в Европе. Испанские рабочие получают от ста до двухсот граммов хлеба, а порою их лишают и этого. Между тем Аргентина систематически экспортирует в Испанию большое количество пшеницы, закупаемой испанским правительством. Но большая часть зерна вывозится в Германию.

То же происходит и с растительным маслом, которое наряду с хлебом является основным продуктом питания народных слоев.

Растительное масло стало предметом роскоши для большинства населения страны. Оно экспортируется в Германию и используется там в качестве смазочного масла для авиационных моторов.

Жизненный уровень испанского народа упал так низко, что, как говорит американский журналист Гамильтон:

«Понадобился бы второй Данте, чтобы описать бедственное положение неимущего населения Испании».

У крестьян отнимают продукты и отсылают их в Германию, фабрикантов и коммерсантов, не подчиняющихся фалангистским требованиям, методически и беспощадно подвергают разорению.

Зарплата осталась на уровне 1936 года, между тем как прожиточный бюджет повысился с тех пор более, чем на 400%. Почти целый миллион жителей не имеет крова, а десятки тысяч рабочих, не имеющих работы, голодные и оборванные бродят по дорогам фалангистской Испании.

У крестьян отбирается урожай. Фабриканты вынуждены производить то, что им прикажут гитлеровские лакеи фалангисты, а не то, что требуют их интересы. Торговцы стонут под тяжестью поборов и налогов. Военные круги подавлены господством гитлеровских агентов в испанской армии. Трудящиеся массы, страстно ненавидящие гнусных фалангистских лакеев, оказывают с каждым днем все большее сопротивление. Оппозиция против франкистского режима растет с каждым днем.

Вероломное нападение гитлеровской Германии на Советский Союз подбодрило фалангистскую клику, которая усмотрела в нем возможность поднять дух своих сторонников, разочаровавшихся вследствие разрухи и нищеты, царящих в Испании.

Кровавой оргией отметили фалангисты гитлеровское нападение на Советский Союз.

Двадцать второго июня 1941 года в Испании были казнены наряду с десятками антифашистов три коммунистических депутата и многие военные командиры и областные работники компартии Испании.

Франко был уверен, что война против Советского Союза закончится быстро. Он хотел сыграть такую же роль, какую Муссолини играл в отношении Франции. С этой целью он прилагал огромные усилия, к тому, чтобы Испания вступила в войну на стороне Гитлера. Лакею недостаточно было чистить сапоги своему господину. Он задумал вместе с хозяином принять участие в военном разбое, чтобы затем предъявить право на часть добычи.

Фаланга провозгласила «крестовый поход против коммунизма». Ценой огромных усилий ей удалось сформировать свою «голубую дивизию» из деклассированных элементов и фалангистских молодчиков, которые стремились сделать карьеру на службе у Гитлера.

Разочаровавшись во франкистском режиме, не принесшем им ожидаемого расцвета, и не веря более в возможность его сохранения в случае поражения Гитлера, значительные деловые консервативные круги отказываются поддерживать Франко и переходят в оппозицию к нему. Каждое новое поражение Гитлера делает эту оппозицию все более открытой.

Столкновения между фалангистами, сторонниками войны, и силами, выступающими против войны, приняли довольно резкие формы. В частности имели место стычки между военными и фалангистами. Они завершились покушением на жизнь военного министра генерала Варела, в одной из церквей Бильбао в августе 1942 года. Это покушение было совершено фалангистами и, по иностранным сообщениям, в результате взрыва оказалось более двухсот убитых и раненых.

После этого покушения представители двух противостоящих тенденций: Серрано Суньер, полностью находящийся на службе у Берлина, и генерал Варела, монархист,— вышли из состава франкистского правительства.

Но изменения, происшедшие в составе испанского правительства, не означали перемены внешней политики Франко.

Новые контингенты солдат отправлялись в «голубую дивизию». Новые поезда с рабочими для немецкой промышленности отправлялись в Германию. Новые поезда с грузами продовольствия и сырья пересекали испанскую границу, направляясь в Берлин.

Весна и лето 1942 года были периодом исключительно острой угрозы вовлечения Испании в войну. Фалангистская печать выступала с провокационными заявлениями, с требованиями предоставить Испании права в Африке, с заявлениями о единстве на Пиренейском полуострове и о возрождении «Великой Испании» Филиппа Второго.

Эти провокационные фалангистские заявления не преминули встретить отзвук в Португалии, которая видела в них угрозу, ибо во времена Филиппа Второго Португалия была покорена Испанией.

Стремясь устранить угрозу, глава португальского правительства посетил Франко. О чем шла речь во время этой встречи, в печати не сообщали. Опубликовано было лишь несколько пышных фраз, в которых Франко еще раз выразил свою преданность Гитлеру.

В 1942 году Франко издал декрет о милитаризации молодежи и о призыве в армию нескольких возрастов. Фалангистские студенты превратились в запасных офицеров армии. Гарнизоны в Марокко и на юге Испании были усилены. Приводились в готовность аэродромы, ремонтировались шоссейные и другие стратегические дороги. Испания в нарушение международных договоров захватила Танжер, фалангисты маршировали по улицам Мадрида и других испанских городов, требуя возврата Испании Гибралтара, Орана и Алжира. Они бросали камни в окна английских и американских посольств и консульств. Они искали предлога для вступления в войну. В испанском Марокко, на пиренейской границе, на юге Испании и на португальской границе немецкие агенты были полными хозяевами. Од-

нако Франко, как говорит испанская пословица, «собрался жениться, но не успел оглянуться, как остался без невесты».

Военные планы Франко и фаланги пошли прахом, когда на советском фронте начался закат гитлеровской армии, когда Красная Армия подорвала германскую военную мощь, когда Сталинград, который фаланга заживо похоронила, превратился в могилу для гитлеровских отборных дивизий.

Высадка союзников в Африке также была для франкистской Испании новым чувствительным ударом, который способствовал ликвидации фалангистских иллюзий насчет возможности победы Гитлера.

До Сталинграда испанские газеты были копией немецких. В испанской печати тогда всячески восхваляли тоталитаризм (фашизм), и сам Франко в своей речи в июле 1942 года заявил, что демократия и либерализм потерпели крах, что тоталитаризм (фашизм) является-де единственным режимом, способным возвеличить народы, привести их к расцвету и что он де весьма гордится тем, что Испания с 1936 года следует по этому пути.

Военные события осени 1942 года заставили гитлеровского лакея в Испании искать новых путей, чтобы легче и лучше служить своим берлинским хозяевам.

Франко «вспомнил», что несколько месяцев тому назад его посетил глава португальского правительства, и он решил «нанести ответный визит». Предварительно он послал в Португалию своего министра иностранных дел генерала Хордана с предложением подписать «Иберийский пакт», который обеспечил бы безопасность Пиренейского полуострова. Идея подписания этого пакта родилась, несомненно, не в Испании, а в Берлине.

Высадка союзников в Африке продемонстрировала Гитлеру, что он не может делать все, что ему хочется, на Средиземном море и в других районах.

Гитлеру понадобилось обеспечить нейтралитет Португалии, чтобы заручиться свободой действий на Пиренейской границе, гарантировать источник испанского сырья, ибо для Гитлера не было секретом, что Португалия, открыто встав на сторону союзников, сможет представить серьезную угрозу для Испании. Вот в чем одна из главнейших причин подписания «Иберийского пакта» между Португалией и франкистской Испанией, пакта, вокруг которого было столько шума среди реакционных кругов во всем мире.

Проигранные сражения на фронтах Гитлер стремился возместить услугами своих испанских холопов.

Весной прошлого года Франко, с согласия Берлина, решил поручить генералу Хордана позондировать почву насчет возможности заключения мира между Германией, Англией и США. Когда заявления Хордана не встретили у союзных правительств ничего, кроме презрения, Франко лично выступил в качестве мирного посредника под тем предлогом, «что война, мол, зашла в тупик и что ни у одной из воюющих сторон нет сил для уничтожения своего противника».

Эти «мирные предложения» Франко, внесенные как раз в момент решающего поворота в войне в пользу союзников, дали повод общественному мнению демократического лагеря самым решительным образом реагировать против Испании и подчеркнуть сходство испанской и берлинской пропаганды.

Отвечая на франкистские «мирные предложения», лондонская газета «Ньюс-Кроникл» 14 мая прошлого года писала: «Генерал Франко, охарактеризованный несколько дней тому назад как платный агент фашизма, дрожит от страха, видя как война поворачивается против его друзей. Желая положить ей конец, он пытается завести ее в тупик. Но по мере того как союзники продвигаются вперед, положение самого Франко становится все более затруднительным. И можно утверждать, что если после разгрома стран оси союзники не поддержат Франко, его падение будет лишь вопросом времени».

Крах итальянского фашизма был для испанских фашистов тяжким ударом. Они почувствовали, что пожар приближается и к их дому. На следующий день после того, как в Испании стало известно о перемене режима в Италии, секретарь фаланги, обращаясь по радио к населению Испании, заявил: «Падение итальянского фашизма вызывает глубокое сожаление, но нисколько не затрагивает Испанию, ибо Испания не была связана с фашистской Италией. Допустили ошибку те, кто утверждал, что испанское государство есть государство тоталитарное. Фаланга не является фашистской партией и не борется за тоталитаризм, она борется за объединение («унитаризм»). Испания является «унитарной», а не тоталитарной».

Это стремление отрицать тоталитарное, фашистское происхождение и содержание фаланги, чтобы и впредь выполнять роль, которую навязал Испании Гитлер, еще резче проявляется после исторических Московской и Тегеранской конференций.

Официозный орган Франко, мадридская газета «Эль Эспаньол», писала: «Несправедливо делить нации на тоталитарные и демократические»; «естественным во время войны является подразделить их на воюющие или нейтральные страны, а Испания является нейтральной страной».

Но тот факт, что Испания не нейтральна, признают даже самые консервативные круги, отдающие себе отчет об угрозе, которую представляет для Испании продолжение франкистской политики.

Католик Хиль Роблес, бывший глава испанского правительства, руководивший подавлением народного восстания в Астурии в 1934 году и покинувший Испанию в 1936 году, ввиду своего несогласия со вмешательством немцев в дела Испании, обратился к военному министру генералу Асенсио с письмом, в котором этот бывший руководитель испанских консерваторов приходит к выводу, что необходимо изменить нынешний фалангистский режим, так как дальнейшее его существование приведет Испанию к катастрофе.

«Официальная Испания,— писал Хиль Роблес,— солидарна в своей позиции со странами оси. Поскольку они проиграли войну, Испания, сохраняя свою нынешнюю политическую позицию к моменту заключения мира, окажется среди побежденных. Все диктаторы, как крупные, так и мелкие, находившиеся в тоталитарной орбите, будут уничтожены местью народа. Было бы глупо предполагать, что, когда сметут с лица земли диктатуры и их сторонников, диктаторский режим такого

лица, как Франко будет пользоваться уважением, как нечто привилегированное».

Этот руководитель испанских правых кругов продолжает:

«Кое-кто заявляет, что тогда на поверхность всплывет армия. Стоит трезво рассмотреть этот вопрос. Даже если учесть официальное единство армии, кто может в момент мирового потрясения и неизбежных осложнений в сфере внешней политики отвечать за действия солдат? Немалая часть этих солдат пришла с заводов и фабрик или происходит из семей, где царят ненависть и жажда мести».

Призывая армию к выступлению против фалангизма, Хиль Роблес добавляет:

«Одна лишь армия может разрешить вопрос самым простым образом, с наименьшей опасностью и без кровопролития. Она одна может удержать страну от деморализующих эксцессов и разгула мести. Вызвать раскол в армии,— заявляет Хиль Роблес,— было бы весьма опасно. Но еще опаснее сохранять нынешнее состояние родины, подвергая ее невиданному в истории страны риску».

* *

Решительная позиция, занятая Советским Союзом перед лицом лживой игры Франко, который обещал Англии увести с фронта «голубую дивизию», сорвала с франкистской Испании маску лживого нейтралитета и показала всему миру предательский облик гитлеровского лакея Франко.

Разве в других странах не было известно, какую помощь оказывали Гитлеру фалангисты? Совершенно очевидно, что это было известно. Стоило Совинформбюро на основе показаний испанских солдат, взятых в плен на Ленинградском фронте, разоблачить игру фаланги, как вся мировая печать заговорила об участии Франко в войне и о преступной роли, которую Испания играет по отношению к объединенным нациям.

Раньше об этом не говорили не потому, что не знали, а потому, что, к сожалению, есть еще люди, намеревающиеся спасти Франко, переодев в другую ливрею этого гитлеровского лакея, называемого в насмешку «христианским диктатором».

Гитлер избрал Франко своим доверенным лицом потому, что среди испанских военных Франко, благодаря своему бесстыдству, был наиболее подходящим слугой для выполнения гнусных гитлеровских приказаний.

Было бы ошибкой полагать, что опорой гитлеризма в Испании является один лишь Франко. Этой опорой служат все фалангистские главари, крупные промышленники, которые обогатились, сотрудничая с Гитлером.

Недавно, когда англичане и американцы обсуждали с испанским правительством вопросы экспорта вольфрама и поставки нефти в Испанию, фалангистский министр промышленности и торговли Карсельер заявил корреспонденту американской газеты «Нью-Йорк Геральд Трибюн», что, по его мнению, до тех пор, пока Германия борется против Советского Союза, Испания не перейдет на сторону объединенных наций, потому что Испания не только связана с Германией в финансовом отношении, но имеет также долг чести перед Гитлером за помощь во время испанской войны». Он при этом добавил, что никогда не согласится на абсолютное прекращение поставок вольфрама в Германию.

Но особый интерес представляет в этом многозначительном заявлении Карсельера его утверждение, содержащее прямую угрозу союзникам: он говорит, что немецкие войска стоят на Пиренеях и что Испания поэтому не может проводить самостоятельную политику.

Я думаю, что не ошибаюсь, расценивая это как угрозу по адресу союзников, ибо заявления фалангистского министра тесно связано с шумом, поднятым ныне в фалангистской печати, которая ведет пропаганду в двух направлениях: с одной стороны она настойчиво предлагает свое мирное посредничество, а с другой стороны, цинично утверждает, что союзники хотят сорвать нейтралитет Испании.

Какие цели преследует фаланга этой двурушнической лживой пропагандой? Фаланга стремится таким образом создать атмосферу для возможной оккупации Испании немцами под тем предлогом, что существует якобы угроза со стороны союзников.

Наряду с этим, в своей мирной пропаганде она преследует ту же цель, что и прошлой весной, она старается спасти своего «хозяина» от окончательной катастрофы.

И действительно прискорбно, что некоторые круги, зная лицемерие Франко и его зависимость от Гитлера, считают успехом подписание недавнего соглашения между союзными державами и франкистским правительством. Я уверена, что испанский народ придерживается иного мнения. Испанский народ, знающий ненависть Франко к демократии, чувствует себя глубоко уязвленным политикой терпимости и попустительства, которые до сих пор проводятся по отношению к Франко

И вполне прав американский радиообозреватель Суинг, который сказал, что «это соглашение укрепило позицию Франко и дает ему шубу, под которой он сможет укрыться от ледяной стужи восстания теперь или после войны».

То, что недавно заключенное соглашение является новой уступкой генералу Франко, подтверждает радость, охватившая фалангистов.

Но последнее слово скажет испанский народ.

Испанский же народ считает, что сообщник и лакей должен понести ту же кару за совершенные преступления, что и его хозяин. Разгром гитлеризма должен сопровождаться свержением франкизма, или вернее, гибель франкизма должна произойти раньше.

Свергнуть франкизм и сделать это как можно скорее — такова насущная необходимость, диктуемая не только интересами Испании, но и интересами объединенных демократических наций.

Если франкизм в той или иной форме переживет гитлеризм, то это будет означать, что гитлеризм не уничтожен.

Свергнуть франкистский режим Испании значит облегчить объединенным демократическим странам достижение победы над гитлеровской Германией. Это значит помочь им в великом деле реконструкции и возрождения политической, экономической, культурной и демократической жизни во всех странах Европы после войны.

Те, кто пытается облегчить Франко разре-

шение внутренних проблем Испании, глубоко ошибаются. Помогать Франко значит помогать Гитлеру, значит предоставлять оружие для защиты врагу, которого желают уничтожить.

Объединенные нации заинтересованы в том, чтобы оказать помощь испанскому народу в его борьбе против Франко, который делается все более важной опорой для Гитлера, по мере того как победы союзников сужают источники снабжения гитлеровской Германии.

Это со всей ясностью подтверждает экспорт испанского вольфрама и целого ряда других видов жизненно важного для Гитлера сырья, которое он может получать только из Испании или при посредстве Испании.

Испанский народ знает, что режим Франко не падет сам собой. Испанский народ сознает, что свержение франкизма можно осуществить со всей полнотой и глубиной лишь на основе освободительной борьбы и путем ее координации с общей борьбой союзных стран против гитлеризма.

Сознавая это, испанский народ ни на минуту не прекращает борьбу и сопротивление франкизму, и лишь путем жесточайшего террора испанскому фашизму удается сохранить власть в своих руках.

Испанский фашизм занимает особое место в лагере европейского фашизма. Он представляет собой чудовищную смесь гестапо и инквизиции.

Дух испанского фалангизма был выражен лучше чем в каком-либо теоретическом трактате одним из фалангистских главарей, графом Ильвесом, бывшим военным атташе испанского посольства в Берлине: «Мы должны убивать, убивать и убивать,— сказал этот фалангистский молодчик американскому корреспонденту Джону Уитекеру. В прошлые времена испанцев убивали чума и болезни. Сейчас, при современной гигиене, они размножаются, как кролики, и большевистская зараза не может не задевать их, а поэтому нам надо сохранять правильную пропорцию. Наша программа состоит в истреблении одной трети мужского населения. Это освободит нас от пролетариата, и в Испании не будет более безработицы».

И действительно фаланга превратила Испанию в огромную тюрьму, в лес виселиц; там не считаются даже с такими людьми как Компанио — председателем каталонского правительства. Правительство Петэна выдало его фалангистам и он был повешен в Испании.

О размерах фалангистских репрессий можно получить представление из следующего факта: нынешний фалангистский министр юстиции в ответ на развернувшуюся в Америке кампанию с требованием освободить заключенных, томящихся в испанских тюрьмах, заявил, что публикуемая в иностранной печати цифра — один миллион заключенных не соответствует действительности. В Испании сказал он, число заключенных никогда не превышало четырехсот тысяч.

Даже эти данные означают, что в стране с населением в двадцать три миллиона почти два процента жителей томятся в тюрьмах.

Но, несмотря на террор, фаланга не покорила испанский народ. С 1940 по 1943 год в Испании были взорваны: завод взрывчатых веществ в Саламанке, завод военных материалов «Ла Манхойа» в Астурии, известный завод взрывчатых веществ в Севилье, заводы взрывчатых веществ в Аликанте и в Валенсии. В Ферроле был подожжен арсенал — один из крупнейших в Европе. Наряду с этим, по невыясненным причинам, возник крупный пожар, который разрушил здание радиостанции в Барселоне, и т. д.

Фаланга стремится приписать это «случайности». Так, например, когда был спущен под откос скорый поезд в Галисии, в результате чего погибло шестьдесят фалангистских чинов береговой стражи, фаланга объявила, что эта катастрофа объясняется плохим состоянием железных дорог, но одновременно расстреляла несколько железнодорожников и сместила начальника железнодорожной службы этой линии.

В различных районах Испании действуют группы партизан. Они состоят из бывших бойцов республиканской армии, которые после окончания войны скрылись в горах с оружием в руках. В некоторых местах, например, в Астурии и Леоне, эти группы действуют под руководством офицеров бывшей республиканской армии и пользуются поддержкой населения. Партизаны организуют акты саботажа. Их действия носят пока еще изолированный и эпизодический характер.

Фаланга ведет вооруженную борьбу с партизанами, но все же не в силах уничтожить их. Всегда, когда фалангисты говорят о партизанах, они стараются изобразить их бандитами, занимающимися грабежами.

Поражения, которые Гитлер терпит на советско-германском фронте, и действия союзников в Африке и Италии толкнули на сопротивление фалангизму те слои населения, которые ранее отказывались от борьбы или были пассивны.

Оппозиция, сопротивление и борьба против Франко и фаланги,— все это проявляется в самых различных формах. Наблюдается возбуждение в городах и промышленных районах среди рабочих, служащих, студентов и интеллигенции. Усилилось сопротивление и в деревне — крестьяне отказываются выполнять приказы фаланги. Усиливается деятельность католиков, направленная против фаланги и франкизма.

Повсюду звучит один и тот же клич: дольше терпеть нельзя. Надо свергнуть нынешний режим. Необходимо покончить с диктатурой Франко и фаланги.

Существуют значительные возможности для перегруппировки национальных антифранкистских политических сил в широком национальном единении всех честных испанцев для борьбы против франкизма и для завоевания демократических свобод.

Недавно мы узнали о создании в Испании Верховной хунты национального единства, в которой представлены все общественно-политические направления — от католиков до коммунистов. В нее входят представители Каталонии и страны басков, а также обоих крупнейших рабочих профсоюзных центров.

Эта «хунта» — орган народной борьбы против франкизма: она ставит себе целью свержение режима Франко, осуществление программы широких демократических реформ и прежде всего разрыв отношений с гитлеровской Германией; восстановление политического суверенитета испанского государства, присоединение к принципам Атлантической хартии и к ре-

шениям Московской конференции; восстановление демократических прав и свобод, как-то: свободы организаций, совести, печати, собраний и т. д.; проведение чистки в государственном аппарате и изгнание из него франкистских элементов и гитлеровских агентов; выявление источников богатств, накопленных с 1936 года; освобождение всех политических заключенных; принятие мер к обеспечению демократических выборов, в которых народ сможет свободно выразить свою волю по вопросу о форме правления.

Какова же в этих условиях позиция испанских коммунистов?

Позицию коммунистической партии Испании можно резюмировать так:

Активнейшим образом участвовать в борьбе за объединение и организацию всех национальных сил антифранкизма, готовых к борьбе против фашизма и за установление демократического строя. Коммунистическая партия Испании всеми силами поддерживает Верховную хунту национального единства, созданную в подполье в Испании осенью прошлого года. Она одобряет программу Верховной хунты национального единства потому, что она является выражением основных демократических стремлений народа. Она одобряет эту программу потому, что последняя может послужить платформой единства и борьбы для всех честных испанцев, и ее осуществление будет способствовать примирению и объединению Испании, расколотой и окровавленной гитлеровцами и фалангистами. Она одобряет эту программу потому, что ее осуществление позволит Испании своими ценными ресурсами содействовать совместной победе демократических стран над гитлеризмом.

Создание в Испании Верховной хунты национального единства можно рассматривать, как значительный шаг в борьбе против франкизма.

Широкий резонанс, который имело это событие среди самых различных слоев народа и виднейших его представителей, а также возмущение фалангистов, являются наилучшим показателем эффективности Верховной хунты в борьбе за свержение франкизма. Однако создание хунты не удовлетворило некоторых испанских политиков, находящихся в эмиграции. В этом нет ничего странного. Есть еще такие испанские политики, которые ничему не хотят учиться и которых ничему не научил ни печальный опыт событий 1936—1939 годов, ни опыт нынешней войны. Ища выхода из положения, они либо делают шаг назад, либо пытаются тормозить развитие событий.

Они предлагают реставрацию монархии, спасая франкистский режим и принося в жертву Франко.

Другие готовят за границей министров и правительства, не учитывая воли народа и создавшегося положения.

Основу подобных планов и комбинаций не трудно разгадать: это знакомый нам по прежнему опыту страх перед народом, неверие в способность масс к борьбе. Есть люди, которые интригуют и стремятся оживить вне страны министерства в составе своих друзей, чтобы импортировать их в Испанию и навязать их испанскому народу.

Нет надобности доказывать, что все такие планы осуждены на провал. Подобно всем народам Европы, а, возможно, еще в большей степени, чем другие народы Европы, испанский народ в ходе войны получил кровавый урок. Этот народ, полный решимости освободиться от франкистского режима, навязанного гитлеровцами, не примет другого режима, кроме того, который он сам хочет создать и который обеспечит его свободы, его демократические права, экономическое, политическое и социальное возрождение.

Я убеждена, что испанский народ сумеет выполнить свой долг и что Испания не будет последней среди тех, кто положит конец фашистскому игу. Испанский народ с глубокой любовью и энтузиазмом следит за победоносными боями героической Красной Армии. Он с большим интересом следит за растущей освободительной борьбой угнетенных народов Европы. Он с большим вниманием следит за военными действиями союзников и никогда не терял надежды, хотя и проявлял нетерпение, ожидая скорейшего развертывания крупного наступления с запада и юга, которое вместе с наступлением с востока покончит с гитлеровским варварством и откроет путь к освобождению всех народов.

Испанский народ полон решимости и готовности не оставаться «нейтральным». Он будет бороться вместе с другими свободолюбивыми народами всеми своими силами за великое дело разгрома заклятого врага человечества — гитлеризма и его испанского пособника — франкизма.

Великая демократическая коалиция не найдет более верного и полного энтузиазма союзника и сотрудника, чем испанский народ. Но испанский народ в праве требовать, чтобы был положен конец терпимости и попустительству деятельности Франко и фаланги, был положен конец политике, являющейся не чем иным, как продолжением политики «невмешательства» в пользу Франко и в ущерб интересам испанского народа, который своей героической борьбой не раз проявлял свою ненависть к фашизму и верность свободе и демократии.

Д. ЗАСЛАВСКИЙ

Мечта Чехова

(Заметки)

Вершинин и Тузенбах спорят о смысле жизни. В практических выводах они согласны. Оба говорят о труде, о необходимости трудиться...

Для чего?

Здесь начинается разногласие. Вершинин видит смысл жизни в работе на счастье будущих поколений. Тузенбах решительно отрицает смысл в общественной жизни.

Вершинин говорит:

«...мне кажется, самое главное и настоящее я знаю, крепко знаю. И как бы мне хотелось доказать вам, что счастья нет, не должно быть и не будет для нас... Мы должны только работать и работать, а счастье — это удел наших далеких потомков (пауза). Не я, то хоть потомки потомков моих».

Вершинин глубоко верит в то, что общественная жизнь меняется. Она развивается. Люди идут к лучшему, к счастью. Люди творят эту будущую счастливую жизнь, и в творчестве — счастье человека.

«Мне кажется,— говорит Вершинин,— все на земле должно измениться мало-помалу, и уже меняется на наших глазах. Через двести, триста, наконец, тысячу лет,— дело не в сроке,— настанет новая счастливая жизнь. Участвовать в этой жизни мы не будем, конечно, но мы для нее живем теперь, работаем, ну, страдаем, мы творим ее — и в этом одном цель нашего бытия и, если хотите, наше счастье».

На это Тузенбах возражает:

«Не то что через двести или триста, но и через миллион лет жизнь останется такою же, как и была; она не меняется, остается постоянною, следуя своим собственным законам, до которых нам нет дела или, по крайней мере, которых вы никогда не узнаете...»

Маша спрашивает, какой же в таком случае смысл в жизни? Тузенбах отвечает:

«Смысл... Вот снег идет. Какой смысл?»

По Тузенбаху, жизнь, общественная жизнь не имеет никакого внутреннего смысла. Люди ничего не знают о законах, управляющих жизнью и не могут узнать. Эти законы не подчиняются человеческому знанию. Они сверхъестественны и сверхчувственны. Если и есть счастье в жизни, то только ограниченное, личное счастье человека. Он, Тузенбах, счастлив, потому что любит Ирину и хочет устроить свою личную и семейную жизнь. Он трудолюбив. Ему немного нужно. Он счастлив. Он облекает свои мысли в философскую форму и говорит:

«...После нас будут летать на воздушных шарах, изменятся пиджаки, откроют, быть может, шестое чувство и разовьют его, но жизнь останется все та же, жизнь трудная, полная тайн и счастливая. И через тысячу лет человек будет так же вздыхать: «ах, тяжко жить!» — и вместе с тем точно так же, как теперь, он будет бояться и не хотеть смерти».

Так сталкиваются в пьесе Чехова два философских мировоззрения. Они непримиримы. Маша говорит, как бы резюмируя спор между Вершининым и Тузенбахом:

«Мне кажется, человек должен быть верующим или должен искать веры, иначе жизнь его пуста, пуста...»

Тузенбах бросает в ответ на это с пренебрежением и самодовольством:

«А я скажу: трудно с вами спорить, господа! Ну вас совсем»...

Философский спор обрывается. Он не доведен до конца. Но его значительность ясна. Это не просто эпизод в пьесе. Расхождение во взглядах — это различие в характерах. Вершинин противоположен Тузенбаху. Не случайно он так обаятелен и своей верой в жизнь, своей душевной красотой, своей чуткостью покоряет Машу. Ирина не любит Тузенбаха, и, конечно, не потому только не любит, что он некрасив, а и потому, что он какой-то чужой, скучный, белесый по всему своему облику, а не только по окраске волос. Как будто ничем особым не выделяется Тузенбах среди других персонажей чеховской пьесы, а он все же всем чужой.

Вершинин и Тузенбах философствуют как диллетанты. Но совсем не трудно определить и происхождение и характер их позиций. Философия Вершинина активна и реалистична. Она исходит из представления о непрестанном изменении и развитии общественной жизни и о сознательном творчестве людей, народа. Жизнь можно и нужно изменить для того, чтобы люди были счастливы. Человек — в центре философии Вершинина. Когда Вершинин говорит о нем, он видит прежде всего своих потомков. Мысль о том, что он жи-

ет и работает для этого будущего человека, для русского народа, заполняет жизнь самого Вершинина, делает эту жизнь счастливой, хотя и не свободной от страданий.

Откуда Вершинин мог почерпнуть эту свою философию активной борьбы за человека, за народ? Не подлежит никакому сомнению, что корни у этой философии русские. Идут они от Белинского и Чернышевского, а к Вершинину, который говорит о себе, что он книг выбирать не умеет, они могли притти через русскую литературу, через Толстого и Достоевского, через Некрасова, Щедрина, Островского.

Точно так же не трудно определить, откуда идут корни агностицизма и метафизичности рассуждений барона Тузенбаха. Они восходят к немецкой идеалистической философии, к Шопенгауэру, к Гартману. Эта философия мрачна. Она помещает человека в одном ряду со всеми живыми творениями, отрицает законы социальной жизни и признает только законы биологии. Эта философия бездушна. В какие бы живописные плащи она ни рядилась, она мертва, суха. В ее центре не жизнь человека, не жизнь народа, а смерть всего человечества.

Случайно ли то, что по основным вопросам жизни и деятельности человека, по вопросу о смысле жизни Чехов столкнул Вершинина и Тузенбаха, русского и немца?

* * *

Но это не новый спор о смысле жизни у Чехова. Это продолжение того спора о смысле жизни, который был начат задолго до «Трех сестер».

Вспомним небольшую повесть ««Огни». Она появилась сейчас же за «Степью». Чехов был ею недоволен и не включал ее в первое полное собрание своих сочинений. Она была встречена недоброжелательно и критикой своего времени. Ее не поняли.

Почему не был удовлетворен «Огнями» сам Чехов? Он писал Щеглову: «Я оканчиваю скучнейшую повестушку. Вздумал пофилософствовать, а вышел канифоль с уксусом. Перечитываю написанное и чувствую слюнотечение от тошноты: противно. Ну, да ничего... Наплюве!»

Это — очень жестокий отзыв о повести. Если бы он был сколько-нибудь справедлив, Чехов не отдал бы ее в печать, в журнал «Северный вестник», где незадолго перед этим была напечатана «Степь». Мы знаем, что «Огни» это одна из наиболее замечательных и значительных повестей Чехова. Она законно занимает теперь место в полном собрании его произведений.

Философствование Чехова в этой повести, конечно, не «канифоль с уксусом». Но это философствование не было понято читателями при первом появлении рассказа, да и самому Чехову, может быть, не все еще было ясно. «Огни» заканчиваются словами «доктора», от чьего имени ведется рассказ: «Да, ничего не поймешь на этом свете!» Эту фразу ставили в вину Чехову его критики, и он оправдывался в письме к Суворину. Он писал: «Пишущим людям, особливо художникам, пора уже сознаться, что на этом свете ничего не разберешь, как когда-то сознался Сократ и как сознавался Вольтер. Толпа думает, что она все знает и все понимает, и чем она глупее, тем, кажется, шире ее кругозор. Если же художник, которому толпа верит, решится заявить, что он ничего не понимает из того, что видит, то это уж одно составит большое знание в области мысли и большой шаг вперед».

О философском споре в «Огнях» Чехов писал: «Я слышал беспорядочный, ничего не решающий разговор двух русских людей о пессимизме и должен был передать этот разговор в том самом виде, в каком слышал, а делать оценку ему будут присяжные, т. е. читатели. Мое дело только в том, чтобы быть талантливым, т. е. уметь отличать важные показания от неважных, уметь освещать фигуры и говорить их языком».

На всей глубине и важности этих замечаний мы сейчас останавливаться не будем. Скажем только, что в отборе важных показаний от неважных непременно скажется пристрастие художника, и от этого будет зависеть распределение света и тени в его рассказе. Далеко не беспристрастен Чехов и в рассказе «Огни».

Обстановка в этом рассказе: ночь, барак строителей железной дороги в Донецкой степи, огромная насыпь, огни костров, уходящие вдаль. Спорят между собой инженер и студент-практикант. Впрочем, студент только подает краткие скептические реплики. А говорит с большим воодушевлением только инженер.

Его зовут Ананьев. Он говорит о себе: «Я понял, что я не мыслитель, не философ... Бог дал мне здоровый, сильный, русский мозг с задатками таланта...» Спор начался с того, что инженер, выйдя после ужина из барака и глядя на высокую насыпь, умилился и сказал:

«— В прошлом году на этом самом месте была голая степь, человечьим духом не пахло, а теперь поглядите: жизнь, цивилизация! И как все это хорошо, ей-богу! Мы с вами железную дорогу строим, а после нас, этак лет через сто или двести, добрые люди настроят здесь фабрик, школ, больниц и — закипит машина! А?

Инженер Ананьев думал о будущем и радовался этому будущему. А студенту, его помощнику, картина насыпи и огней напомнила о чем-то далеком, прошлом, библейском. После долгого молчания он сказал:

«— Знаете, на что похожи эти бесконечные огни? Они вызывают во мне представление о чем-то давно умершем, жившем тысячи лет тому назад, о чем-то вроде лагеря амалекитян или филистимлян... Когда-то на этом свете жили филистимляне и амалекитяне, вели войны, играли роль, а теперь их и след простыл. Так и с нами будет. Теперь мы строим железную дорогу, стоим вот и философствуем, а пройдет тысячи две лет, и от этой насыпи и от всех этих людей, которые спят после тяжкого труда, не останется и пыли...»

Эти слова взорвали инженера. Все дальнейшее — его страстный монолог. Он называет мысли студента старческими. Он говорит, что «при таком несчастном способе мышления невозможен никакой прогресс, ни науки, ни искусства, ни само мышление». Если нет смысла в жизни, говорит Ананьев, то «все

эти знания, поэзия и высокие мысли являются только ненужной забавой, праздной игрушкой взрослых детей».

Мало того, философия, отрицающая смысл жизни, прогрессивное движение человечества, разумное творчество в интересах человека и народа,— эта философия, по словам инженера, ведет к аморальности, к бессердечности. Она оправдывает самые низменные поступки. «Наше мышление,— говорит инженер, отрицая смысл жизни, тем самым отрицает и смысл каждой отдельной жизни». Отсюда — отрицание и морали.

Свои положения инженер подтверждает рассказом о том, как он, будучи молод и размышляя о бесцельности человеческой жизни, холодно, бессердечно и грубо поступил с милой молодой женщиной, надругался над ее душой, бросил ее в такую минуту, когда она нуждалась в дружеской помощи... Этот роман с Кисочкой должен доказать, что живой человек должен быть в центре мировоззрения, что без счастья людей нет действительного смысла в жизни, и отвлеченные противоречия философии разрешаются действенностью любви к человеку.

Студент обрывает философский спор раздражительными словами:

«Все это ничего не доказывает и не объясняет, и все это одно только толчение воды в ступе! Никто ничего и не знает, и ничего нельзя доказать словами».

Мы не назвали имени этого студента, отрицающего смысл жизни. Его зовут барон фон Штенберг. Чехов описывает его так: «Только одни русые волосы и жидкая бородка, да, пожалуй, еще некоторая грубость и сухость черт лица, напоминали о его происхождении от остзейских баронов, все же остальное — имя, вера, мысли, манеры и выражение лица были у него чисто русские».

Ананьев и фон Штенберг, Вершинин и Тузенбах. Приблизительно одна и та же ситуация, один и тот же философский спор. Всего легче и проще было бы объяснить это совпадение случайностью. Вернее, прочно сидел в памяти Чехова образ русского человека, спорящего с немцем о смысле жизни. Что-то было для Чехова важное, характерное в этом споре. В 1888 году существо спора было не совсем ясно для самого Чехова. В 1901 году оно несравненно яснее для писателя. И хотя в «Трех сестрах» действующие лица не столько ведут серьезный философский диспут, сколько философски мечтают, и прежней критике казалось, что это лишь умственное развлечение скучающих интеллигентов, мы теперь совсем по-иному оцениваем столкновение противоположных мировоззрений.

Не трудно заметить, что философия Вершинина носит более продуманный характер, чем философия Ананьева. Отпали рассуждения о старости и молодости. Ананьев не отрицал мысли о пустоте и бессодержательности жизни. Он лишь считал, что дело стариков так думать, и у стариков эти мысли о бесцельности существования оправданы. А для молодых людей они и вредны и безнравственны. Вершинин не делает уступок подобного рода. Он отстаивает со всей убежденностью свои положения о непрерывном развитии, о смысле исторической борьбы людей во имя счастливого будущего, о ценности человека. Действенность этой философии, ее реалистичность, гуманитарный ее характер обнаруживаются вполне последовательно. И, со своей стороны, барон Тузенбах не отделывается скептическими репликами, подобно барону фон Штенбергу, а развивает свое учение о бессмысленности исторического процесса. Друг против друга — реализм и метафизика.

Можно ли отрицать, что Чехов хотел подчеркнуть русский характер философии развития, действенности в любви к людям, к народу, стремление к счастью народа?

* * *

Чехов глубоко верил в то, что народ идет к счастью и творит прекрасную жизнь. В этом нет сомнения. Но когда Чехов прибавлял к этому: «через двести-триста лет», тогда видение будущего неизменно расплывалось и становилось настолько неопределенным, что решительно ничего нельзя было сказать о нем. Не трудно было этот оптимизм Чехова рассматривать как скептицизм.

Впрочем, срокам исполнения заветной мечты герои Чехова не придают особого значения. Двести или триста лет, говорит Вершинин, а может быть и тысяча лет: сроки не имеют значения. С Вершининым позволительно не согласиться. Двести лет или тысяча — это существенно важно. Инженер Ананьев считает, что в тех местах, где он строит железную дорогу «этак лет через сто или двести» будут настроены фабрики, школы, больницы и «закипит машина!»

Для того, чтобы в местах, где проведена железная дорога, «закипела машина» капиталистической культуры, не нужно столетий. Достаточны были во времена Чехова десятилетия. Машина и закипела в этих местах гораздо скорее, чем предполагал герой Чехова и, может быть, сам Чехов. Стоит, кстати, заметить, что такую картину будущего развития культуры Чехов нарисовал на исходе 80-х годов прошлого века, когда народничество, будучи еще в силе, решительно отрицало приход культуры вместе с фабриками и относилось враждебно и к железным дорогам и к фабрикам.

Мечта инженера Ананьева исполнилась скорее, чем он предполагал. Была ли это и мечта самого Чехова? Нужно ли говорить, что писатель смотрел на будущую жизнь более широко, чем инженер Ананьев, и что представление Чехова о прекрасной жизни не исчерпывалось фабриками, школами и больницами.

Чехов избегал разговоров о содержании своего общественного идеала. Жизнь будет прекрасна, но чем именно? Каковы будут общественные отношения? Чехов относил рассуждения в этой области к «публицистике», а публицистику считал для себя делом посторонним. Когда Суворин указывал ему на публицистические элементы в его рассказах, Чехов с некоторым раздражением отвечал, что он не публицист и что не его дело разбираться в делах общественных, политических.

Но хотел того или не хотел Чехов,— все его произведения густо насыщены публицистикой. Рассказ «Именины» вызвал упреки Чехову в том, что он враждебно относится к либерализму, к заветам 60-х годов. Чехов

в ответе Плещееву с такой резкостью напал на эпигонов демократизма, на людей, опошлявших 60-е годы, что тем самым выдал свои собственные симпатии к демократизму Чернышевского и Добролюбова. Известно письмо, написанное Чеховым после смерти Щедрина. Оно поражает своей критической глубиной. Либеральный лагерь ценил Щедрина за сатирическое обличение русской реакции, за «Историю одного города», за осмеяние помпадуров... А Чехов силу щедринской сатиры усматривал прежде всего в злом, беспощадном изобличении либеральной интеллигенции.

«Я не либерал, не консерватор»,— писал о себе Чехов. Конечно, он не был консерватором, хотя помещал одно время свои рассказы в «Новом времени» и был дружен с Сувориным. Чехов не был либералом. Он отстаивал для себя какое-то совершенно беспартийное положение среди боровшихся в его время кружков, партий, групп. Это совершенно естественно для того времени, когда писал Чехов. Прогрессивный лагерь после закрытия «Отечественных записок» был представлен нотовичами и градовскими, либералами из «Русской мысли» и т. п. К ним Чехов относился с нескрываемым презрением. Были эпигоны народничества с Михайловским во главе. Чехов знал цену им. Их самодовольная ограниченность отталкивала его. В 1889 году он летом встретился с В. Воронцовым, светилом народничества, писавшим под псевдонимом В. В. В письме к Плещееву Чехов набросал мастерский портрет этого убогого экономиста, ставшего позже мишенью для ядовитого обстрела марксистской критики: «К Линтваревым приехал полубог Воронцов.— очень вумная, политико-экономическая фигура с гиппократовским выражением лица, много молчащая и думающая о спасении России... Человечина угнетен сухою ученостью и насквозь протух чужими мыслями, но по всем видимостям малый добрый, несчастный и чистый в своих намерениях...»

Это — психологическая характеристика. Но не только своей ограниченностью народники-эпигоны были далеки и несимпатичны Чехову. Все их представление о русском народе было чуждо ему. Сентиментальность и слащавость народников 80-х годов, их узость и фальшь противоречили правдивости Чехова, как писателя реалиста. Он не мог принять ни учения о природной склонности русского крестьянина к социализму, ни учения о всеспасающей роли русской интеллигенции. Он лучше знал и крестьянина и интеллигента, чем народники из кружка Михайловского.

Было еще толстовство, ставшее даже модным учением в 80-е годы. Чехов относился отрицательно к моральной толстовской проповеди.

Вера в общественное развитие, в грядущее счастье народа, в творческую деятельность ради народного блага должна была внести «публицистику» в произведения Чехова. И она действительно появляется в первых же повестях, которыми Чехов начинает свою деятельность, как серьезный, большой писатель.

* * *

Картины природы так прекрасны в «Степи», что критика на них преимущественно и останавливалась. О «Степи» писали и теперь пишут так, как если бы в повести были только поля, только рассветы и закаты, только гроза. Когда «Степь» впервые появилась в печати, то она всех пленила своим степным ароматом. Михайловский отметил это, но нашел, что в повести нет никакой ясно выраженной идейности, что это просто прогулка, и что Чехов безразлично относился к людям и к явлениям.

Михайловский ничего не понял и не заметил. «Степь» наполнена глубоким общественным содержанием. Она волнует не только замечательными описаниями природы, а и замечательными образами интереснейших людей. Это — картина развивающегося капитализма в России, вызвавшего новые сложные явления. Вопрос о справедливости общественных отношений поставлен в повести. Этот вопрос занимает мальчика Егорушку, но нельзя отрешиться от впечатления автобиографичности, когда читаешь «Степь».

Уже на первых страницах повести появляется фигура Варламова, богатейшего предпринимателя, который «кружится» в степи. Он — всюду. Он стал необходимой принадлежностью степного пейзажа. Варламову принадлежит и эта степь, и все люди, на ней находящиеся. Таинственна в представлении мальчика эта власть одного человека. Кто он, этот неведомый Варламов? Люди понижают голос в его присутствии. Он нужен сказочной графине Драницкой. Все боятся Варламова, все, кроме смешного, жалкого молодого еврея Соломона. Его называют безумным, над ним издеваются, как над душевнобольным. Но он в действительности не болен. Он владеет огромной силой презрения к богатству, к наживе, к эксплоатации.

Соломон сжег в печи шесть тысяч рублей, все полученное им наследство. С тех пор он и прослыл безумным. У него спрашивают, что он делает. Он отвечает:

«Вы видите: я лакей. Я лакей у брата, брат лакей у проезжающих, проезжающие лакеи у Варламова, а если бы я имел денег десять миллионов, то Варламов был бы у меня лакеем.

— То есть почему же это он был бы у тебя лакеем?

— Почему? А потому, что нет такого барина или миллионера, который из-за лишней копейки не стал бы лизать рук у жида пархатого. Я теперь жид пархатый и нищий, все на меня смотрят, как на собаке, а если б у меня были деньги, то Варламов передо мной ломал бы такого дурака, как Моисей перед вами».

Из всей этой тирады собеседники Соломона поняли только то, что он равняет себя с Варламовым. Это было не только противоестественно, по их понятиям, но и неблагонадежно. Торговец Кузьмичев строго спрашивает:

«— Как же ты, дурак этакой, равняешь себя с Варламовым?

— Я еще не настолько дурак, чтобы равнять себя с Варламовым,— ответил Соломон, насмешливо оглядывая своих собеседников.— ...Вся жизнь у него в деньгах и в наживе, а я свои деньги спалил в печке. Мне не нужны ни деньги, ни земля, ни овцы, и не нужно, чтоб меня боялись и снимали шапки.

когда я еду. Значит, я умнее вашего Варламова и больше похож на человека!»

Замечателен образ Соломона, но еще замечательнее то, что Чехов с исключительной проницательностью подметил характерные явления в современной ему жизни. Социальные противоречия были ему знакомы. Контраст между богатством вновь испеченных миллионеров и нищетой крестьян, между неограниченной властью Варламова и приниженностью корчмаря, между холопством в быту и гордым протестом одинокого уездного интеллигента,— это будоражило душу молодого Чехова, и он в этой повести, ставшей порогом его литературной деятельности, между «Осколками» и большой литературой, поставил вопрос о человеке, о достоинстве человека с такой остротой и силой, которая была совершенно чужда либеральной критике 80-х годов и поэтому была не понята и не замечена. То, что замечательно описана природа южной степи увидели все, и это действительно превосходное поэтическое описание. А то, что не только описано появление и развитие в степи капиталистических отношений, но и вскрыта одна из сторон буржуазных отношений,— это прошло мимо внимания.

Конечно, было бы совершенной нелепостью отыскивать следы марксизма в произведениях Чехова. Не в этом дело. Важно то, что Чехов никогда не был и не мог быть либералом, потому что умом замечательного русского человека и чутьем выдающегося художника-мыслителя он проникал в самую глубь явлений. Как раз тогда, когда была написана и напечатана «Степь», зарождалось в России организованное рабочее движение. Чехов этого не знал. Его жизненный путь проходил очень далеко от пути марксизма. Но общественные отношения его интересовали и волновали. Он многого не знал, но многое видел взором честного художника-реалиста.

В «Степи» есть еще один замечательный образ. Это — Дымов, молодой крестьянин, очень способный, сильный, умный... В нем бродят силы, он обозлен на людей, ему скучно и от скуки он озорует. Вот как показывает его Чехов:

«Русый, с кудрявой головой, без шапки и с расстегнутой на груди рубахой, Дымов казался красивым и необыкновенно сильным; в каждом его движении виден был озорник и силач, знающий себе цену... Повидимому, он никого не боялся, ничем не стеснял себя...»

Озорство Дымова пугает Егорушку. Мальчик ненавидит этого сильного человека, непонятного в мещанском быту, где крестьяне и рабочие должны быть людьми тихими и покорными. После сцены, в которой обиженный мальчик, как барчонок, кричит: «Бейте его! Бейте его!», Дымов подходит к Егорушке...

«Дымов стал одной ногой на колесо, взялся за веревку, которой был перевязан тюк, и поднялся. Егорушка увидел его лицо и кудрявую голову. Лицо было бледно, утомлено и серьезно, но уже не выражало злобы.

— Ера!— сказал он тихо.— На, бэй!..

И, не дождавшись, когда Егорушка будет бить его или говорить с ним, он спрыгнул вниз и сказал:

— Скушно мне!

Потом, переваливаясь с ноги на ногу, двигая лопатками, он лениво поплелся вдоль обоза и не то плачущим, не то досадующим голосом повторил:

— Скушно мне! Господи! А ты не обижайся, Емеля,— сказал он, проходя мимо Емельяна.— Жизнь наша пропащая, лютая!»

Ни один критик, современник Чехова, не уделил фигуре Дымова должного внимания. А потом, когда появились первые озорники Горького, кажется, никто и не вспомнил, что Дымов это образ чисто горьковский, и, стало быть, Чехов на своем особом, совсем не похожем на горьковский, пути нашел таких же новых и интересных людей.

Несомненно, среди других персонажей «Степи» к Дымову относились такие слова Чехова в письме к Плещееву: «Вы увидите в ней (в «Степи») не одну фигуру, заслуживающую внимания и более широкого изображения».

Плещееву Дымов понравился. «как материал». Чехов в ответе Плещееву раскрыл всю жизнь Дымова, как она представлялась писателю: «Такие натуры, как Дымов, создаются жизнью не для раскола, не для бродяжничества, не для оседлого жития, а прямехонько для революции... Революция никогда в России не будет, и Дымов кончит тем, что сопьется или попадет в острог. Это лишний человек».

Не забудем, когда написаны эти слова: в 1889 году. Заря революции едва-едва брезжила на горизонте. Чехов не верил в нее. Но он увидел новые, зарождающиеся явления в русской жизни. Поэтому впоследствии ему не трудно было и поверить в скорый приход революции.

* * *

Двести-триста лет — срок очень большой, нечего уж и говорить о тысяче лет. Но у Чехова указан срок и более короткий: пятьдесят лет.

Доктор Королев говорит в рассказе «Случай из практики».

«Хорошая будет жизнь лет через пятьдесят, жаль только, что мы не дотянем. Интересно было бы взглянуть».

Рассказ написан в 1898 году. Стало быть, чеховский доктор относил свою будущую «хорошую жизнь» к 1948 году. Это уж срок в пределах возможного предвидения. Конечно, нельзя рассмотреть на таком расстоянии подробности будущего быта, но можно представить себе общие очертания.

Как представлял их себе у Чехова доктор Королев, в словах которого мы вправе видеть отражение мыслей самого Чехова?

Интересна и знаменательна та обстановка, в которой происходит разговор о будущей хорошей жизни. Московский молодой врач приезжает «на практику» в подмосковный фабричный поселок. Больна девушка, дочь владелицы текстильной фабрики. Болезни, в сущности, никакой нет, а есть тоска, рожденная пустотой и бессмысленностью жизни.

На фабричном дворе пять больших корпусов. Королеву кажется, когда он глядит на освещенные окна одного из корпусов, когда он слышит перестукивание и перекличку сторожей, что живет тут на фабричном дворе «сам дьявол, который владел тут и хозяевами, и рабочими, и обманывал и тех и других».

Обман и бессмыслица заключаются в самой сути капиталистических отношений. «Тысячи полторы-две фабричных работают без отдыха, в нездоровой обстановке, делая плохой ситец, живут впроголодь и только изредка в кабаке отрезвляются от этого кошмара... И только двое-трое, так называемые хозяева, пользуются выгодами, хотя совсем не работают и презирают плохой ситец... И выходит так, значит, что работают все эти пять корпусов и на восточных рынках продается плохой ситец для того только, чтобы Христина Дмитриевна могла кушать стерлядь и пить мадеру».

Тут та же картина, что и в «Степи». Все работают, живут скучно, лакействуют для того, чтобы один Варламов «кружился». Но по крайней мере Варламов-то знает для чего он «кружится». Он полон энергии, поглощен приобретательством и уверен в том, что он самый необходимый в степи человек. А на подмосковной фабрике госпожи Ляликовой никто и не «кружится». Наживал состояние покойный Ляликов, своего рода Варламов, а достанется состояние его дочери или внучке, которая проявляет все признаки неврастении и тоскует среди пяти фабричных корпусов.

Королев думает, как бы объяснить богатой девушке, что обречена на уничтожение вся эта бессмысленная жизнь. Он сознается самому себе, что недостаточно подготовлен к решению таких вопросов. Но уж хорошо то, что для него и для других интеллигентных людей возникают такие вопросы, что нет прежнего самодовольства и прежней ограниченности. Поколение Королева не может изменить жизнь, перевернуть ее, устранить бессмыслицу и несправедливость в общественных отношениях, но идут новые поколения, новые люди... Королев говорит:

— «...у родителей наших был бы немыслим такой разговор, как вот у вас теперь; по ночам они не разговаривали, а крепко спали, мы же, наше поколение, дурно спим, томимся, много говорим и все решаем, правы мы или нет. А для наших детей или внуков вопрос этот,— правы они, или нет,— будет уже решен. Им будет виднее, чем нам. Хорошая будет жизнь лет через пятьдесят...»

Будет жизнь, в которой не будет безобразной, уродующей людей капиталистической эксплоатации, не будет праздной буржуазии, не будет лишений, нужды, голода, бескультурья, темноты народной, не будет эпидемий, грязи, пошлости... Будет именно та хорошая жизнь, о которой мечтает Вершинин, жизнь нового общества, построенная на свободном, творческом труде...

Это будет социалистическая жизнь. Именно такую жизнь Чехов называл прекрасной, и хотя он не произносил слова «социализм», хотя избегал всякой конкретности в определении понятия «прекрасная жизнь», но все отдельные черты будущего строя этой жизни, рассеянные по произведениям Чехова, складываются в такую прекрасную жизнь, какая возможна только при социализме.

К социализму вела и та философия активного, творческого преобразования общественной жизни, которую Чехов через своих любимых героев внушал читателю, философия действенного оптимизма, философия широты русского характера. К социализму вела и глубокая, осознанная вражда к миру капиталистических отношений, к пошлости буржуазного общества. К социализму вела и вера в талантливость русского народа, который не примирится с убогостью и скудостью нынешней его жизни и непременно будет искать правды в общественных отношениях и добьется этой правды.

У Чехова до Горького не было близких друзей в литературе. Он сторонился кружков и направлений. Он был «ничей». С Сувориным Чехов резко разошелся,— близость между ними была одной из тех ошибок Чехова, в которых он впоследствии признавался. Толстой был настолько патриархом в литературе, что Чехов мог быть только учеником, поклонником, наследником, любимым сыном, но не равным другом.

Дружба Чехова и Горького была подготовлена всем предшествующим развитием этих великих русских писателей. К знакомству с Горьким на первых порах Чехов отнесся сдержанно. Затем оно стало более тесным. Направление Горького было первым направлением в русской литературе, к которому Чехов стал приближаться, не боясь, того, что он входит в какую-то особую группу писателей, что его будут относить к определенной политической группировке.

Это не случайно. Не только в Горьком, а во всем новом поколении, которое выходило вместе с Горьким на передний план русской истории, Чехов должен был узнать именно тех людей, прихода которых он ждал. Быть может, он не совсем так представлял себе этих людей. Но это были люди, которые уверенно решали вопрос о будущей «прекрасной жизни» и готовили приход этой жизни. Эти люди несли в своих программах, в своих выступлениях, в своих книгах гневный протест против уродства общественных отношений. Это были революционеры-марксисты. Горький звал Чехова к ним, и Чехов изменял толстым либеральным журналам для марксистских периодических изданий и для горьковского издательства «Знание». Конечно, марксисты были для Чехова еще чужими людьми, но он-то не был чужим для марксистов.

Слова о том, что жизнь будет прекрасна могли казаться либеральным критикам поэтическим выражением чеховского «пессимизма». Для тех, кто подготовлял приход прекрасной жизни, чеховские слова наполнялись совершенно определенным содержанием. То, о чем только мечтали герои Чехова, было для рабочего революционного движения программой практических действий. Только подлинная марксистская критика верно оценила Чехова и только в наше время он стоит перед советским читателем, как великий русский писатель, утверждающий оптимистическую, действенную веру в народ, в развитие русской жизни, в прекрасную жизнь при новых общественных отношениях, построенных на свободном, благородном, чистом творческом труде.

М. МОРОЗОВ

Чехов в оценке английской и американской критики

В критической литературе на английском языке имя Чехова звучит как одно из величайших имен мировой литературы и драматургии. «Его почти единогласно считают величайшим русским писателем, величайшим мастером рассказа и драматургом современности»,— констатирует «Энциклопедия Британика», говоря о популярности Чехова в Англии. Не менее высоко признание Чехова в США: он — «несравненный рассказчик», «общепризнанный классик мировой драматургии».

Слава Чехова, как в Англии, так и в США возникла, конечно, не сразу. Его популярность росла вместе с популярностью других великих русских писателей, среди которых первым, оказавшим глубокое влияние на английскую литературу, был Тургенев.

«Тургенев был первым русским писателем, которого читали и которым восхищались в Западной Европе», пишет «Энциклопедия Британика». Из крупнейших английских писателей нашего времени одним из самых страстных поклонников Тургенева был Голсуорси, творчество которого носит на себе явные следы влияния Тургенева.

Арнольд Беннет, выдающийся английский писатель-реалист, говорит о том, что из всех писателей Тургенев оказал на него наибольшее влияние. По словам известного историка английской литературы Казамьяна, «Беннет почерпнул у Тургенева чувство сострадания, ничего общего не имеющее с сентиментальностью».

Тургенев нес в английскую литературу не только «мастерство в тонкой обрисовке характеров», «поэтичность» и «неподражаемое искусство пейзажной живописи»,— качества, констатацией которых часто ограничивалась поверхностная критика в Англии и США,— но «прежде всего столь характерное для русской литературы сочувствие человеку[1]».

Недавно английский писатель и критик Бейтс писал в своей книге, посвященной рассказу как художественному жанру и мастерам этого жанра[2]: «Арнольд Беннет сам признавался, что особенное влияние на него оказал Тургенев. Я не удивлюсь, если в один прекрасный день такое же признание сделает Хэмингуей».

Медленно, но неуклонно продолжает расти в глазах англичан и американцев Гоголь, проза которого так трудно поддается переводу на английский язык. Бейтс в упомянутой нами книге, указывая на мировое значение творчества Гоголя, замечает, что именно творчество Гоголя с особенной яркостью знаменовало собой совершавшийся в мировой литературе переход от романтизма к реализму. По мнению Бейтса, Гоголь является одним из основоположников современного реализма и создателей формы современного рассказа. Кроме того, «Гоголь — отец всех тех писателей, которые верят в жизнь обычных людей». В репертуарных списках американских полупрофессиональных, полулюбительских «малых театров» нам встречался «Ревизор» («Inspector-General»)...

Медлительно, слишком медлительно пробивает себе путь к вершинам достойного его признания А. Н. Островский. Из пьес его наибольшей известностью пользуется «Гроза», шедшая и на английской и на американской сцене. Впрочем, профессор Калифорнийского университета Нойес в своей интересной антологии «Шедевры русской драматургии»[1] поместил из пьес Островского «Бедную невесту», объяснив это тем, что он хотел познакомить своих соотечественников с другой прекрасной пьесой драматурга.

Недавно в число переводчиков Островского включился Вивиен де-Сола-Пинто, профессор литературы Ноттингэмского университета, поэт и переводчик. Пинто страстный любитель русской литературы и поэзии. Он переводил и классиков и современных поэтов (К. Симонова, Н. Тихонова). Недавно он перевел «Лес» Островского, который и был исполнен в Ноттингэме весной этого года труппой любителей.

Знаменит, конечно, Горький. Но многие замечательные произведения Горького все еще остаются для англичан и американцев в тени. Тут виноваты не только переводчики, хотя проза Горького и чрезвычайно трудна для перевода.

Для иных реакционных, буржуазно-ограниченных английских и американских критиков идейное содержание творчества Горького является неприемлемым. Неприемлемой является поставленная Горьким проблема о смысле жизни, о ее назначении. По мнению автора статьи о Горьком в «Энциклопедии Британика» (изд. 1936 года), «Замечательный кинорежиссер создал великолепный фильм по пролетарской повести Горького «Мать». Но сама по себе эта повесть не является произведением, представляющим большую ценность». Автор статьи не мог, конечно, не похвалить фильма, стяжавшего шумную

[1] Legouis and Cazamian. «A History of English Literature» translated from the French by Mac Innes and the Author. London. 1927.

[2] H. E. Bates, «The Modern Story» London, 1942.

[1] G. R. Noyes «Masterpieces of the Russian Drama», New-York, 1933. Сюда вошли: «Недоросль», «Горе от ума», «Ревизор», «Месяц в деревне», «Бедная невеста», «Горькая судьбина» Писемского, «Смерть Ивана Грозного», «Власть тьмы», «На дне», «Вишневый сад», «Профессор Старицын» Леонида Андреева и «Мистерия — Буфф».

вестность. Но он и здесь постарался умалить Горького.

На всем протяжении статьи он не нашел нужным даже упомянуть названия пьес великого писателя и ограничился беглым замечанием, что пьесы Горького «безнадежно бесформенны». Однако передовые английские и американские критики считают «На дне» одной из лучших пьес мирового репертуара (эта пьеса шла и в Америке, и в Англии), и многие американские и английские писатели считают Горького в числе своих учителей. Можно бы привести много фактов, свидетельствующих о том, что вокруг Горького идет борьба на страницах английской и американской критики. Эта борьба идет и вокруг других русских писателей, в том числе и вокруг Чехова.

Можно привести много фактов, свидетельствующих о широкой и прочно укоренившейся славе Толстого и Достоевского. Англичане и американцы знают, что вне воздействия Льва Толстого не остался ни один действительно большой художник слова нашего столетия.

В Англии и Америке Чехов, наряду с Толстым, Достоевским и Горьким, стал «первым среди первых», а для многих «самым первым». Проза Чехова гораздо легче поддается переводу, чем, например, проза Горького. Чехов нашел неутомимых и превосходных воспроизводителей его произведений на английском языке в лице переводчицы Констанс Гарнет и других мастеров перевода[1]. У Чехова гораздо меньше «локального», чем, например, у Островского. Постепенно и все быстрее за последнее время, в дни отечественной войны, когда взоры народов Англии и Америки с восхищением устремлены на Советский Союз и когда многие англичане и американцы начинают по-настоящему оценивать культурные сокровища нашей родины, происходит раскрытие подлинной сущности творчества Чехова в сознании передовых и лучших ценителей литературы в Англии и США.

К влиянию Чехова на английскую и американскую литературу, к его широкой популярности в Англии и США нельзя подходить только с точки зрения, так сказать, количественного учета. Наряду с глубокой и верной оценкой Чехова на страницах английской и американской критики встречаем и грубые искажения самой сущности его творчества. Для реакционной критической мысли недоступной оказалась та вера в будущее русского народа, которая проникает все творчество Чехова, непонятным оказался и горячий пафос надежд и чаяний, которыми исполнены лучшие чеховские герои.

Если не знать и не понимать истории нашей родины, не знать и не любить советской России,— нельзя понять для чего жили и страдали герои Чехова, и как близок советским людям гуманизм Чехова.

С другой стороны, завзятые эстеты, скептики и литературные снобы всех мастей и оттенков, не могли, конечно, не признать художественного мастерства Чехова, но в... маться в его творчество им оказалось просто не под силу. Стоя на позиции эстетической, чисто субъективной критики, с... разрушали образ Чехова и из обломков со... давали портрет по собственному своему... добию... Наряду с этим, в английской американской критике, в последнее вре... все чаще, встречаются глубокие и правдивые высказывания о Чехове. Именно сейчас Чехов одерживает в Англии и США не только победу, в смысле количественного расширения огромного круга его читателей, но и победу моральную,— в смысле более правдивого и глубокого понимания и истолкования его творчества.

Незаметно и негромко, без открытой полемики, завязалась на страницах английской и американской критики борьба вокруг Чехова. Мы здесь не можем дать исчерпывающий очерк этой борьбы и остановимся лишь на нескольких наиболее типичных фактах.

В 1903 году в Англии вышла небольшая книжка рассказов Чехова в переводах Лонга. В предисловии переводчик говорит о Чехове как о «весьма мало известном в Англии писателе». «Имя Чехова,— пишет переводчик, — ничего не говорит широкому читателю». Творчество Чехова переводчик характеризует глубоко неверно. Творчество Чехова проникнуто «оптимистическим отношением к жизни». Так, с самого начала Чехов характеризуется как пессимист. Но, что могло заставить Лонга тратить время на переводы чеховских рассказов? Мы думаем, что тот пессимизм, который охватил некоторые слои английской интеллигенции в конце прошлого и начале нынешнего века, побудил к любованию чеховской грустью и подменил этой грусти собственным пессимизмом. Недаром Лонг начинает свой сборник «Черного монаха».

Но постепенно Чехов завоевывал более широкое признание и более правильное истолкование. Здесь, как известно, значительную роль сыграл Бернард Шоу,— факт уже отмеченный в нашей литературе (см. С. Балухатый, «Чехов-драматург», Гослитиздат, 1936 г.). В 1911 году на лондонской сцене был поставлен «Вишневый сад». Спектакль не имел никакого успеха[1]. Публика нашла пьесу «слишком русской». По воспоминаниям свидетелей, из всех присутствовавших писателей, один лишь Бернард Шоу пришел в восторг, настаивал на общечеловеческом, а отнюдь не только русском значении пьесы, и говорил в антракте русским знакомым, что чуть ли не перестанет писать,— так сильно он чувствует исчерпывающее превосходство Чехова как психолога современности» (З. Венгерова, «Бернард Шоу и Чехов». «Накануне», 1922, № 10 5 августа лит. прилож. № 12).

Итак, Шоу, мимоходом отметив психологическую глубину произведений Чехова и пр...

[1] Впрочем, знаменитый американский режиссер Маргарет Уэбстер жалуется на переводы Чехова: «Иногда переводы неуклюжи и слишком буквально следуют идиомам, что хотя и точно, но для нашего уха непривычно».

[1] По свидетельству английского актера Майкля Редгрейва, это был очень плохой по исполнению спектакль. Следующие чеховские постановки в Англии: «Иванов» (1912). «Чайка» (1912). «Дядя Ваня» (1914). Лишь в середине 20-х годов Чехов снова появился на английской сцене.

восходство его в этом отношении над другими современными писателями («психолог современности»), сказал об общечеловеческом значении Чехова и тем самым присоединился к тем английским критикам, которые уже тогда начинали понимать общечеловеческое, мировое значение русской литературы. Сам Бернард Шоу не избежал впоследствии влияния Чехова,— влияния, которое, как известно, с особенной ясностью сказалось в его пьесе «Дом разбитых сердец» (1920). Недавно к сорокалетию со дня смерти Антона Павловича Бернард Шоу прислал телеграмму, в которой назвал Чехова «звездой первой величины».

Одним из первых английских критиков, высоко поднявших имя Чехова, был прославившийся своими критическими статьями Мак Карти. Он опубликовал в 1914 году в журнале «Нью Стейтсмэн» большую и блестяще написанную рецензию на спектакль «Дядя Ваня» [1]. «Дядя Ваня»,— пишет критик,— великолепная пьеса, которая никогда не изгладится из памяти», «Эти люди, описанные Чеховым, как чужды они и, вместе с тем, как близки нам!» Подробно описывая спектакль, критик старается передать тот трепет жизни и то богатство красок, которыми так богата пьеса Чехова. «Чехов,— пишет далее Мак Карти,— следует по стопам Тургенева... Но, по сравнению с Тургеневым, атмосфера, проникающая его произведения, кажется еще более душной...» «Разве вы,— обращается к своим читателям Мак Карти,— не ощущали, гуляя по нашим английским полям или входя в наши английские дома, вот такого же удушливого тумана, заползающего к вам в горло?..» Мак Карти улавливает какое-то внешнее сходство настроений героев Чехова с настроениями, бродившими в то время в среде английской интеллигенции, и когда дает общую характеристику творчества Чехова, он незаметно для себя подменяет портрет писателя автопортретом этой интеллигенции...

«Основная тема Чехова — разочарование в жизни,— пишет Мак Карти.— И есть изысканность в этой скорби». Мир реальных вещей, по мнению критика, как бы исчезает в творчестве Чехова. Истинную реальность обретают лишь настроения действующих лиц, лишь то, что происходит в их внутреннем мире: «Чехов описывает подлинную трагедию, происходящую во внутреннем мире действующих лиц, в их чувствах, в их душах, но не во внешних событиях».

Так велико было обаяние чеховского искусства и вместе с тем так значительно непонимание его истинной сущности, что поколение английских писателей, выступивших в литературе непосредственно после 1918 года, поколение «разочарованных», приветствовало Чехова как «своего» писателя. В их истолковании Чехов даже не пессимист, он созерцатель жизни, с грустной улыбкой следящий за ее вечными и бесцельными превращениями.

Даже Эдуард Гарнет, так много сделавший для популяризации Чехова в Англии, грешит подобными ошибками. Широко известно высказывание Гарнета: «Одна из наиболее жизненных черт искусства Чехова, как и его великих русских предшественников, заключается в том, что на фоне его образов всегда ощущается дыхание широкого океана человечности, крестьянских масс, и это видение скрытых глубин поднимает его образы над плоским, классово-ограниченным уровнем западно-европейской беллетристики».

А наряду с этим в чеховском портрете, написанном Гарнетом, проступают лживые черты автопортрета. Ход жизни для Чехова, по мысли Гарнета, проникнут фаталистической «неизбежностью». Гарнет вспоминает, что Чехов был врачом, и дает мировоззрению его следующее определение: «Научная пассивность...»

Нельзя здесь не отметить, что и русской критике Чехов не сразу дался, и что эпигоны народничества, с одной стороны, и критики-импрессионисты, с другой, толковали Чехова вкривь и вкось, как пессимиста или как созерцателя — «холодную кровь». А между тем великая красота и правда чеховского творчества пробивала путь к уму и сердцу читателей и находила все более правильную оценку. «Сегодня,— писал Миддлетон Мерри (Middleton Murry) в начале двадцатых годов,— мы начинаем понимать, как интимно близок нам Чехов; завтра, быть может, мы поймем, как бесконечно далеко он впереди нас». Об этом еще нераскрытом в творчестве Чехова богатстве интуитивно ощутимом, но логически еще не осознанном, писала известная английская писательница Вирджиния Вульф: «Когда упоминают о русских писателях, чувствуешь, что писать о литературе, кроме русской литературы, является потерей времени... Русская литература наполняет читателя поразительным чувством свободы» [1]. Из русских писателей наибольшее влияние на творчество В. Вульф оказал Чехов [2].

Каковы бы ни были истолкования творчества Чехова на страницах английской критики слава великого русского писателя неудержимо росла из года в год, и все явственней ощущалось его влияние на английскую и американскую литературу,— согревающее влияние, если можно так выразиться, пробуждающее сочувствие к живому человеку.

Даже «Энциклопедия Британика», в истолковании Чехова стоящая на реакционных идейных позициях, должна была признать: «Его слава и его влияние за пределами России огромно выросли за последние годы», «Его почти единогласно считают величайшим русским писателем, величайшим мастером рассказа и драматургом современности». «Английские критики,— продолжает «Энциклопедия»,— даже называли его величайшим драматургом со времен Шекспира». Увлеченная славой Чехова в Англии, «Энциклопедия» делает поползновение «присвоить» Чехова: «Если суждено появиться литературной школе Чехова, школа эта появится в Англии».

И в этой же статье проводятся самые реакционные взгляды на творчество Чехова. «Его (Чехова) психологизм проходит мимо индивидуума». Герои Чехова, оказывается, «не яв-

[1] D. Mac Carthy. «Uncle Vanya», The New Statseman, 16 May, 1914.

[1] Цит. «Reade,» Main Currents in Modern Literature, London, 1935.

[2] См., например, A. K. Marble «A Study the Modern Novel,» 1937.

ются личностями» .. Не о личностях, а о настроениях говорит Чехов. Истинно реальным в его произведениях является настроение, в изменчивом потоке которого как бы растворяются отдельные личности.

Но как же с этой оценкой примирить огромное и благотворное влияние Чехова на английскую литературу, что признает Энциклопедия. В приведенном противоречии отразились, конечно, противоречия и борьба в общественной мысли реакционных и прогрессивных тенденций в Англии 20-х годов нынешнего столетия. Цитированная статья была напечатана в Энциклопедии в 1926 г. В 1936 г. эта статья была перепечатана со значительными сокращениями, причем сокращения и пришлись за счет наиболее грубо неверных высказываний.

И все же слава и влияние Чехова продолжала расти. Профессор Казамьян в его уже упомянутой нами «Истории английской литературы» (изд. на английском языке в 1927 г.), труде, широко известном как в Англии, так и в США, говорит о влиянии русской литературы как об основном факторе в развитии современной английской литературы и современной английской драматургии.

«В драматургии,— пишет Казамьян,— не в меньшей степени, чем в художественной прозе, русское влияние является наиболее действенным». По мнению Казамьяна, к концу прошлого века значительная часть английской литературы была как бы скована французским влиянием, влиянием Флобера и Мопассана, несшим с собой культ внешней формы. В настоящее время английская литература освобождается от этого культа внешней формы, все в большей степени обнаруживая стремление к «реализму, откровенности в описании чувств, смелой общественной критике, свободному обсуждению всевозможных проблем». Этому процессу, как констатирует Казамьян, в значительной степени способствует влияние русской литературы... «Конкретное и, так сказать, непосредственное искусство русских писателей,— пишет он,— поставило перед английскими писателями образец, гармонирующий с врожденным влечением последних. Те позиции, которые терял Мопассан, завоевывал Чехов». И дальше: «Влияние русской литературы объясняется тем, что сущность этой литературы глубоко соответствует охватившему английских писателей стремлению к непосредственной правде». Направленность этого движения в английской литературе, совершающегося под влиянием русских писателей, Казамьян характеризует как «возвращение к национальной склонности». Итак, влияние русской литературы, как указывает Казамьян, является врагом культа внешней формы. Оно — мощный стимул, будящий «стремление к непосредственной правде». Оно, наконец, способствует возвращению английских писателей к исконным путям их отечественной литературы.

Говоря о влиянии русской литературы, Казамьян прежде всего назвал Чехова. К этому времени произведения великого русского писателя были не только переведены на английский язык и не только шли на сцене, но также и печатались. В 1923 году вышла монография о Чехове на английском языке (Gerhardi «Anton Chekhov»). И все же лучшим, что было написано на английском языке о Чехове в те годы,— и, может быть, не только в те годы,— является небольшая, но замечательная статья Пристли, напечатанная в 1925 году в «Сэтердей Ревью» [1] и написанная по поводу издания на английском языке писем Чехова.

«Чехов уже оказал огромное влияние на английскую литературу,— пишет Пристли,— и влияние это ни в коем случае не исчерпало себя. Лучшие мастера наши короткого рассказа откровенно признают, скольким обязаны они Чехову». Влияние Чехова, согласно Пристли, не только не исчерпало себя: «оно только еще началось». Пристли восхищается в Чехове краткостью, тем, «с какой простотой он констатирует факты». Чехов — глубочайший психолог. Но он не копается в психике своих героев. Он подходит к субъективному через объективное, ограничиваясь констатацией событий, действий, воспроизводя диалог. Но через внешнее мы, читатели и зрители, проникаем во внутренний мир его героев. Многие английские и американские критики провозглашали Чехова предшественником импрессионистов и «модернистов». Пристли проводит между последними и Чеховым резкую границу. «Чехов,— пишет он,— бесконечно далек от большинства наших модернистов, которые в своих произведениях, с первой главы и до последней, копаются в сознании своих героев и героинь». Пристли видит здесь принципиальное различие: «Модернисты» завершают период истории литературы, Чехов начинает новый. «Джеймсы Джойсы нашей литературы,— пишет Пристли,— не открывают собой новой эры, как воображают многие; наоборот, они завершают эру прошлого». Чехов же, по определению Пристли — «подлинный новатор». Как видим, точка зрения Пристли, крупнейшего современного писателя Англии, близкая к нашему пониманию Чехова, диаметрально противоположна статье в «Энциклопедии Британика».

Пониманию Чехова в Англии и США в большой степени способствовал Московский Художественный театр. Еще в 1919 году вышла на английском языке посвященная русскому театру книжка американца Сейлора [2].

Автор этой книжки восхищается МХАТом. Характеризуя чеховские спектакли — «Три сестры» и «Вишневый сад»,— Сейлор тем самым характеризует и Чехова. «МХАТ, по словам Сейлора, создает своими чеховскими постановками новый театр, чуждый напыщенно-риторическому театру старого времени, а также театру футуристов и импрессионистов». «Чеховские спектакли в МХАТе — сама жизнь, а не подражание ей». Сейлор преклоняется перед «простотой и правдивостью Чехова».

Огромное влияние на дальнейшее развитие американского театра оказал МХАТ во время своего посещения США в 1923 году. По справедливому замечанию того же Сейлора, написавшего книгу о МХАТе [3], «влияние МХАТа

---

[1] B. Priestley, «Chekhov as critic», Saturday Review, 17 oct., 1925.

[2] Oliver Sayler, «The Russian Theatre», 1919.

[3] Oliver Sayler «Inside, the Moscow Art Theatre» 1925.

на американский театр нельзя определить при помощи статистики.» Из чеховских пьес МХАТ показал «Вишневый сад», «Три сестры» и «Дядю Ваню». Впечатление от этих спектаклей Сейлор суммирует в простых, но значительных словах: «Американцев покорила необыкновенная человечность русского искусства».

О «живой правде» Чехова в Англии и Америке пишут часто и пишут умно и правдиво. Но нередко под «живой правдой» понимается копирование жизни, фотография ее: и тогда реализм Чехова истолковывается как натурализм. Здесь, в этом вульгарном истолковании,— корень распространенных обвинений Чехова в «серости красок», в «отсутствии сюжета» и т. д. При этом Чехов иногда противопоставляется «яркому», «красочному» Шекспиру. Этому противопоставлению, недавно дала отповедь Маргарет Уэбстер,— один из крупнейших режиссеров сегодняшней Америки,— написавшая в мае нынешнего года «Письмо Чехову».

«Дорогой мистер Чехов (или, вернее, Антон Павлович!) Несколько лет тому назад я имела удовольствие на столбцах этой же газеты обратиться с письмом к вашему собрату-писателю и, я в этом уверена, другу — Вильяму Шекспиру... Мне кажется, что, несомненно, существует некое небесное место встреч, где вы встречались с мистером Шекспиром. Драматические школы стремились видеть в вас обоих противоположные полюсы; но в эмпиреях вряд ли имеются полюсы, и у вас, и у него, наверное, нашлось много общего. Ваше и его театральное мастерство, совершенно различные по своим средствам и технике, в конце концов стремились к одной цели — приковать к себе зрителей (которые не очень изменились), заставить их смеяться, плакать и самое главное — не оставаться равнодушными».

Маргарет Уэбстер подтвердила свои слова на практике: она заставила зрителя «не оставаться равнодушными» и в своей замечательной постановке «Отелло» (при участии в роли венецианского мавра Поля Робсона) и в своей новой постановке «Вишневого сада» в нынешнем году в Нью-Йорке,— постановке имевшей огромный успех.

Из многочисленных, написанных американцами статей о Чехове упомянем о небольшом, но интересном предисловии к сборнику рассказов Чехова, вышедшем в 1928 году. Автор этого предисловия — профессор чикагского университета — Олбрайт (E. M. Albright), озирая творчество Чехова в целом, видит в этом творчестве «мечту о новой России». Олбрайт превозносит «искренность и простоту Чехова, а также то, что он глубоко симпатизирует людям».

«Объективность» Чехова, говорит Олбрайт, в значительной степени преувеличена. По многим сторонам своего творчества Чехов — сатирик. Он стремился «разбудить спящих». «Вдумчивый читатель уж никак не упрекнет его в апатии... Глубоко ошибочно считать его фаталистом... Завет Чехова это завет труда». «Пусть лучшие произведения Чехова,— говорит автор предисловия,— написаны неяркими и даже темными красками, воздействие, ими оказываемое, никогда не бывает ни мрачным, ни тусклым. Никто, как Чехов, не умел находить в самой монотонности многообразие». Критик, коснулся здесь важной проблемы эстетики: написанное темными или «серыми» красками произведение может вызвать прилив ярких и жизнерадостных чувств; наоборот, ослепительно яркая картина порой вызывает чувство внутренней опустошенности и скорби.

Непонимание этой проблемы, непонимание всей противоречивой сложности отношения художественного образа к восприятию зрителя или читателя и явилось одной из причин того, что Чехова в Англии и Америке нередко обвиняли в «мрачности».

Маргарет Уэбстер в уже цитированном нами «Письме к Чехову» остроумно опровергает эту вульгарную точку зрения. «У вас существуют ремарки,— мысленно обращается она к Чехову,— например «зевает». Я уверена, что вы совершенно не имели в виду ту усыпляющую анестезию, которую нередко вызывает это простое слово. И дальше: «В Америке каждое возобновление ваших пьес вызывает возгласы удивления, потому что тотчас же становится совершенно ясным, что ваши пьесы не серые, мрачные (пожалуйста, сдержите себя, Антон Павлович), а легкие, веселые и даже сродни фарсу, и вместе с тем они грустные до слез, потому что такова человеческая жизнь — одновременно трагическая и смешная, и потому что героизм вдруг рождается у человека самого скромного и менее всего сознающего свой героизм»... Говоря о том, почему Чехов назвал «Вишневый сад» «комедией», Уэбстер пишет: «для нас термин «комедия» имеет более старинное, более универсальное значение, какое он имел для Данте и его «Божественной комедии», а не узкое значение, низводящее этот термин до уровня ревю с голыми женскими ножками или пропагандой Ноэля Кауарда».

Перечень английских и американских писателей, в той или иной степени испытавших влияние Чехова, составил бы огромнейший список. Даже в американских «детективных» рассказах порой чувствуется отголосок влияния Чехова. Его влияние на современную английскую и американскую драматургию очень значительно. «Чехов больше, чем любой другой современный драматург, имеет влияние на серьезный театр Англии»,— писал недавно Пристли. Драматургия самого Пристли несомненно впитала в себя многие элементы драматургии Чехова. Ясные следы этого влияния носят на себе пьесы Могэма, самого популярного, по количеству постановок, драматурга современной Англии. И, конечно, не без влияния Чехова написана пьеса «Юпитер смеется» (Jupiter Laughs) Кронина, одна из лучших пьес, созданных в Англии за последнее время.

На английской сцене, как и на страницах английской критики, раскрытие Чехова происходило лишь постепенно. Первые чеховские спектакли в Англии (1911—1914) были, повидимому, достаточно бледными в художественном отношении. В середине двадцатых годов Чехов снова появился на английской сцене. С большим успехом прошли в 1926 г. «Три сестры», хотя этот спектакль и был окрашен в искусственные тона «романтической поэтичности», так сказать, «тургеневские» тона

(недаром актеры были одеты в красивые старинные костюмы шестидесятых годов); Тузенбах в этом стилизованном спектакле был красивым молодым любовником. Во всяком случае успех этого спектакля много содействовал популяризации Чехова на английской сцене.

Наиболее значительным чеховским спектаклем в Англии была, повидимому, постановка «Трех сестер» в 1938 году, сделанная в плане живой правды и тонкого психологического рисунка. Из многочисленных американских драматургов, испытавших влияние Чехова, упомянем хотя бы Одетса. Некоторые пьесы последнего в Америке принято называть «чеховскими» [1]. Пьесы Чехова постоянно встречаются в репертуарах американских театров,— и профессиональных, и любительских, и студенческих — и нам не раз приходилось читать высказывания американских режиссеров, констатирующих тот факт, что Чехов всегда дает полные сборы и является одним из самых «кассовых» писателей.

Чеховские пьесы проникли и на ирландскую сцену, в знаменитый Эббей-театр в Дублине. Историк ирландской драматургии [2] указывает на то, как близок Чехов, наряду с Гоголем и Тургеневым ирландскому театру благодаря какому-то внутреннему родству. «Если изменить имена и географические названия в пьесах таких русских писателей, как Чехов, Гоголь, Тургенев, их можно было бы легко выдать за пьесы, написанные ирландцами». Это, конечно, не так. По сравнению с творчеством наших великих драматургов, творчество корифеев ирландской драматургии,— Синга, Иетса, Леди Грегори,— гораздо эксцентричней, гротесковей. Но замечательно то, что великие наши писатели в разных странах оказываются близкими и родными разным народам и их действительно большим художникам.

Великая отечественная война против гитлеровской Германии, против темных сил человеконенавистничества и зла, заставила, как мы уже указывали, многих англичан и американцев глубже и правильней оценить сокровища нашей культуры, в том числе и творчество Чехова. В 1942 году вышла уже упомянутая нами книга английского писателя Бейтса, посвященная рассказу, как художественному жанру. Бейтс резко противопоставляет Чехова Мопассану. Он сравнивает Мопассана с поваром, который изготовив блюдо, следит за тем, чтобы читатель съел его так, как этого хочет Мопассан. Чехов, поставив блюдо на стол, деликатно удаляется, предоставив читателю самому разобраться во вкусе изготовленного блюда.

Если Мопассан, согласно Бейтсу, подходит к человеку с холодной объективностью судебного следователя, то Чехов подходит к человеку как врач, с чувством глубокого сострадания и «сам принимает на себя долю ответственности за болезнь своего пациента». Бейтс горячо ополчается на тех критиков, которые обвиняют Чехова за «серость красок» и за то, что «в произведениях его нет сюжета и ничего не происходит». В такой оценке виноваты лишь сами невдумчивые читатели. Чехов дает намек, который мы должны сами расшифровать и дополнить. И неверно то, что Чехов скептик: во всех его произведениях нет ни единой,— Бейтс перефразирует Шекспира,— «уксусной улыбки». Замечательно у Чехова то, что в произведениях его нет никого поддельного, никакой фальши, никакого трюкачества. Тут все настоящее и именно это свидетельствует о глубоком уважении Чехова к своему читателю.

Бейтса восхищает в Чехове «русская чистота души» и «русское величие сердца». Чехов констатировал правду, как он видел и чувствовал ее, и в этом,— пишет Бейтс,— «залог бессмертия Чехова». Великий русский писатель не пессимист. Взор его был обращен в будущее. «Передовые русские писатели девятнадцатого века,— пишет Бейтс,— от Тургенева до Горького, все мыслили на языке понятий нового гуманизма». И констатируя огромное, продолжающееся влияние Чехова на английскую литературу, Бейтс говорит о том, как «далеко опередил» английских писателей Чехов.

В характеристике Бейтса есть и серьезный недостаток. Чехов в его изображении кажется порой чрезмерно изысканным и трудным писателем, доступным по-настоящему только для «избранных», только «для знатоков литературы». Но ведь с этой точки зрения остается непонятным хотя бы тот простой факт, что «шестидесятовые» издания Чехова мгновенно расходятся в Англии.

Но важно и хорошо, что Бейтс сумел понять жизнеутверждающую сущность творчества Чехова.

Мысль о том, что взор Чехова был с надеждой устремлен в будущее, была недавно превосходно сформулирована Пристли в словах, которые мы не можем здесь не процитировать: «Чехов больше, чем любой другой современный драматург, имеет влияние на серьезный театр Англии... Своим магическим даром Чехов освободил современного драматурга от цепей старых условностей. Больше того, он принес в театр свое великое предвидение, горячую надежду на человечество, глубокое, неиссякаемое чувство сострадания. Россия должна гордиться своим удивительным даровитым сыном, чьи замечательные пьесы и герои волнуют людей во всем мире. И я верю, что Чехов сейчас глубоко порадовался бы своей любимой России, стремящейся воплотить в жизнь все его надежды» [1].

Родственными мыслями проникнута была и постановка «Трех сестер» в начале 1943 года на Бродвее. «Три сестры,— писал рецензент спектакля [2],— произведение современной классики. Многие считают эту пьесу одним из величайших произведений мировой драматургии. Люди, созданные Чеховым полвека тому назад, живут сегодня полнокровной волнующей жизнью на сцене нью-йоркского театра... Чеховская драматургия звучит и в наше время полным голосом потому, что никто не знал законов человеческого сердца так, как

[1] См. Eleanor Flexner, «American Playwrights, 1938.

[2] Andrew E. Malone, «The Irish Drama», 1929.

[1] Литература и искусство, 1 июля 1944 г.

[2] Журнал «Theatre Arts», февраль 1943 г.

ал их Чехов, и никто не умел так о них сказать». Спектакль, по мнению рецензен- не снижается тем, что в нем «рассказы- ется о мечтателях, не сумевших достичь ей жизненной цели». Наоборот, пьеса гово- т о «предвидении грядущих перемен». чно так же и руководитель спектакля пи- об оптимизме Чехова, коренившемся его неиссякаемой вере в грядущие судьбы човечества.

В нынешнем году в Нью-Йорке, как мы е упоминали, с огромным успехом прошли ектакли «Вишневого сада» в постановке ргарет Уэбстер. По ее словам, Чехов «ни- да не был так близок американцам, как час». Творчество великого русского писа- я является крепким звеном в дружбе сво- олюбивых народов.

Маргарет Уэбстер и другой выдающийся риканский режиссер, поставивший целый чеховских спектаклей, актриса Ива Ле- ьен писали в телеграмме, присланной ими Советский Союз в связи с сорокалетием со смерти Чехова: «Те из нас, которым вы- о огромное счастье работать над пьесами кова, чувствуют тесную связь с вами в ь 40-й годовщины его смерти. Мы горды , что хотя бы в малой степени содейство- вали ознакомлению американских зрителей произведениями Чехова. Его мягкий юмор и сердечная гуманность являются бессмертным достоянием всего мира. Высокая оценка про- изведений Чехова в нашей стране является важным фактором в укреплении все воз- растающего взаимопонимания между нашими великими странами». «Чехов,— писал в своей телеграмме американский писатель Джон Гунтер,— распахнул чудесно освещенное окно, через которое американцы могут наблюдать и понимать русскую жизнь. И сейчас, когда все мы понимаем, что означает русская жизнь для мира, наша благодарность Чехову становится все более глубокой». О том же говорила и телеграмма известного американского драма- турга Лиллиан Хелман.

Для Уэбстер и Ле-Гальен, как и для Гун- тера и Хеллман, произведения Чехова, говоря словами Уэбстер, «полны предвидением будущего» (Уэбстер сравнивала творчество Чехова со «звуками пророческой трубы»).

Так постепенно перед англичанами и амери- канцами открывается подлинное лицо Чехова. Помочь английскому и американскому чита- телю еще глубже и разносторонней понять творчество Чехова — долг наших критиков и писателей, долг наших литературоведов.

СТАМБУЛ

Счет к автору

Когда смотришь в филиале МХАТа ярочный и мастерски поставленный спек- ль «Глубокая разведка» Александра Кро невольно вспоминается высказанная лет инадцать тому назад в журнале «Театр и матургия» актером В. О. Топорковым жа- ба на то, что в ряде современных пьес олнителю и режиссеру приходится «выру- ь» драматурга. Упрекая авторов в надуи- ности, ходульности и нарочитости созда- емых ими образов, Топорков писал: «Актер свои силы тратит на то, чтобы заставить блику поверить тому, что персонаж не схе- , а человек». «Глубокая разведка» является ликолепной иллюстрацией к этим словам. ому Топоркову пришлось приложить не ло таланта и искусства, чтобы облечь в оть и кровь схематичный и неестественный раз геолога Мориса. И если спектакль все е воспринимается как интересное и волную- ее зрелище, то в этом всецело заслуга атра.

В газете «Литература и Искусство» от 12/IV была помещена статья Д. Тальникова б искусстве режиссера. Подробно останав- ваясь на постановке «Глубокой разведки», втор называет спектакль «в чисто театраль- ом смысле лучшим из всего того, что сде- ано пока нашими театрами за последнее ремя». Он подчеркивает заслуги театра в еле «преодоления» недостатков пьесы. «От сего спектакля «Глубокая разведка»,— пи- шет он,— веет неотразимостью «живой жизни», простоты ее, а ведь пьеса сугубо производственная, где в нагромождении чисто деловых и прозаических фактов зача- стую тонет сама тема, задуманная автором, как тема глубокой разведки в жизни». Но «скидка» на тематику, как нам кажется, не мо- жет оправдать слабость пьесы.

Как в литературе, так и в драматургии мы знаем многочисленные примеры, когда именно «производственная» тематика позволяла автору особенно ярко раскрывать образы характеры людей. Сошлемся хотя бы на такие «про- изводственные» романы, как «Жерминаль» или «Человек-зверь» Золя.

В маленькой иконописной мастерской или в хлебопекарне, куда нас ведет Горький, нам открывается богатейший внутренний мир чело- века. И все же это произведение о больших человеческих страстях и глубоких душевных переживаниях. И, конечно, не характер те- матики делает пьесу «Глубокая разведка» слабой и нежизненной. Основными ее недо- статками являются схематичность и неесте- ственность персонажей, непоследовательность и немотивированность их действий и поступ- ков, многочисленные неувязки сюжетных построений, расчет на дешевые внешние эффекты.

Сюжет пьесы[1] вкратце сводится к следую щему. Разведывательный отряд ведет работы в отдаленном районе Азербайджана. По изы- сканиям геолога Мориса, здесь, на большой глубине, скрыты богатейшие залежи нефти. Пять лет убито на поиски. На них затрачены огромные средства и усилия. Но результатов пока не видно. Руководство работами попало

[1] «Новый мир», № 9 за 1945 г.

в неопытные и недобросовестные руки. В погоне за рекордами скоростного бурения начальник участка Гетманов допустил опасную кривизну скважины, ежеминутно грозящую аварией. Его заместитель, инженер Мехти, скрывает эту кривизну, фальсифицируя результаты замеров. Напрасно протестуют честные специалисты. Гетманов резко и властно пресекает всякую критику, и у них нехватает мужества вступить в открытую борьбу. Когда выясняется необходимость увеличить проектную глубину бурения, Гетманов и Мехти, сознавая, что кривизна сможет привести к катастрофе, пытаются добиться прекращения работ под предлогом, что нефти на участке нет. Но приезжает энергичный, решительный и честный человек — главный инженер и заместитель управляющего трестом Майоров. Он быстро разбирается в обстановке, поддерживает смелый проект исправления кривизны, выдвинутый молодым инженером Теймуром, и зводно помогает исправить и «кривизну душ» у тех, у кого она еще поддается исправлению. В результате он добивается победы.

Как мы видим, сам по себе сюжет не лишен жизненности и интереса. Но качества пьесы определяются не только ее сюжетной стороной, но и искусным, мотивированным раскрытием характеров персонажей, стройным и умелым развертыванием самого действия. В этом отношении приходится констатировать, что автор не справился со своей задачей. Именно, может быть, потому, в целях оживления пьесы, в нее введены побочные сюжетные линии, как, например, любовный конфликт Марины и Майорова, чисто эпизодические лица вроде коменданта и т. п.

Название пьесы звучит явно символически. Автор имел в виду не только процесс проникновения в недра земли в поисках таящихся там богатств, но и «глубокую разведку» человеческих душ. Можно было ожидать, что в ходе действия раскроются характеры героев, обнаружатся потаенные истоки их качеств, их поведения. Однако уже с первого акта ясно, что никакой «глубокой разведки» для раскрытия сущности персонажей не требуется. Они все как на ладони. Автор отступает перед сложностью своего замысла и спешит выдать своим героям подробный аттестат пороков и добродетелей, вплоть до сведений анкетного порядка. Сцепление событий, а не столкновение и развитие характеров и жизненных судеб двигают ход действия в пьесе.

В цитированной нами выше статье В. О. Топорков писал: «Константин Сергеевич Станиславский учит нас, актеров: играя злодеев, не надо выпячивать их злодейство, не надо каждую минуту уверять всех: «ей богу, я злодей». А вот современные драматурги делают как раз наоборот. Положительный персонаж с первой же реплики и до последней все время в разных вариациях повторяет: «ей-богу, я положительный». Правда, иногда, в виде редчайшего исключения, автор позволяет герою совершить какой-нибудь промах или сделать ошибку, но герой перед этим и после этого так долго извиняется, что и зритель, и актер, и сам автор отнюдь не сомневаются, что он все-таки «положительный». Именно по такому рецепту действуют персонажи «Глубокой разведки». Автор старательно распределил их на категории «абсолютно положительных» и «абсолютно отрицательных», расставив в промежутке ряд «извиняющихся». Но и в дальнейшем автор проявляет неусыпную, а подчас и назойливую заботу о том, чтобы читатель или зритель не смешали бы этих категорий, что еще более лишает жизненности персонажей пьесы. Кроме того, в их поступках и словах много путаного, нелогичного, вызывающего законное недоумение.

Одна из центральных фигур пьесы — начальник разведки Гетманов. Нарисован он в самых неприглядных красках. Гетманов карьерист. Снятый с должности начальника промысла в Баку за хищническую эксплоатацию скважин, он и на новой работе стремится выдвинуться порочным методом рекордсменства, равнодушно и безучастно относится к самой сущности порученного ему большого и важного дела. Он подобострастен с начальством и грубо пренебрежителен с подчиненными. Развязно покровительственно обращается он со своим старым другом Майоровым, не подозревая, что тот и является его начальником, и резко меняет свое отношение, как только это становится известным. Он мелочный рекламист. Его радует благоприятная газетная статья о его работе, хотя он и знает, что она куплена его заместителем. Он даже козыряет ею перед своим другом Майоровым во время, казалось бы, интимного задушевного разговора. «Моя работа отмечена в печати»,— говорит он ему. Без угрызений совести он велит оплатить этот расход из государственных средств.

На ответственную работу управления он выдвигает неспособного к ней человека, стремясь создать себе репутацию покровителя местных национальных кадров. И взлюбив по неведомым причинам рабочего энтузиаста Газанфара, он не сам откладывает ему в переводе в бурильщики, а искусно заставляет это сделать своего безвольного заместителя. Он покрывает злостного рвача Мехти и пользуется им для своих неблаговидных целей.

Казалось бы, что это завершенный портрет мелкого дрянного честолюбца. Но автор пытается изобразить в лице Гетманова сложный, сильный, волевой характер. Вопреки всему облику Гетманова автор хочет доказать, что совесть не совсем умерла в этом человеке, что он еще способен исправить «кривизну» своей души. Отсюда вытекает ряд необъяснимых противоречий. Так, например, после первого выговора Гетманов не стал оправдываться. Он говорит Марине, что был виноват и искренне, а не из гордости, сознался в своей вине. Это позволяет предполагать в нем внутреннюю честность и мужество. Но вслед за этим он уверяет Майорова, что его смещение было результатом интриг врагов. Автор заставляет Гетманова впадать в эти противоречия вовсе не для того, чтобы показать его двуличность. Подобную непоследовательность мы наблюдаем в образе Гетманова и в ряде других случаев. И когда автор пытается представить его «не злостным» в противовес «абсолютно отрицательному» Мехти, это звучит неубедительно.

Более того: сравнение Гетманова с Мехти далеко не в пользу первого.

Еще до своего появления на сцене Мехти уже характеризуется Майоровым, как наглец и рвач. Гетманов аттестует его, как плохого инженера. Сам Мехти бравирует тем, что его считают «бессменным классовым врагом». «Злодейство» Мехти усиленно подчеркивается на всем протяжении пьесы. Для сгущения красок он изображен любителем жизненных удобств и соблазнителем женщин. Автор всеми средствами создает вокруг него густую атмосферу антипатии. «Не нравится мне этот ваш Мехти»,— говорит Майоров. И Марина радостно отвечает ему: «Ага! Я так и знала, что ты поймешь. Знаешь, ты очень хороший парень, Саша. Очень настоящий»,— хотя явно не требуется большого ума или чутья, чтобы понять и разгадать Мехти. В конце концов Мехти мелкий жулик, ничтожество, и, право, кажется странным, что по такому воробью, заботливо, но неубедительно наряженному автором в оперенье крупной хищной птицы, делется столько артиллерийских залпов. При этом возникает законный вопрос, чем, собственно, поступки Мехти хуже поступков Гетманова, к которому явно снисходительно относится автор.

Если Мехти рвач, то он лишь выполняет распоряжения своего начальника. Преступно срывая кривизну скважины, а затем добиваясь прекращения работ, Мехти по существу действует в интересах Гетманова, с ведома и благословения последнего. Если он «запорол» скважину, то сделал это ради рекордов Гетманова и в ущерб своим интересам. «Мехти рекорды не интересуют»,— говорит он, и что в ходе пьесы не заставляет усомниться в правдивости этих слов. Но тогда, разве проще было ему согласиться на приостановку работ и потерю трехсот метров проходки, чем подвергать себя весьма серьезному риску? Явно неправдоподобно и то, что после мимолетного разговора с Мехти Гетманов так легко поверил в отсутствие нефти. Трудно представить себе, чтобы специалист, начальник разведки, был совершенно не в курсе изысканий своего геолога и так быстро перенял свое мнение лишь на основании психологических соображений Мехти. Гетманов просто принял протянутый ему якорь спасения. Таким образом, на нем лежит гораздо большая вина, чем на Мехти. «Некогрешимый» Майоров явно покрывал душою или же проморгал отсутствие простого здравого смысла, взвалив весь грех на Мехти.

Остается необъяснимым, что, собственно, толкало Мехти на преступление. В его поступках, так же как и у Гетманова, нет внутренней логики. Он сам характеризует себя как человека, выше всего ставящего жизненный комфорт и спокойствие. Он говорит Морису: «Я мог бы сделать карьеру шутя, не надрываясь, как вы. Клянусь, если бы я захотел, десять лет тому назад я был бы главным инженером треста. У меня были связи, меня тянули. И вот я рядовой специалист, уже два года болтаюсь по разведкам, меня жрут москиты. Я охотно уступаю вам опасные лавры. Я веселый человек, который ценит свой выходной день. Но когда человек «болтается по разведкам», это исключает комфорт. Было бы еще понятно, если бы перед Мехти были закрыты другие пути. Но, как мы видим, они существовали. Чем же объясняются тогда поступки Мехти? «Боязнь опасных лавров»? Но, отстранив от себя когда-то эти лавры, он неизвестно зачем подвергает себя гораздо более серьезной опасности и бескорыстно рискует всем для Гетманова. Вряд ли сам автор способен объяснить все эти неувязки.

Не лучше обстоит у автора с положительными персонажами.

Главным героем пьесы безусловно является Майоров. Это ходячая добродетель. Но как ни старался автор вдохнуть в него жизнь, он выглядит лишь резонером из старинной пьесы. Он не столько действует, сколько морализирует и поучает. Он поучает всех: Гетманова, Гуляма, Марину, Марго. При этом он сыплет прописными истинами.

Все ему удается поразительно легко. Он обеспечивает успех бурения, выводит на чистую воду Мехти и Гетманова, даже обращает на путь добродетели старую грешницу Марго. Он сам говорит о себе не то с иронией, не то с самодовольством: «Я вроде попа. Исповедую, благославляю, соединяю». Перед ним люди сразу начинают сознавать свои прегрешения. «Когда Саша (Майоров) увидел меня здесь, я сгорела со стыда»— говорит Марина, хотя непонятно, почему лишь под взорами Майорова она осознала постыдность своего безделия. Сорокалетняя, видавшая виды Марго вдруг понимает, что скверно иметь любовника, и т. п. Все это, конечно, мало убедительно. Мы должны на слово верить автору, что Майоров действительно обладает столь магическими свойствами. Внутреннего убеждения в этом не создается. Более того, некоторые штрихи, допущенные небрежностью автора, заставляют нас считать Майорова поверхностным и легкомысленным человеком. Так, никогда не видав данного участка, не имея понятия о работе на нем Гетманова, он писал о нем хвалебную статью. Вечером он говорит Мехти, что нефти возможно на проектной глубине нет, а уже через несколько часов уверенно заявляет о ее существовании и считает преступлением сомнения других. Можно было бы привести и ряд других примеров неувязок в образе Майорова.

Остановимся на Морисе. Существуют готовые трафареты, по которым любят изображать ученых или старых, преданных своему делу специалистов. Они обязательно должны быть раздражительными, чудаковатыми, не от мира сего и поражать несоответствием внешней суровости с внутренней мягкостью. Именно таков Морис. Изображение этого образа требует большого искусства и такта, иначе оно переходит в шарж. И даже в мастерском исполнении Топоркова мы не всегда отрешаемся от этого впечатления.

Одним из наиболее положительных персонажей пьесы является рабочий Газанфар. Но Газанфару автор придал экзальтированность институтки. Он умоляет принять его бурильщиком. Чтобы показать его энтузиазм, автор заставляет его тушить пожар руками, хотя рядом находится огнетушитель. Когда появляется нефть, Газанфар, по ремарке автора, прибегает «в трансе», «танцует» в конторе.

Чувства Газанфара нам понятны. Но для выражения их автор не сумел найти настоящих слов и заменил их неестественной патетикой. Беден и принижен и образ другого азербайджанца — Гуляма. Его покорность Гетманову, страх перед канцелярией и бухгалтерией отдают водевильным жанром. И только за счет исключительно талантливая игра Л. Эзова сообщает этому образу человеческую теплоту.

Эпизодическим и явно ненужным для сюжета персонажем является комендант. Это помесь Держиморды и унтера Пришибеева. Но если допустить, что образ коменданта — гротеск, то и тогда автор нарушил чувство меры. Чего стоит один язык коменданта. Он говорит: «Маргарита, не перетирай время...», «А я тебе заявляю, что есть установка привернуть в штурмовом порядке...», «Кровь с носа, вопрос исчерпан...», «Толкуешь, толкуешь, а все одно, что с монументом безответственным...», «Шофер, тот объективно может...» и т. д. Если это потуги на юмор, то они не говорят о большом вкусе.

Вообще в пьесе не мало «сомнительных» словечек. Марго сама рассказывает, что была замужем «за членом и кандидатом двух там наук». Но это не мешает ей выражаться: «На моей жизни умный мужик, а ты сдуру дьяволу в лоб не всколотишься», «ты выкаблучиваешься» (Марго — Мамонову). Мехти восклицает: «мне шьют дело», а Майоров журит Гуляма: «тогда я позабочусь, чтобы тебе пришаяли как следует». Никакие ссылки на «характерность» речи персонажей не могут оправдать эту словесную безвкусицу, тем более что употребляемые выражения часто противоречат всему стилю персонажа.

В пьесе слишком много несувязок, противоречий, случайностей, отсутствия динамики в сюжетных линиях. Укажем хотя бы на странное развитие и разрешение темы любви Майорова и Мамины. За пьесой нельзя отрицать известных достоинств. Некоторые сценки и диалоги сделаны талантливо. В качестве примера можно привести разговор Мориса с Мехти в третьем акте, когда геолог говорит о «магической карте, по которой он читает мысли Мехти. Но удельный вес таких мест в пьесе не велик, и они не спасают небрежную, непродуманную работу драматурга.

Н. БОГОСЛОВСКИЙ

Плоды невежества [1]

На титульном листе рецензируемого сборника не указано, кем он составлен и отредактирован, но, судя по всему, работа эта выполнена автором предисловия к сборнику — С. М. Лубэ. Благодарить его за это, скажем прямо, не приходится. Вопиющая небрежность, с какой преподнесен читателям сборник «русской патриотической лирики», сразу бросается в глаза. Между тем задача, которую должен был решить составитель, требовала в первую очередь элементарно-добросовестного отношения к делу.

Не вдаваясь в сложные библиографические изыскания, собрав общеизвестные в большинстве своем стихотворения и отрывки из поэм Пушкина, Жуковского, Лермонтова, Языкова, Некрасова и др., С. М. Лубэ ухитрился так обезобразить собранный материал искажениями, купюрами и опечатками, что нельзя не возмущаться.

«Задача этой книги,— говорится в предисловии,— дать в руки современному читателю, не располагающему специальными книжными фондами (?), лучшие образцы русской патриотической лирики». Прочитав эти строки, можно подумать, что выходу сборника в свет предшествовала долгая работа составителя над «специальными книжными фондами».

В действительности же там был отобран лишь лежавший на поверхности общеизвестный материал, да и то с непростительными упущениями.

Только стихотворение Филимонова, без которого вообще легко можно было обойтись, да «Реквием» Пальмина — только эти два произведения относятся к забытым «редкостям», украшающим сборник Лубэ.

Но давая место таким «именам», как Филимонов, составитель вовсе забыл о Карамзине, Баратынском, Каролине Павловой, Дельвиге, Веневитинове, Мее, Полонском, Щербине, Случевском и о многих других выдающихся поэтах прошлого века, чьи произведения безусловно должны были войти в такую антологию.

Некоторые поэты представлены необъяснимо скупо, например, П. Вяземский, В. Бенедиктов, А. К. Толстой (у них взято по одному стихотворению).

Попадаются стихотворения, не отвечающие теме сборника («Емшан» Майкова, «Косарь» Кольцова).

Наряду с произведениями Некрасова и Огарева, у которых мысль о России и любовь к ней неизменно связывались с мыслью об освобождении народа, в сборник включено реакционное по своей политической тенденции стихотворение Хомякова. И это не получает объяснения.

Все это говорит о непродуманности, о небрежности отбора и о явной недостаточности

---

[1] Русская патриотическая лирика XIX века. Предисловие С. М. Лубэ. Огиз Чкаловское книжное издательство. 1943. 74 стр. Ц. 2 р.

«книжных фондов», над которыми работал составитель.

Не лучше обстоит дело и с воспроизведением стихотворений, отобранных Лублэ. Приемы его «редакторской» работы вызывают полное недоумение.

Почему, например, в стихотворении «К партизану-поэту» П. А. Вяземского (а не П. Л., как указано в тексте и в оглавлении сборника) нужно было устранить первую строку второй строфы?

Носи любви и Марсу дани!
Со славой крепок твой союз:
В день брани — ты любитель брани,
В день мира — ты любимец муз!

— обращается Вяземский к Денису Давыдову. Первая строка приведенного четверостишия кажется лишней тов. Лубэ и он, без долгих размышлений, отсекает ее, разрушая строфу, искажая смысл стихотворения.

Смутил ли его Марс или «дань любви» — остается загадочным. Всего лишь одним стихотворением «иллюстрирует» Лубэ патриотизм Вяземского, но и это стихотворение он печатает в искаженном виде, переврав вдобавок инициалы поэта.

Обращаемся к стихотворению Языкова, также посвященному Денису Давыдову («Жизни баловень счастливый...»).

Приведя первую половину стихотворения, Лубэ решает вдруг оборвать его буквально на полуслове:

Где же вы незванны гости,
Сильны славой и числом?
Снег засыпал ваши кости!
Вам почетный был прием!
Упилися еле живы:

Тут Лубэ ставит точку. Последующее представляется ему излишним, тогда как у Языкова:

Упилися, еле живы,
Вы в московских теремах.
Тяжелы домой пошли вы,
Безобразно полегли вы
На холодных пустырях.
Вы отведать русской силы
Шли в Москву: за делом шли!
Иль не стало на могилы
Вам отеческой земли!
Много в этот год кровавый,
В эту смертную борьбу,
У врагов ты отнял славы,
Ты боец, чернокудрявый,
С белым локоном на лбу!
и т. д. и т. д.

На этом, однако, не кончаются проделки редактора со стихами Языкова. Известное стихотворение последнего «Родина» («Краса полуночной природы») он зачисляет в произведения Лермонтова. Зато «Родину» Лермонтова коверкает с первой же строки —

Люблю отчизну я...

Каждому школьнику известно, что за этим у Лермонтова следует:

Но странною любовью.
Не победит ее рассудок мой, и пр.

Неизвестно, чем руководствовался Лубэ, заменяя многоточиями приведенные строки.

Совершенно также поступает редактор с стихотворением Лермонтова —

Прекрасны вы, поля земли родной...

Не задумываясь уродует он и послание Батюшкова к Дашкову и пушкинские «Воспоминания в Царском селе», и «Косаря» Кольцова и другие стихотворения, помещенные в сборнике.

Трудно сказать, кто из классиков, имевших несчастье попасть в поле зрения Лубэ пострадал более остальных. Он одинаково беспощаден и к Пушкину, и к Вяземскому, и к Языкову, и к Лермонтову, и к Батюшкову, к Жуковскому.

В стихотворении последнего «Вождю победителей» есть такие строки:

Я зрел, как ты впреди своих дружин,
В кругу вождей, сопутствуем громами,
Как божий гнев шел грозно за врагами

После всевозможных сокращений Лубэ это место в стихотворении Жуковского выглядит так.

Я зрел, как ты впреди своих дружин:
...О хищный враг! и пр.

Между тем первая строка цитаты вообще немыслима без двух последующих.

«Незабываема картина Полтавского боя, самая яркая во всей русской военной поэзии, — пишет Лубэ и добавляет: — Читатель найдет ее в тексте нашей книги». Стору нет — найдет, но в каком виде?

Толпой любимцев окруженный
Выходит Петр. Его глаза
Сияют. Лик его ужасен.
Движенья быстры. Он прекрасен.

Писал Пушкин.

В сборнике напечатано:

Толпой любимцев окруженный
Выходит Петр. Лик его ужасен и т. д.

На каждом шагу наталкиваешься в сборнике на опечатки, совершенно искажающие смысл стихотворения.

Батюшков сожалеет, что «за древний град своих отцов» не понесет он «в жертву мести и жизнь и к родине любовь». В сборнике напечатано:

За древний град моих отцов
Не понесу я жертву мести...

Далее у Батюшкова:

Три раза не поставлю грудь
Перед врагов сомкнутым строем. —

В сборнике:

Перед врагом сомкнутым строем

Если у Д. Давыдова говорится о [illegible]

Давно незнаем им покой,

то допущенная в сборнике опечатка превращает всю строку в бессмыслицу:

Давно не знаем им покой

Тютчев писал, обращаясь к [illegible]

Как не бесись вражда слеп
Как не грози вам буйство и

Книжные новинки

НОВЫЕ ИЗДАНИЯ А. П. ЧЕХОВА И КНИГИ О ЧЕХОВЕ

Полное собрание сочинений и писем А. П. Чехова. Под общей редакцией члена-корреспондента Академии Наук СССР С. Д. Балухатого, академика В. П. Потемкина, Н. С. Тихонова. Том I. Гослитиздат. 1944. 584 стр. Цена 15 р.

Первый том полного собрания сочинений и писем А. П. Чехова, осуществляемого по постановлению Совета Народных Комиссаров Союза ССР охватывает раннее творчество писателя — рассказы, повести и фельетоны 1880—1883 годов.

Том состоит из четырех разделов: I — произведения, включенные А. П. Чеховым в Собрание сочинений, II — произведения, не включенные А. П. Чеховым в Собрание сочинений, III — фельетоны, IV — произведения, оставшиеся в рукописях.

Раздел первый печатается по последнему подготовленному и исправленному Чеховым изданию — десятитомному Собранию сочинений 1899—1901 годов, вышедшему в издательстве А. Ф. Маркса. Сочинения, входящие во второй и третий разделы, воспроизводятся по печатным журнальным и газетным текстам, в тех же случаях, когда они включались в прижизненные сборники — по последним авторизованным текстам. При извлечении вариантов к сочинениям Чехова редакция использовала сохранившиеся рукописи, авторизованные гранки и тексты первых публикаций.

Комментарии к первому тому написаны И. С. Ежовым. В томе помещено краткое редакционное пояснение, определяющее принципы издания и устанавливающее разделение Полного собрания сочинений и писем на две серии (I — художественные сочинения, II — письма). «В итоге такого, — как сказано в пояснении, — по возможности исчерпывающего свода всех художественных, — как законченных, так и оставшихся в рукописях, — сочинений, а также всего известного эпистолярного наследия Чехова, впервые объединяемого в одном издании, перед читателем должно предстать в полном объеме и во весь рост творчество великого писателя».

* * *

ЧЕХОВ А. П. Рассказы и повести. Рис. Кукрыниксы. М. Гослитиздат. 1944. 376 стр. Цена 12 р. переп. 2 руб.

В сборнике вошли избранные произведения разных периодов творчества писателя, начиная с «Письма к ученому соседу» — первого появившегося в печати рассказа А. П. Чехова (1880 г.) и кончая его рассказом — «Невеста» (1903 г.).

Из ранних произведений Чехова напечатаны наиболее известные рассказы, как правило отобранные самим писателем для собрания сочинений. «Смерть чиновника», «Злой мальчик», «В Москве на Трубной площади», «Хамелеон». Из произведений 1885—1887 гг. среди других рассказов в сборник вошли: «Налим», «Лошадиная фамилия», «Злоумышленник», «Унтер Пришибеев», «Тоска», «Шуточка», «Ванька», «Выигрышный билет».

С большой полнотой представлены произведения последних пятнадцати лет жизни Чехова — «Каштанка», «Степь», «Попрыгунья», «Мужики», «Человек в футляре», «Ионыч», «Дама с собачкой», «Архиерей».

Рисунками художников Кукрыниксы иллюстрированы рассказы: «Хирургия», «Хамелеон», «Налим», «Лошадиная фамилия», «Злоумышленник», «Унтер Пришибеев», «Тоска», «На мельнице», «Ванька», «Полинька», «Мальчики», «Каштанка», «Спать хочется», «Человек в футляре», «Невеста» и повесть «Степь».

* * *

ЧЕХОВ А. П. Юмористические рассказы. М. Гослитиздат. 1944. 100 стр. Цена 3 р.

ЧЕХОВ А. П. Рассказы. М. Гослитиздат. 1944. 128 стр. Цена 3 р.

ЧЕХОВ А. П. Избранные рассказы. М. Гослитиздат. 1944. 158 стр. Цена 6 р.

ЧЕХОВ А. П. «Дом с мезонином» и другие рассказы. М. Гослитиздат. 1944. 96 стр. Цена 3 р.

В сборнике «Юмористические рассказы» Чехов-юморист представлен рассказами, написанными в период 1883—1885 годов. Сюда вошли: «Злой мальчик», «Налим», «Хирургия», «Канитель», «Смерть чиновника», «Толстый и тонкий», а также рассказы, в которых силен сатирический элемент. «Хамелеон», «Маска», «Унтер Пришибеев».

Книгу «Рассказы» открывает «Егерь» (1885 г.), побудивший Григоровича написать молодому писателю широко известное письмо, которое сыграло немалую роль в осознании Чеховым своей ответственности перед читателем и русской литературой. В эту книгу вошли написанные после «Егеря» и ставшие хрестоматийными «Ванька», «Спать хочется», «Тоска», «Свирель» и «Счастье». Заключает сборник более поздний рассказ «На святках» (1900).

(их — т. е. тевтонов), в сборнике же читаем:

Как не грозя на буйство их...

Вместо пушкинского «вселенной бич» — в сборнике: «вселенный бич» (?)

Так обстоит дело с воспроизведением отобранных Лубэ стихотворений.

На четырех страничках сборника из семидесяти четырех находим редакционные примечания, где дано разъяснение трех слов: «Пегас», «Парнас» и «гомерический».

Наряду с этим Лубэ не считает нужным объяснять слова: «Цирцеи», «Хариты», «Армида», «Анакреон», «Эол», «Аполлон», «Феникс» и пр. и пр.

Предисловие С. М. Лубэ, написанное мертвым, сухим языком, вполне гармонирует с общим обликом неряшливо составленного сборника.

Чувствуется, что автор совершенно равнодушен к большой и глубокой теме. Вместо любви к поэзии и вместо знания ее — штампованные формулировки, звонкие фразы, канцелярские обороты. Зачем убеждать нас в том, что «В небольшой книжечке нет возможности собрать и показать все патриотические произведения, когда-либо написанные русскими художниками слова»?

Зачем докучать смешными разъяснениями того, что «ни Пушкин, ни Лермонтов не были непосредственными участниками отечественной войны, ибо — «первому из них в 1812 году было всего-навсего тринадцать лет, а второй еще не родился»?

«Тема партизанской войны в поэзии (!) была поддержана революционным поэтом декабристом Рылеевым», — говорит Лубэ и, развивая свою мысль, продолжает: «Она была ему особенно близка, так как он более всего интересовался массовыми народными движениями».

Но Лубэ забывает, что Ленин в статье «Памяти Герцена» писал о декабристах: «Узок круг этих революционеров. Страшно далеки они от народа...» и т. д.

Исключив из книги патриотические стихи поэтов XVIII века, так как они, по мнению Лубэ, «не отвечают» теме сборника (непонятно почему), он, тем не менее, «счел нужным остановиться в предисловии на некоторых наиболее интересных произведениях», но ограничил анализ патриотической поэзии XVIII века в предисловии всего одной с лишним страницей. Сделан анализ в таком примерно духе:

«В литературе он (Петров) был представителем императрицы Екатерины II... Однако его упомянутая ода правильно мобилизовала внимание русских на борьбу с реакционной Оттоманской империей».

Далее большая цитата из оды Петрова:

Секване мочь твоя опасна.
Она рог стерти хочет твой и т. д.

Едва ли способны были кого-либо мобилизовать такие вирши.

Вывод напрашивается сам собой — сборник, составленный и отредактированный Лубэ, является во всех точек зрения явным издательским браком.

ВОЛОГОДСКАЯ
ИТАЛЬНЫЙ З...
Обл. Библиотека